

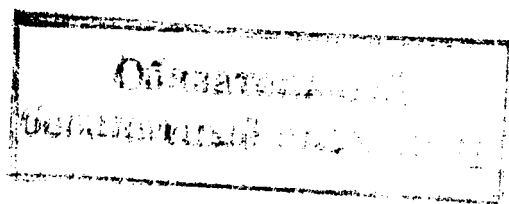
1 02-21
29-7

OSOPHY



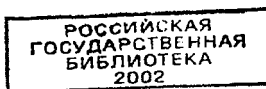
Хосе
ОРТЕГА-и-ГАССЕТ

ВОССТАНИЕ МАСС



act
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва
2002

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)
О-70



Серийное оформление А.А. Кудрявцева

Перевод с испанского

Подписано в печать 29.08.2001. Формат 84x108^{1/32}
Усл. печ. л. 26,88. Тираж 1 500 экз. Заказ № 1726

Ортега-и-Гассет Х.

О-70 Восстание масс: Сб.: Пер. с исп. / Х. Ортега-и-Гассет. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. — 509, [3] с. — (Philosophy).

ISBN 5-17-007796-3

Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883—1955) — один из самых прозорливых европейских мыслителей XX века; его идеи, при жизни недооцененные, с годами становятся все жизненнее и насущнее. Ортега-и-Гассет не навязывал мысли, а будил их; большая часть его философского наследия — это скорее художественные очерки, где философия растворена, как кислород, в воздухе и воде. Они обращены не к эрудитам, а к думающему человеку, и требуют от него не соглашаться, а спорить и думать. Темы — культура и одичание, земля и нация, самобытность и всеобщность и т.д. — не только не устарели с ростом стандартизации жизни, но стали лишь острее и болезненнее. Именно такая «философская беллетристика» составляет книгу; в нее включено и наиболее знаменитое произведение Ортеги «Восстание масс».

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)



© Составление. Предисловие. В.Ю. Кузнецов, 2001
© Перевод. С.Л. Воробьев, 1991
© Перевод. А.М. Гелескул, 2000
© Перевод. Б.В. Дубин, 1991, 1994, 2000
© Перевод. А.Б. Матвеев, 1991, 1994
© ООО «Издательство АСТ», 2002

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Василий Кузнецов. Ортега-и-Гассет: привнести философию в жизнь, а жизнь — в философию</i>	3
ВОССТАНИЕ МАСС	11
ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВА	209
БЕСХРЕБЕТНАЯ ИСПАНИЯ	269
ЭССЕ	371
Мысли о романе	373
В поисках Гете	418
Смерть и воскресение	455
Две главные метафоры	463
Размышление о рамке	482
Гонгора	491
Стихи Антонио Мачадо	500
На смерть Унамуно	506

Ортега-и-Гассет:

привнести философию в жизнь, а жизнь — в философию

Я выхожу в мироздание через перевалы Гвадаррамы или поля Онтиголы. Этот окрестный мир — другая половина моей личности, и только вкупе с ним я могу быть цельным и стать самим собой... Я это я и моя среда, и если не спасу ее, не спасусь и я.

Ортега-и-Гассет

Расхождение философии и жизни происходит не только в обыденном сознании. Мыслители сами часто любили дистанцироваться от низкой и тривиальной повседневности, стремясь к отстраненности и неангажированности, пытаясь воспарить в абстрактные всеобщие высоты, чтобы иметь возможность окинуть весь мир одним взглядом, дабы увидеть все как оно есть на самом деле. Но и обычная жизнь текла своим чередом, не испытывая, как правило, особой потребности в какой бы то ни было философии и не чувствуя с ее стороны никакого воздействия. Даже появление к началу XX века специальной «философии жизни», которая поставила себе в качестве основной задачи осмысление жизненных процессов в биологическом, космологическом или культурно-историческом планах, ситуа-

цию существенно не изменило, поскольку осталось событием только внутри философии. Самым колоритным исключением — чуть ли не единственным! — из этого почти замкнутого круга выступает крупнейший испанский мыслитель Ортега-и-Гассет. Яркий лектор и увлеченный публицист, активный издатель и блестящий стилист, Ортега (просивший называть себя по первой фамилии) никогда не устранился от самых злободневных проблем и острых принципиальных вопросов. Его вполне заслуженный авторитет и мощнейшее влияние определяются в первую очередь именно тем обстоятельством, что ему удалось подходить к обсуждению актуальных трудностей общественной и культурной жизни с философских позиций, а в своих концептуальных построениях учитывать новейшие жизненные тенденции.

Хосе Ортега-и-Гассет родился 9 мая 1883 года в Мадриде; его двойная фамилия, как это принято у испанцев, составлена из фамилий отца — писателя и публициста, ведущего литературный раздел в либеральной газете «Беспристрастный» («El Imparsial») — и матери, дочери основателя и владельца этой газеты. В 1891 году родители отдали его в иезуитский колледж Мирафлорес-дель-Пало, расположенный недалеко от Малаги. Неординарные способности Ортеги не остались незамеченными — с 15 лет он учится уже в университете, сначала в Бильбао, а затем в Мадриде. К 1898 году относится и первое знакомство Ортеги с Мигелем де Унамуно, переписка с которым, несмотря на значительную разницу в возрасте, повлияла на творчество обоих мыслителей. После защиты в конце 1904 года диссертации «Ужасы тысячного года. Критика одной легенды» (об исторической эпохе и настроениях во Франции), Ортега отправился в Германию, чтобы заниматься философией в

университетах Лейпцига, Берлина, Марбурга. В Марбурге он с большим интересом и увлечением слушает лекции крупного неокантианца Германа Когена. С лета 1908 года Ортега становится профессором Высшей педагогической школы в Мадриде, а с осени 1910 года — возглавляет кафедру метафизики Мадридского университета. Здесь вокруг него быстро складывается круг учеников и последователей, формируется «мадридская школа», получившая международное признание. Кроме преподавания, Ортега много печатается в различных газетах и журналах, издает со своими предисловиями целые серии переводов на испанский новейших книг по философии, социологии, психологии и даже по народному хозяйству, выступает с публичными лекциями, которые пользовались большим успехом. В 1923 году он основывает свой собственный ежегодник «Наблюдатель» («El Espectador»), в котором является единственным автором, и «Западный журнал» («Revista de Occidente»). Взлет творчества Ортеги приходится на двадцатые годы. Именно в этот период он пишет «Дегуманизацию искусства» и «Восстание масс», которые приносят ему мировую славу. Несмотря на условия военной диктатуры, Ортега принимает активное участие и в политической жизни: в 1930 году вместе с Г. Мараньоном и П. де Аялой основал «Союз защиты республики», в 1931-м участвовал в свержении монархии Альфонса XIII и стал депутатом парламента. Но вскоре, не желая погрязнуть в политических интригах, слагает с себя депутатские полномочия. После франкистского мятежа 1936 года и начала гражданской войны в Испании Ортега вынужден эмигрировать. Он едет сначала в Париж, затем в Голландию и Португалию. С началом мировой войны Ортега отправляется было в Аргентину, но уже в 1942 году возвращается опять

в Португалию. В 1945 году он приезжает наконец-то в Мадрид — его тянет на родину, но поддерживать, даже косвенно, франкистский режим Ортега не хочет категорически, поэтому он отказывается занять свою прежнюю кафедру и выступать в официальных изданиях. Вместе со своим учеником Х. Мариасом Ортега основывает в 1948 году Институт гуманитарных наук, делая последнюю попытку повлиять на интеллектуальную жизнь Испании, но уже чувствуя тщетность этих усилий. Умер Ортега 18 октября 1955 года в Мадриде, так и оставшись, по сути дела, во внутренней эмиграции, не приняв испанского гражданства.

Двадцатые годы — удивительное время, бурное, яркое, разностильное... Выходят в свет «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), «Я и Оно» (1923) и «Будущее одной иллюзии» (1927) Зигмунда Фрейда, «Логико-философский трактат» (1921) Людвиг Витгенштейна, «Борьба как внутреннее переживание» (1922) и «Огонь и кровь» (1925) Эрнста Юнгера, «Философия неравенства» и «Смысл истории» (1923) Николая Бердяева, «Условные рефлексy» (1923) Ивана Павлова, «Манифест сюрреализма» (1924) Андре Бретона, «Речь и мышление ребенка» (1924) Жана Пиаже, «Бытие и время» (1927) Мартина Хайдеггера, «Философия имени» (1927) Алексея Лосева, «Морфология сказки» (1928) Владимира Проппа, «История глаза» (1928) Жоржа Батая, «Философия символических форм» (1923–1929) Эрнста Кассирера, «Проблемы поэтики Достоевского» (1929) Михаила Бахтина, «Процесс и реальность» (1929) Альфреда Уайтхеда, «Идеология и утопия» (1929) Карла Манхейма, манифест «Научное понимание мира» (1929) Венского кружка философов-неопозитивистов. Создаются шедевры

немного кино: «Носферату» (1922) Фридриха Мурнау, «Нибелунги» (1924) Фрица Ланга, «Киноглаз» (1924) и «Человек с киноаппаратом» (1929) Дзиги Вертова, «Броненосец "Потемкин"» (1925) Сергея Эйзенштейна, «Золотая лихорадка» (1925) Чарли Чаплина, «Андалузский пес» (1929) Луиса Бунюэля. Обретают успех первые мультфильмы Уолта Диснея о Микки-Маусе (1922). Умирает знаменитый испанский архитектор Антонио Гауди (1926), не завершив свое главное творение — собор Саграда Фамилия в Барселоне; практически одновременно в архитектуре устанавливается Международный стиль конструктивистских и формалистических проектов, ориентированных на массовое промышленное производство (Ле Корбюзье, Татлин, Эль Лисицкий, немецкие архитекторы Баухауза и многие другие). Арнольд Шёнберг разрабатывает и воплощает технику додекафонии — серийно-двенадцатитоновой музыкальной композиции — «Сюита для фортепиано» (1923). Не без влияния известного испанского живописца Пабло Пикассо именно в этот период Сальвадор Дали обретает свой знаменитый сюрреалистический стиль: «Великий мастурбатор» (1924), «Загадка желания», «Раскрашенные удовольствия», «Приспособление для желаний» (1929).

В эти же годы небывалого расцвета достигает мировая литература, появляются «Цвета Мории» (1921) Рериха, «Улисс» (1922) Джойса, «Бесплодная земля» (1922) Элиота, «Конармия» (1922) Бабеля, «Дуинские элегии» (1923) Рильке, «Волшебная гора» (1924) Т. Манна, «Мы» (1924) Замятина, «Видение» (1925) Йейтса, «Замок» (1926) Кафки, «Винни Пух» (1926) и «Дом в медвежьем углу» (1929) Милна, «Обретенное время» (1927) Пруста — завершающий том эпопеи «В поисках утраченного времени», «Степной волк» (1927) Гессе, «Жизнь идиота» (1927)

Акутагавы, «Козлиная песнь» (1928) Вагинова, «Двенадцать стульев» (1928) Ильфа и Петрова, «Тихий Дон» (1928) Шолохова, «Трехгрошовая опера» (1928) Брехта, «Защита Лужина» (1929) Набокова, «Прощай, оружие» (1929) Хемингуэя, «На Западном фронте без перемен» (1929) Ремарка; печатают сборники своих стихотворений Блок, Гумилев, Бальмонт, Кузмин, Есенин, Волошин, Мандельштам, Маяковский. В испанской литературе продолжают активно работать Хуан Рамон Хименес и Антонио Мачадо, приступают к творчеству Федерико Гарсия Лорка, Рафаэль Альберти и Мигель Эрнандес.

Формулируются уравнение Шредингера (1926) — основное динамическое уравнение квантовой механики, принцип неопределенности Гейзенберга и принцип дополненности Бора (1927), теория Большого взрыва Леметра (1927). Открываются инсулин и пенициллин, организуется первое общественное радиовещание. В России продолжается и завершается гражданская война, начинается и прекращается нэп, осуществляются индустриализация, коллективизация и массовые репрессии, Сталин производит разгром оппозиции и захватывает все больше власти; в Италии приходит к власти Муссолини (1922); в Испании воцаряется военная диктатура (1923); в Германии введение рентной марки останавливает послевоенную инфляцию, после подавления нацистского пивного путча в Мюнхене (1923) Гитлер попадает в тюрьму, где пишет свою книгу «Mein Kampf» (вышла в 1925 году), Веймарская республика все еще функционирует; в Индии Мохандас Ганди организует кампанию гражданского неповиновения (1929) — ненасильственный способ борьбы за независимость своей страны; в США сразу после принятия «сухого» закона (1926) мафия организует подпольную торговлю спиртным, различные кла-

ны развязывают гангстерские войны за этот сверхприбыльный бизнес, в которых особенно отличается Аль Капоне в Чикаго, Американская академия киноискусства начинает присуждать первые премии «Оскар» (1929), в том же году паника на нью-йоркской бирже возвещает начало мирового экономического кризиса...

Обо всем этом можно было бы и не говорить, если понимать идею Ортеги насчет «своей среды» буквально, ограниченно; а ведь речь-то идет не о довлеющих и подавляющих личность обстоятельствах, но обо всем вокруг, обстоящем и обступающем, близком и далеком... Именно в этом бурлящем контексте — не важно, был ли Ортега полностью с ним знаком — зарождаются и развиваются его концепции, именно в этот контекст они вполне органично вписываются, именно с этим контекстом вступают в продуктивный резонанс. В некотором смысле иногда бывает сложно даже провести четкую границу между мыслями самого Ортеги и мыслями других авторов, которые он разбирает, развивает и представляет в своих многочисленных предисловиях или лекциях. В его произведениях можно найти неокантианские, феноменологические, экзистенциалистские и другие мотивы. И при всем том Ортега остается вполне оригинальным мыслителем, никоим образом не сводясь к сумме всевозможных влияний.

Сами собой напрашиваются параллели с русской культурной ситуацией, с положением и особенностями отечественной философии, мечущейся между поиском самобытности и заимствованиями с Запада. Будучи фигурой европейского масштаба, Ортега остается мыслителем глубоко национальным, испанские темы и сюжеты постоянно звучат в его выступлениях; будучи столичным университетским профессором, он вместе со

своими учениками подолгу путешествует по далеким и иссушенным сельским ландшафтам Кастилии. Переживая отсталость Испании как личную проблему, Ортега призывает к европеизации, но не ценой потери национального своеобразия, отсюда весь его просветительский пафос. Идея поколений, предложенная Ортегой, оказывается очень эвристичной и начинает широко использоваться — нельзя не вспомнить в связи с этим и знаковое поколение советских шестидесятников; «поколение 98-го года» (поражение Испании в войне с США, утрата последних колоний в 1898 году заставляли действовать), к которому относил себя и сам Ортега, становится общепринятым наименованием целой плеяды интереснейших испанских деятелей культуры. Подобно большинству русских философов, Ортега не занимался системосозиданием, свои тексты писал в стилистике эссе, лекции строил в виде свободных размышлений и разговора со слушателями.

Пересказывать взгляды Ортеги бессмысленно, да это и невозможно сделать во всем богатстве тонов и оттенков, лучше обратиться к самим его произведениям.

В настоящий сборник, кроме центральных работ Ортеги — «Восстание масс» и «Дегуманизация искусства», входят также ряд эссе, дающих возможность составить представление о разнообразии граней творчества этого замечательного мыслителя.

Василий Кузнецов

ВОССТАНИЕ МАСС

La rebelión de las masas
Перевод. © Гелескул А.М., 2000

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Феномен стадности	15
II. Исторический подъем	22
III. Высота времени	30
IV. Рост жизни	39
V. Статистическая справка	47
VI. Введение в анатомию массового человека . .	52
VII. Жизнь высокая и неизменная, или Рвение и рутина	59
VIII. Почему массы вторгаются всюду, во все и всегда не иначе как насилием	65
IX. Одичание и техника	74
X. Одичание и история	83
XI. Век самодовольных недорослей	91
XII. Варварство «специализма»	101
XIII. Государство как высшая угроза	108

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XIV. Кто правит миром	117
XV. Переходя к сути дела	179

Из предисловия к французскому изданию «Восстания масс»	182
---	-----

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

ФЕНОМЕН СТАДНОСТИ

Происходит явление, которое, к счастью или к несчастью, определяет современную европейскую жизнь. Этот феномен — полный захват массами общественной власти. Поскольку масса, по определению, не должна и не способна управлять собой, а тем более обществом, речь идет о серьезном кризисе европейских народов и культур, самом серьезном из возможных. В истории подобный кризис разражался не однажды. Его характер и последствия известны. Известно и его название. Он именуется восстанием масс.

Чтобы понять это грандиозное явление, надо стараться не вкладывать в такие слова, как «восстание», «масса», «власть» и т.д., смысл исключительно или преимущественно политический. Общественная жизнь — процесс не только политический, но вместе с тем, и даже прежде того, интеллектуальный, нравственный, экономический, духовный, включающий в себя обычаи и всевозможные правила и условности вплоть до манеры одеваться и развлекаться.

Быть может, лучший способ подойти к этому историческому феномену — довериться зрению, выделив ту

черту современного мира, которая первой бросается в глаза.

Назвать ее легко, хоть и не так легко объяснить, — я говорю о растущем столпотворении, стадности, всеобщей переполненности. Города переполнены. Дома переполнены. Отели переполнены. Поезда переполнены. Кафе уже не вмещают посетителей. Улицы — прохожих. Приемные медицинских светил — больных. Театры, какими бы посредственными ни были спектакли, ломятся от публики. Пляжи не вмещают купальщиков. Становится вечной проблемой то, что прежде не составляло труда, — найти место.

Всего-навсего. Есть ли что проще, привычней и очевидней? Стоит, однако, вспороть будничную оболочку этой очевидности — и брызнет нежданная струя, в которой дневной свет, бесцветный свет нашего, сегодняшнего дня распахнет все многоцветие своего спектра.

Что же мы, в сущности, видим и чему так удивляемся? Перед нами — толпа как таковая, в чьем распоряжении сегодня все, что создано цивилизацией. Слегка поразмыслив, удивляешься своему удивлению. Да что же здесь не так? Театральные кресла для того и ставятся, чтобы их занимали, чтобы зал был полон. С поездами и гостиницами обстоит так же. Это ясно. Но ясно и другое — прежде места были, а теперь их не хватает для всех жаждущих ими завладеть. Признав сам факт естественным и закономерным, нельзя не признать его непривычным; следовательно, что-то в мире изменилось, и перемены оправдывают, по крайней мере на первых порах, наше удивление.

Удивление — залог понимания. Это сила и богатство мыслящего человека. Поэтому его отличительный, корпоративный знак — глаза, изумленно распахнутые в мир.

Все на свете незнакомо и удивительно для широко раскрытых глаз. Изумление — радость, недоступная футболисту, но она-то и пьянит философа на земных дорогах. Его примета — замороженные зрачки. Недаром же древние снабдили Минерву совой, птицей с ослепленным навеки взглядом.

Столпотворение, переполненность раньше не были повседневностью. Что же произошло?

Толпы не возникли из пустоты. Население было примерно таким же пятнадцать лет назад. С войной оно могло лишь уменьшиться. Тем не менее напрашивается первый важный вывод. Люди, составляющие эти толпы, существовали и до них, но не были толпой. Рассеянные по миру маленькими группами или поодиночке, они жили, казалось, разбросанно и разобщенно. Каждый был на месте, и порой действительно на своем: в поле, в сельской глуши, на хуторе, на городских окраинах.

Внезапно они сгруппировались, и вот мы повсеместно видим столпотворение. Повсеместно? Как бы не так! Не повсеместно, а в первом ряду, на лучших местах, облюбованных человеческой культурой и отведенных когда-то для узкого круга — для меньшинства.

Толпа, возникшая на авансцене общества, внезапно стала зримой. Прежде она, возникая, оставалась незаметной, теснилась где-то в глубине сцены; теперь она вышла к рампе — и сегодня это главный персонаж. Солистов больше нет — один хор.

Толпа — понятие количественное и визуальное: множество. Переведем его, не искажая, на язык социологии. И получим «массу». Общество всегда было подвижным единством меньшинства и массы. Меньшинство — это совокупность лиц, выделенных особыми качествами; масса — не выделенных ничем. Речь, следовательно,

идет не только и не столько о «рабочей массе». Масса — это «средний человек». Таким образом, чисто количественное определение — множество — переходит в качественное. Это — совместное качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий тип. Какой смысл в этом переводе количества в качество? Простейший — так понятней происхождение массы. До банальности очевидно, что стихийный рост ее предполагает совпадение мыслей, целей, образа жизни. Но не так ли обстоит дело и с любым сообществом, каким бы избранным оно себя ни считало? В общем, да. Но есть существенная разница.

В сообществах, чуждых массовости, совместная цель, идея или идеал служат единственной связью, что само по себе исключает многочисленность. Для создания меньшинства — какого угодно — сначала надо, чтобы каждый по причинам особым, более или менее личным, отпал от толпы. Его совпадение с теми, кто образует меньшинство, — это позднейший, вторичный результат особенности каждого, и, таким образом, это во многом совпадение несовпадений. Порой печать отъединенности бросается в глаза: именующие себя «нонконформистами» англичане — союз согласных лишь в несогласии с обществом. Но сама установка — объединение как можно меньшего числа для отъединения от как можно большего — входит составной частью в структуру каждого меньшинства. Говоря об избранной публике на концерте изысканного музыканта, Малларме тонко заметил, что этот узкий круг своим присутствием демонстрировал отсутствие толпы.

В сущности, чтобы ощутить массу как психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По од-

ному-единственному человеку можно определить, масса это или нет. Масса — всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, «как и все», и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью. Представим себе, что самый обычный человек, пытаясь мерить себя особой мерой — задаваясь вопросом, есть ли у него какое-то дарование, умение, достоинство, — убеждается, что нет никакого. Этот человек почувствует себя заурядностью, бездарностью, серостью. Но не «массой».

Обычно, говоря об «избранном меньшинстве», передегивают смысл этого выражения, притворно забывая, что избранные не те, кто кичливо ставит себя выше, но те, кто требует от себя больше, даже если требование к себе непосильно. И конечно, радикальней всего делить человечество на два класса: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и обязательства, и на тех, кто не требует ничего и для кого жить — это плыть по течению, оставаясь таким, каков ни на есть, и не силясь перерасти себя.

Это напоминает мне две ветви ортодоксального буддизма: более трудную и требовательную Махаяну — «большую колесницу», или «большой путь», — и более будничную и блеклую Хинаяну — «малую колесницу», «малый путь». Главное и решающее — какой колеснице мы вверим нашу жизнь.

Таким образом, деление общества на массы и избранные меньшинства типологическое и не совпадает ни с делением на социальные классы, ни с их иерархией. Разумеется, высшему классу, когда он становится высшим и пока действительно им остается, легче выдвинуть человека «большой колесницы», чем низшему, обычно и состоящему из людей обычных. Но на самом деле внут-

при любого класса есть собственные массы и меньшинства. Нам еще предстоит убедиться, что плебейство и гнет массы даже в кругах традиционно элитарных — характерный признак нашего времени. Так, интеллектуальная жизнь, казалось бы, взыскательная к мысли, становится триумфальной дорогой псевдоинтеллигентов, не мыслящих, немислимых и ни в каком виде неприемлемых. Ничем не лучше останки «аристократии», как мужские, так и женские. И напротив, в рабочей среде, которая прежде считалась эталоном массы, не редкость сегодня встретить души высочайшего закала.

Далее. Во всех сферах общественной жизни есть обязанности и занятия особого рода, и способностей они требуют тоже особых. Это касается и зрелищных или увеселительных программ, и программ политических и правительственных. Подобными делами всегда занималось опытное, искусное или хотя бы претендующее на искусность меньшинство. Масса ни на что не претендовала, прекрасно сознавая, что если она хочет участвовать, то должна обрести необходимое умение и перестать быть массой. Она знала свою роль в целительной общественной динамике.

Если вернуться теперь к изложенным выше фактам, они предстанут безошибочными признаками того, что роль массы изменилась. Все подтверждает, что она решила выйти на авансцену, занять места и получить удовольствия и блага, прежде адресованные немногим. Заметно, в частности, что места эти не предназначались толпе, и вот она постоянно переполняет их, выплескиваясь наружу и являя глазам новое красноречивое зрелище — массу, которая, не перестав быть массой, упраздняет меньшинство.

Никто, надеюсь, не огорчится, что люди сегодня развлекаются с большим размахом и в большем числе, — пусть развлекаются, раз есть желание и средства. Беда в том, что эта решимость массы взять на себя функции меньшинства не ограничивается и не может ограничиться только сферой развлечений, но становится стержнем нашего времени. Забегая вперед, скажу, что новоявленные политические режимы, недавно возникшие, представляются мне не чем иным, как политическим диктатором масс. Прежде народовластие было разбавлено изрядной порцией либерализма и преклонения перед законом. Служение этим двум началам требовало от каждого большой внутренней дисциплины. Благодаря либеральным основам и юридическим нормам могли существовать и действовать меньшинства. Закон и демократия, узаконенное существование, были синонимами. Сегодня мы видим торжество гипердемократии, при которой масса действует непосредственно, вне всякого закона, и с помощью грубого давления навязывает свои желания и вкусы. Толковать эти перемены так, будто масса, устав от политики, препоручила ее профессионалам, неверно. Ничего подобного. Так делалось раньше, это и была демократия. Масса догадывалась, что в конце концов при всех своих изъянах и просчетах политики в общественных проблемах разбираются несколько лучше ее. Сегодня, напротив, она убеждена, что вправе давать ход и силу закона своим трактирным фантазиям. Сомневаюсь, что когда-либо в истории большинству удавалось править так непосредственно, напрямую. Потому и говорю о гипердемократии.

То же самое творится и в других сферах, особенно в интеллектуальной. Возможно, я заблуждаюсь, но все же те, кто берется за перо, не могут не сознавать, что рядо-

вой читатель, далекий от проблем, над которыми они бились годами, если и прочтет их, то не для того, чтобы чему-то научиться, а только для того, чтоб осудить прочитанное как несообразное с его куцыми мыслями. Масса — это посредственность, и, поверь она в свою одаренность, имел бы место не крах социологии, а всего-навсего самообман. Особенность нашего времени в том и состоит, что заурядные уши, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду. Как говорят американцы, выделяться неприлично. Масса сминает непохожее, недюжинное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать изгоем. И ясно, что «все» — это отнюдь не все. Мир обычно был неоднородным единством массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир стал массой.

Такова жестокая реальность наших дней, и такой я вижу ее, не закрывая глаз на жестокость.

II

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ

Такова жестокая реальность, увиденная во всей ее жестокости. И кроме того, невиданная прежде. Никогда еще наша цивилизация не переживала ничего похожего. Какое-то подобие можно найти только вне нашей истории, погружаясь в иную жизненную среду, во всем отличную от нашей, — в античный мир накануне упадка. История Римской империи тоже была историей нис-

провержения, господства массы, которая поглотила правящее меньшинство, встала на его место. Возник феномен такой же стадности и скученности. Поэтому, как тонко подметил Шпенглер, здания стали гигантскими, наподобие наших. Эпоха масс — эпоха гигантомании*.

Мы живем под жестокой властью масс. Итак, я уже дважды назвал ее жестокой, отдал дань риторике, и теперь, расплатившись, можно с билетом в руке и с легким сердцем вторгаться в сюжет и видеть действие изнутри. Да и мог ли бы я довольствоваться такой прописью, пусть и верной, но беглой, лишь одной стороной медали, где настоящее искажено обратной перспективой? Застрянь я на этом в ущерб моему исследованию, читатель решил бы — и с полным основанием, — что небывалое извержение масс на поверхность истории вдохновило меня лишь на пару враждебных и высокомерных фраз, частью безгливых, частью возмущенных, — меня, известного своим сугубо аристократическим толкованием истории**.

Подчеркиваю, что я никогда не призывал общество стать аристократичным. Я утверждал нечто большее и продолжаю твердить, день ото дня убежденней, что человеческое общество всегда, хочет оно того или нет, аристократично по самой своей сути, чем оно аристократичней, тем в большей степени оно общество, как и наоборот. Само собой, я говорю об обществе, а не о государстве. В немыслимом водовороте масс никого не обманет и не сойдет за аристократизм легкая гримаска версальского щеголя. Версаль — речь именно о таком, жеманном Версале — это не аристократия, а полный ее

* Трагично то, что с ростом этой скученности пустели села, и результатом было общее снижение численности имперского населения. — *Примеч. автора.*

** См.: *España invertebrada*, 1920. — *Примеч. автора.*

антипод: это смерть и разложение прославленного аристократизма. Оттого-то единственно аристократическим у этих господ было то пленительное достоинство, с которым они склоняли голову перед гильотиной — они смирялись с ней, как смиряется опухоль с ланцетом. Нет, того, кто ощутил истинное призвание аристократа, зрелище масс будит и воспаляет, как девственный мрамор — скульптора. У такой аристократии нет ничего общего с тем узким и замкнутым кланом, который называет себя всеобъемлющим словом «общество», присвоив его как имя, и живет единственной заботой — быть или не быть туда принятым. У этого «изысканного мирка» есть и свои сподвижники в мире внешнем, есть у него, как у всего на свете, и свои достоинства, и свое назначение, но назначение второстепенное и несопоставимое с титаническим призванием подлинной аристократии. Я не считаю предосудительным говорить о смысле этой изысканной жизни, отнюдь не бессмысленной, но сейчас предмет разговора у нас иной и совсем иных масштабов. Да, кстати, и само это «избранное общество» следует духу времени. Я невольно задумался, когда одна юная и сверхсовременная дама, звезда первой величины в светском небе Мадрида, призналась мне: «Я не терплю балов, где меньше восьмисот приглашенных». Эта фраза удостоверяла меня, что массовый вкус торжествует во всех сферах жизни и утверждается даже в таких ее заповедных углах, которые предназначены, казалось бы, для *happy few**.

В общем, я отвергаю и такой взгляд на современность, когда в господстве масс не видят ни единого доброго знака, и противоположный, когда блаженно потирают руки, умудряясь не вздрагивать от страха. Судьба

* немногих счастливых (англ.).

всегда драматична, и в ее глубинах вечно зреет трагедия. Кто не испытывал озноба перед угрозой времени, тот не проникал никогда в глубь судьбы и лишь касался ее нежной оболочки. Что же до нас, то эту тень угрозы несет нам сокрушительный и свирепый бунт массовой морали, неотвратимый, неодолимый и темный, как сама судьба. Куда он заведет? На беду он или на благо? Вот он, огромный, изначально двойственный, нависший над веком, как гигантский, космический вопросительный знак, в котором действительно что-то есть от гильотины или виселицы, но и что-то еще, готовое стать триумфальной аркой!

В том процессе, который предстоит анализировать, можно выделить два момента: во-первых, сегодня массы достигли жизненного уровня, подобного тому, который прежде казался предназначенным лишь для немногих; во-вторых, массы вышли из повиновения, не подчиняются никакому меньшинству, не следуют за ним и не только не считаются с ним, но и вытесняют его и сами его замещают.

Начнем с первого утверждения. В нем говорится, что массы наслаждаются теми благами и пользуются теми достижениями, которые созданы избранным меньшинством и прежде принадлежали только ему. Стали массовыми те запросы и потребности, которые прежде считались утонченными, поскольку были достоянием немногих. Простой пример — в 1820 году в Париже не насчитывалось и десяти ванн комнат (см. мемуары графини де Буань). Больше того, сегодня массы довольно успешно овладевают и пользуются техникой, которая прежде требовала специалистов. И техникой, что особенно важно, не только материальной, но также юридической и социальной.

В XVIII веке определенные узкие круги открыли, что каждому человеку, без каких-либо оценок, один уже факт его появления на свет дает основные политические права, названные правами человека и гражданина, и что в действительности лишь эти всеобщие права и существуют. Все иные права, связанные с личными заслугами, осуждались как привилегии. Вначале это было идеей немногих и чистой теорией, но вскоре эти немногие, лучшие из немногих, стали воплощать свою идею в жизнь, утверждать и отстаивать ее. Однако в течение всего XIX века масса, вдохновляясь идеей всеобщих прав как идеалом, за собой этих прав не чувствовала, не пользовалась и не дорожила ими, а продолжала жить и ощущать себя в условиях демократии так же, как и до нее. «Народ» — так теперь в духе времени именовали массу, — «народ» уже знал, что он властитель, но сам в это не верил. Лишь сегодня идеал осуществился — и не в законодательстве, в этом поверхностном чертеже общественной жизни, а в сердце каждого человека независимо от убеждений, включая убежденных реакционеров; другими словами — включая тех, кто крушит и вдребезги разносит устои, обеспечившие ему всеобщие права. Этот моральный настрой массы крайне любопытен, и, по-моему, не разобравшись в нем, нельзя понять происходящего. Приоритет человека вообще, без примет и отличий, человека как такового, превратился из общей идеи или правового идеала в массовое мироощущение, во всеобщую психологическую установку. Заметим, что идеал, осуществляясь, перестает быть идеалом. Притягательность и магическая власть над человеком, присущие идеалу, исчезают. Уравнительные права, рожденные благородным демократическим порывом, из надежд и чаяний превращаются в вожеления и бессознательные домогательства.

Все так, но ведь смысл равноправия в том и состоял, чтобы выволить человеческие души из внутреннего рабства и уверить их в собственном достоинстве и могуществе. Чего добивались? Чтобы простой человек ощутил себя господином своей судьбы? Цель достигнута. На что же так сетуют уже третье десятилетие либералы, демократы, прогрессисты? Или они, как дети, любят резвиться и не любят ушибаться? Хотелось, чтобы рядовой человек стал господином? Нечего тогда удивляться, что он живет для себя и в свое удовольствие, что он твердо навязывает свою волю, что он не терпит подчинения и не подчиняется никому, что он поглощен собой и своим досугом, что он кичится своей экипировкой. Все это исконно господские черты. Сегодня мы распознаем их в рядовом человеке, в массе.

Итак, в жизнь рядового человека вошло все то, что прежде отличало лишь самые верхи общества. Но рядовой человек и есть та поверхность, над которой зыблется история каждой эпохи; в истории он — то же самое, что уровень моря в географии. И если сегодня средний уровень достиг отметки, которой прежде касались лишь аристократы, надо честно признать, что уровень истории внезапно поднялся — подземный процесс был долгим, но итог его стремительный, не дольше жизни одного поколения. Человеческая жизнь, вся разом, пошла в гору. У рядовых современности много, так сказать, командирского; человеческое войско сегодня — сплошь офицеры. Достаточно видеть, как решительно, ловко и лихо каждый из них добивается успеха, срывает удовольствия и гнет свое.

Все блага и все беды настоящего и ближайшего будущего берут истоки в этом общем подъеме исторического уровня.

Невольно напрашивается одна мысль. То, что средний уровень жизни — уровень некогда элитарный, ново для Европы, но исконно для Америки. Чтобы ясней понять меня, обратитесь к осознанию своего равноправия. То психологическое состояние, когда человек сам себе хозяин и равен любому другому, в Европе обретали немногие и лишь особо выдающиеся натуры, но в Америке оно бытовало с XVIII века — по сути, изначально. И любопытное совпадение! Едва этот психологический настрой появился у рядового европейца, едва вырос общий его жизненный уровень, как тут же стиль и облик европейской жизни повсеместно приобрели черты, заставившие многих говорить: «Европа американизируется». Говорившие так не придавали переменам особого значения — они думали, что дело сводится к легкому подражанию чужим модам и нравам, и, обманутые внешним сходством, приписывали это бог весть какому американскому влиянию. И, на мой взгляд, упрощали проблему, которая гораздо глубже, тоньше и неординарней.

Из вежливости я мог бы сказать заокеанским гостям, что Европа действительно американизировалась и что причиной тому американское влияние. Но вежливость, увы, сталкивается с истиной и должна уступить. Европа не американизировалась. И даже не испытала заметного влияния Америки. То и другое, возможно, происходит сегодня, но отсутствовало в недавнем прошлом, из которого это «сегодня» возникло. Досадный груз ложных представлений мешает нам разглядеть и американцев, и европейцев. Торжеством масс и последующим сказочным подъемом жизненного уровня Европа обязана двухвековому внутреннему процессу — материальному обогащению общества, воспитанного прогрессистами. Но результат совпал с первостепенной чертой американского

развития, и лишь по той причине, что моральное самочувствие рядового европейца совпало с американским, европейцу впервые стал понятен американский образ жизни, прежде для него темный и загадочный. Суть, таким образом, не в постороннем влиянии, не в чем-то отраженном, а гораздо неожиданней — суть в уравнивании.

Европейцы всегда смутно чувствовали, что средний уровень жизни в Америке выше, чем у них. Чувство, не слишком отчетливое, но очевидное, приводило к мысли, общепринятой и не подлежащей сомнению, что Америка — это будущее. Понятно, что столь расхожее и упорное мнение не занесено ветром, подобно орхидее, способной, по слухам, расти без корней. Его укрепляло именно это чувство превосходства среднего уровня заокеанской жизни, особенно осязаемое при большей состоятельности европейской элиты сравнительно с американской. Но история, как земледелие, зависит от долин, а не от пиков, от средних отметок общественной жизни, а не от перепада высот.

Мы живем в эпоху уравнивания — уравниваются богатства, уравнивается культура, уравнивается слабый и сильный пол. И точно так же уравниваются континенты. А поскольку европеец жизненно обрелся ниже, от этой нивелировки он только выиграл. Под таким углом зрения нашествие масс выглядит как небывалый прилив жизненных сил и возможностей — вопреки всему, что твердят нам о закате Европы. Само это выражение темно и топорно, да и неясно, что имеется в виду — европейские государства, европейская культура или то, что подспудней и бесконечно важнее, а именно — европейская жизненная сила. Что до государственности и культуры, о них еще пойдет речь — и, возможно, упомянутое

выражение вполне пригодится, — но что касается жизненной энергии, то налицо грубейшая ошибка. Быть может, изложенное иначе, мое утверждение покажется более убедительным или хотя бы менее неправдоподобным: я утверждаю, что сегодня рядовой итальянец, рядовой испанец, рядовой немец по своему жизненному тону меньше отличаются от янки или аргентинца, чем тридцать лет назад. И американцам не следует забывать это обстоятельство.

III

ВЫСОТА ВРЕМЕНИ

Итак, у господства масс есть и лицевая сторона медали, которая знаменует собой всеобщий подъем исторического уровня и означает, что обыденная жизнь сегодня выше вчерашней отметки. Это заставляет признать, что у жизни бывают разные высотные отметки, и вспомнить выражение, которое от бессмысленного употребления отнюдь не утратило смысла. Остановимся на нем, поскольку это поможет выявить одну неожиданную черту нашей эпохи.

Нередко, например, приходится слышать, что то или другое явление не на высоте своего времени. В самом деле, не абстрактное хронологическое время, линейное и ровное, а время живое, насущное, о котором каждое поколение говорит «наше время», всегда достигает какой-то высоты, сегодня превышает вчерашнюю, или удерживается на ней, или падает еще ниже. Ощущением этого и рожден образ падения — упадок. Точно так же каждый в отдельности с большей или меньшей остротой

ощущает, насколько его жизнь соотносится с высотой выпавшего на его долю времени. И есть те, кто в современном мире чувствует себя утопающим, бессильным выбраться на поверхность. Быстрота, с которой все меняется, энергия и напор, с которыми все совершается, угнетают людей архаического склада, и степень угнетенности — это мера разлада их жизненного ритма с ритмом эпохи. С другой стороны, в сознании тех, кто охотно и полно живет настоящим, высота своего времени как-то соотносится с прежними временами. Как именно?

Неправда, что прошлое ниже настоящего лишь оттого, что оно прошло. Вспомним, что для Хорхе Манрике, как ему «мнилось»,

Всегда времена бывые
Лучше, чем наши.

Но и это неправда. Не всегда настоящее ставилось ниже старины, и не всегда оно представлялось выше всего, что прошло и запомнилось. Высота, достигнутая жизнью, каждой эпохой ощущалась по-своему, и странно, что историки и философы прошли мимо столь очевидного и важного факта.

То чувство, которое выразил Манрике, явно преобладало, по крайней мере если брать его *grosso modo**. Чаше всего свое время не казалось лучшим. Наоборот, лучшими временами, пределом жизненной полноты представлялась человеку смутная древность: «золотой век», как говорим мы, вскормленные античностью; «альчеринга», как говорят австралийские аборигены. Это свидетельствовало, что людям пульс их жизни казался вялым, недостаточно сильным и упругим, чтобы наполнить вены. Оттого они чтили старину, «славное» прошлое,

* в общих чертах, в целом (*ит.*).

когда жизнь — не в пример их собственной — была обильной, полной, бурной и прекрасной. Глядя вспять и воображая те счастливые времена, они смотрели на них не свысока, а, напротив, — снизу вверх, как смотрел бы температурный столбик, обладай он сознанием, на градус, которого недобрал, потому что не хватило калорий. Ощущение, что жизнь опускается, мельчает, съеживается, что пульс ее слабеет, с середины II века после Рождества Христова стало охватывать Римскую империю. Еще Гораций восклицал: «Наши отцы, недостойные дедов, еще худших отцов породили для недостойнейшего потомства» (Оды, книга III, 6).

*Aetas parentum peior avis tulit
nos nequiores, mox daturos
progeniem vitiosorem.*

Два века спустя в империи уже не хватало достаточно храбрых италиков, чтобы занять места центурионов, и для этого пришлось нанимать далматов, а затем дунайских и рейнских варваров. Женщины тем временем обесплодели, а Италия обезлюдела.

Есть, однако, эпохи иного и, казалось бы, совершенно противоположного склада, опьяненные своим жизнеощущением. Речь идет о любопытном феномене, который крайне важно уяснить. Когда лет тридцать назад политики витийствовали перед толпой, они обычно клеймили очередной промах или произвол правительства словами: «Это недостойно нашего времени». Любопытно, что Траян в знаменитом письме Плинию, предписывая не преследовать христиан по анонимным доносам, употребил ту же самую фразу: «Nec nostri saeculi est». Следовательно, есть эпохи, которые чувствуют себя

вознесенными на абсолютную и предельную высоту, времена, которые представляются исходом, исполнением надежд и свершением вековых устремлений. Это — «совершенное время», окончательная зрелость исторического бытия. Действительно, тридцать лет назад европейцы верили, что жизнь человечества становится наконец такой, какой она должна стать, какой мечтали ее видеть многие поколения и какой она останется навсегда. Совершенное время ощущает себя зенитом, вершиной стольких эпох несовершенных, предварительных, пробных, ступенька за ступенькой ведущих к этой зрелой полноте. С вершины кажется, что все предшествующее жило единственно лишь бесплотной мечтой и несбыточной надеждой, что это были времена неутоленной жажды, пламенных упований, вечного «доколе» и жестокого разлада мечты с явью. Таким виделось XIX веку Средневековье. И вот настает День, когда вековые, иногда тысячелетние чаяния, похоже, исполняются — жизнь вобрала их в себя и следует их воле. Мы на желанной вершине, у заветной цели, в зените времени! Вечное «доколе» преобразилось в «наконец-то».

Таким было жизнеощущение наших отцов и всего их века. Нельзя это забывать, ибо время миновало зенит. И у всех, кто душою там, в столь недавней полноте прошлого, наше время при взгляде на него с высокой колокольни должно неизбежно рождать иллюзию заката и упадка.

Но тому, кто искушен в истории, трезво вслушивается в ее пульс и не ослеплен воображаемой полнотой, обман зрения не грозит.

Как уже было сказано, самое существенное для «совершенного времени» — это удовлетворение давних нужд, тяжело и горестно длившихся веками и наконец-то утоленных. В результате такие времена испытывают чув-

ство удовлетворенности, они довольны собой, а порой даже, как XIX век, слишком самодовольны*.

Но теперь-то мы видим, что эти времена, такие довольные, такие успешные, внутренне мертвы. Не в довольстве, не в успехе, не в достигнутой гавани истинная полнота жизни. Еще Сервантес говорил: «Дорога всегда лучше привала». Время, утолившее свою жажду, свою мечту, не ждет больше ничего, потому что истоки его стремлений иссякли. Иными словами, пресловутая полнота — это в действительности развязка. Есть эпохи, которые бессильны обновить свои запросы и умирают от удовлетворенности, как умирает после брачного полета довольный трутень**.

Надо ли удивляться, что времена упомянутой полноты неизменно таят на дне характерный осадок особой, присущей им унылости.

Мечтой, так долго остававшейся подспудной и лишь в XIX веке как будто бы воплощенной, было то, что емко само себя окрестило «современной культурой». Определениестораживает. Время именует себя «современностью», то есть окончательной и полной завершенностью, для которой все иные времена — прошедшие, все они лишь подступы и порывы к ней! Жалкие, вслепую пущенные стрелы***!

* Перечтите удивительные страницы Гегеля о временах довольства в его «Философии истории». — *Примеч. автора.*

** Надписи на монетах, отчеканенных при Алриане, единодушны: «Italia felix Saeculum aureum. Tellus stabilita. Temporum felicitas» («Счастливая Италия. Золотой век. Прочный мир. Счастливые времена»). Кроме большого нумизматического каталога Козна, отдельные монеты воспроизведены у Ростовцева в «The social and economic history of the Roman Empire» (1926, табл. LII и с. 588. прим. 6.). — *Примеч. автора.*

*** Исходное значение слова «современность», которым нарекло себя время, предельно выражает обрисованное мною ощущение «зенита». Современность то, что соответствует времени, воспринятому как совершенно новое, как такое настоящее, которое идет вразрез со всем устоявшимся, традиционным и оставленным далеко позади. Слово «современный», таким образом, заключает в себе понятие новой жизни, превосходящей прежнюю, и требование быть на высоте времени. Не быть «современным» равносильно падению, утрате исторического уровня. — *Примеч. автора.*

Не здесь ли пролегает граница между нашим и таким недавним, но уже вчерашним днем? В самом деле, наше время не чувствует себя окончательным — напротив, в основе его лежит ощущение, что времен окончательных, надежных, раз навсегда установленных не бывает, а притязания жизненного уклада, именуемого «современной культурой», на окончательность нам кажутся непонятным ослеплением и крайней узостью кругозора. И мы облегченно чувствуем, что вырвались из тесного и безвыходного загона в бескрайний звездный мир, настоящий, грозный, непредсказуемый и неистощимый, где возможно все — от наилучшего до наихудшего.

Вера в современную культуру была унылой: безрадостно знать, что завтрашний день в основном повторит сегодняшний, что прогресс — это шаг за шагом по дороге, неотличимой от уже пройденной. Такая дорога больше смахивает на тюрьму, которая растягивается, как резина, не выпуская на волю.

Когда в молодой еще империи какой-нибудь одаренный провинциал — скажем, Лукан или Сенека — попал в Рим и видел величественные имперские сооружения, сердце его сжималось. Ничего нового не могло уже произойти в мире. Рим был вечен. И если есть уныние руин, нависшее над ними, как туман над болотом, то чуткий провинциал ощущал такой же тяжелый гнет, но с обратным знаком — уныние вечных стен.

Сравнительно с этим не выглядит ли наше мироощущение шумной радостью детей, сбегавших из школы? Одному Богу известно, что будет завтра, и это тайно радует нас, потому что лишь в открытой дали, где все неожиданно, все возможно, и есть настоящая жизнь, подлинная полнота жизни.

Такая картина — разумеется, половинчатая — расходится с теми слезливыми жалобами на упадок, которыми изводят нас писания современников. Дело тут в обмане зрения, у которого много причин. О них поговорим позже, а сейчас упомяну лишь самую явную. Следуя идеологии, на мой взгляд рискованной, в истории видят только политику или культуру, не замечая, что это лишь поверхность, а глубинная реальность истории — прежде всего биологическая мощь, нечто от энергии космической: чистейшая жизненная сила, если не тождественная, то родственная той, что движет моря, плодит земную тварь, раскрывает цветы и зажигает звезды.

Предлагаю диагностам упадка следующие соображения.

Упадок, бесспорно, понятие сравнительное. Падают сверху вниз, из высшего состояния в низшее. А сравнивать можно с разных и каких угодно точек зрения. Для изготовителя янтарных мундштуков мир явно в упадке, поскольку мундштуками уже не пользуются. Возможны точки зрения поосновательней, но оттого они не становятся менее частными, произвольными и сторонними той жизни, чье достоинство придирчиво оценивают. Есть лишь одна оправданная и естественная точка зрения — окунуться в жизнь и, увидев ее изнутри, судить, ощущает ли она себя упадочной, то есть немощной, пресной и скудной.

Но как распознать, даже при взгляде изнутри, ощущает себя жизнь упадочной или нет? Решающий признак для меня бесспорен: ту жизнь, которая не завидует никакой другой и, следовательно, из всех, когда-либо бывших, предпочитает себя, никоим образом нельзя все-

рьез называть упадочной. К этому и вели мои рассуждения о «высоте своего времени». Ибо именно нашему выпало жизнеощущение редкостное и, насколько могу судить, небывалое в истории.

В салонах прошлого века неминуемо наступала минута, когда дамы и дамские поэты задавали друг другу фатальный вопрос: «В какие времена вам хотелось бы жить?» И вот каждый, взвалив на плечи муляж собственной жизни, пускался мысленно бродить по дорогам истории в поисках эпохи, где данный слепок пришелся бы как нельзя кстати. А это значит, что пресловутый девятнадцатый век, при всем сознании своего совершенства — а может быть, в силу такого сознания, — был неотделим от прошлого, чьи плечи ощущал под собой; по сути, он видел в себе осуществленное прошлое. Отсюда его вера в образцовые, пусть и с оговорками, времена — век Перикла, Ренессанс — те, что готовили ему почву. И отсюда наша недоверчивость к эпохам свершений: полуобернутые вспять, они движутся с оглядкой на прошлое, которое осуществляют.

А теперь задайте упомянутый вопрос человеку вполне современному. Готов поручиться, что прошлые века, все без исключения, показались бы ему тесным загонном, где трудно дышать. Значит, сегодняшний человек ощущает в себе больше жизни, чем ощущали встарь, или, другими словами, все прошлое целиком, от начала до конца, слишком мало для современного человечества. Такое жизнеощущение сводит на нет все рассуждения об упадке.

Прежде всего наша жизнь чувствует себя огромней любой другой. Какой же тут упадок? Наоборот, чувство превосходства лишает ее уважения и даже внима-

ния к былому. Впервые в истории возникает эпоха без эталонов, которая не видит позади ничего образцового, ничего приемлемого для себя, — прямая наследница стольких веков, она тем не менее похожа на вступление, на рассвет, на детство. Мы озираемся, и прославленный Ренессанс нам кажется провинциальным, узким, кичливым и — что греха таить — вульгарным.

Все это мне уже довелось подытожить так: «Жестокый разрыв настоящего с прошлым — главный признак нашей эпохи, и похоже, что он-то и вносит смятение в сегодняшнюю жизнь. Мы чувствуем, что внезапно стали одинокими, что мертвые умерли всерьез, навсегда и больше не могут нам помочь. Следы духовной традиции стерлись. Все примеры, образцы, эталоны бесполезны. Все проблемы, будь то в искусстве, науке или политике, мы должны решать только в настоящем, без участия прошлого. Лишенный своих бессмертных мертвых, европеец одинок; подобно Петеру Шлемиллю, он утратил тень. Именно это случается в полдень»*.

Какова же в итоге высота нашего времени?

Это не зенит, и тем не менее такого ощущения высоты не было никогда. Нелегко определить, какой видит себя наша эпоха: она и убеждена, что выше всех, и одновременно чувствует себя началом, и не уверена, что это не начало конца. Как бы это выразить? Может быть, так: она выше любой другой и ниже самой себя. Она могуча и не уверена в себе. Горда и напугана собственной мощью.

* См. мою работу «Дегуманизация искусства» (см. стр. 209—268 наст. издания. — *Примеч. ред.*). — *Примеч. автора.*

IV

РОСТ ЖИЗНИ

Захват власти массами и возросшая вслед за ним высота времени — в свою очередь лишь следствия одной общей причины. Причина почти гротескная и неправдоподобная в явной своей и привычной очевидности. Просто-напросто мир нежданно вырос, а в нем и вместе с ним выросла и жизнь. Прежде всего она стала планетарной; я хочу сказать, что жизнь рядового человека вмещает сегодня всю планету, что простой смертный привычно обживает весь мир. Год с небольшим назад севилицы, раскрыв газету, шаг за шагом прослеживали путь полярников; над раскаленными бетийскими пашнями дрейфовали льды. Каждая пядь земли уже не вмещается в топографические рамки и влияет на жизнь в любой точке планеты. А поскольку физика расположение тел определяет по их воздействию, следует любую точку планеты признать вездесущей. Эта близость дальнего, доступность недоступного фантастически раздвинула жизненный горизонт каждого человека.

Но мир вырос и во времени. Археология чудовищно расширила историческое пространство. Империи и целые цивилизации, о которых мы вчера еще не подозревали, входят в наше сознание, как новые континенты. Экраны и журналы доносят эту незапамятную древность до глаз обывателя.

Само по себе это пространственно-временное расширение мира не значило бы ровным счетом ничего. Физическое пространство и время — вселенский абсурд. И в том культе скорости, который ныне исповедуют,

больше смысла, чем принято думать. Скорость так же бессмысленна, как ее слагаемые — пространство и время, — но она их упраздняет. Глупость можно обуздать лишь большей глупостью. Победа над космическим пространством и временем, полностью лишенными смысла, стала для человека делом чести*, и неудивительно, что мы по-детски радуемся бесплодной скорости, с помощью которой истребляем пространство и сводим на нет время. Упраздняя, мы оживляем их, делаем житейски пригодными, позволяющими большее число мест обживать, легче менять их и вбирать больше физического времени в меньший жизненный отрезок.

Но существенно даже не то, что мир увеличился в размерах; существенней, что в мире всего стало больше. Всего, что можно придумать, пожелать, создать, разрушить, найти, употребить или отвергнуть — что ни глагол, то сгусток жизненной активности.

Возьмем самое житейское — например, покупку. Представьте, что два человека, один — в наши дни, а другой — в XVIII веке, владеют одинаковым, соответственно ценам обеих эпох, состоянием, и сравните ассортимент товаров, доступных тому и другому. Разница почти фантастическая. Возможности современного покупателя выглядят практически безграничными. Трудно вообразить вещь, которой не было бы на прилавках, и наоборот — невозможно вообразить все, что там есть. Могут возразить, что при соответственно одинаковом достатке человек и в наши дни купит не больше, чем в XVIII веке. Но это не так. Промышленность удешевила

* Именно потому, что срок жизни ограничен, именно потому, что люди смертны, они и спешат одолеть, обрести все, что дается слишком долго и слишком поздно. Господу, вечно сущему, автомобиль ни к чему. — *Примеч. автора.*

стоимость едва ли не всех изделий. Впрочем, не это меня занимает, и я постараюсь объяснить.

С точки зрения жизненной активности «купить» означает облюбовать товар; это прежде всего выбор, а выбор начинается с обзора возможностей, предложенных торговлей. Отсюда следует, что такой вид жизнедеятельности, как купля, заключается в проигрывании вариантов, в самой возможности купить. Говоря о жизни, обычно забывают самое, на мой взгляд, существенное: наша жизнь — это всегда и прежде всего уяснение возможно-го. Если бы всякий раз нам предоставлялась одна-единственная возможность, само это слово утеряло бы смысл. То была бы чистейшая неизбежность. Но таково уж удивительное и коренное свойство нашей жизни, что у нее всегда несколько дорог, и перепутье принимает облик возможностей, из которых мы должны выбирать*. Жить означает то же самое, что попасть в орбиту определенных возможностей. Эту среду привычно именуют «обстоятельствами». Жить — значит очутиться в кругу обстоятельств — или в мире. Таков изначальный смысл понятия «мир». Это совокупность наших жизненных возможностей — и не что-то отделенное и стороннее нашей жизни, но ее внешний контур. Он охватывает все, чем мы можем стать, нашу жизненную потенцию. Но для своего осуществления ей надо определиться — обрести пределы; другими словами, мы становимся лишь малой долей того, чем могли бы стать. Поэтому мир нам кажется таким огромным, а мы в нем — такими крохотными. Мир, или наша возможная жизнь, неизбежно больше нашей участи, или жизни действительной.

* Даже в наихудшем случае, когда жизнь сужается до одного-единственного выхода, всегда есть и второй — уход из жизни. Но ведь уход из жизни — такая же часть ее, как дверь — часть дома. — *Примеч. автора.*

Сейчас я хочу лишь показать, насколько жизнь потенциально стала больше. Сфера ее возможностей шире, чем когда-либо. В области мысли сегодня больше простора для появления идей, больше проблем, больше фактов, больше знаний, больше точек зрения. Если в первобытной жизни занятия можно пересчитать по пальцам — охотник, пастух, воин, колдун, — то сегодня перечень профессий нескончаем. То же самое с развлечениями, хотя разнообразие здесь и не так велико, как в остальных сферах жизни, — и это обстоятельство гораздо серьезней, чем кажется. Тем не менее для рядового горожанина — а город и есть олицетворение современности — возможность получить удовольствие выросла в нашем веке небывало.

Но рост жизненной силы не сводится к вышеперечисленному. Она выросла в самом прямом и загадочном смысле. Общеизвестно и даже привычно, что в атлетике и спорте *performances** сегодня намного выше всего ранее известного. Стоит обратить внимание не только на новые рекорды, но и на то ощущение, которое рождает их частота, убеждая нас ежечасно, что сегодня у человеческого организма больше возможностей, чем было когда-либо. Ведь нечто похожее происходит и в науке. За какие-нибудь десять лет она немислимо раздвинула границы Вселенной.

Физика Эйнштейна обитает в таком обширном пространстве, что на долю старой ньютоновской физики там приходится лишь тесный закуток. И обязано это экстенсивное развитие столь же экстенсивному развитию научной точности. Физика Эйнштейна рождена вниманием к таким минимальным различиям, какими раньше

* достижения (*фр.*).

пренебрегали ввиду их незначительности. Наконец, атом, вчерашний предел мыслимого мира, сегодня раздулся до размеров планетной системы. Упоминая все это, я говорю не о росте и превосходстве культуры, в данный момент меня не интересующей, но о росте индивидуальных способностей, которым она обязана. Я подчеркиваю не то, что физика Эйнштейна точнее Ньютоновой, а то, что Эйнштейн как человек способен на большую точность и духовную свободу*, чем Ньютон, — подобно тому, как сегодняшний чемпион по боксу наносит удары с большей силой, чем когда-либо.

Пока фильмы и фотографии развлекают рядового человека самыми недоступными ландшафтами, газеты и репродукторы приносят ему новости об упомянутых интеллектуальных *performances*, наглядно подтвержденных витринным блеском технических новинок. Все это копит в его сознании ощущение сказочного всемогущества.

Я не хочу этим сказать, что человеческая жизнь сегодня лучше, чем в иные времена. Я говорю не о качестве жизни, а об ее напоре, об ее количественном или потенциальном росте. Я надеюсь таким образом поточнее обрисовать мироощущение современного человека, его жизненный тонус, обусловленный сознанием небывалых возможностей и кажущимся инфантилизмом минувших эпох.

Это необходимо, чтобы опровергнуть разглагольствования об упадке, и прежде всего упадке европейском, который отравил воздух последнего десятилетия. Вспом-

* Вселенная Ньютона была бесконечной, но бесконечность ее бессодержательна — это голое обобщение, пустая и бесплодная утопия. Вселенная Эйнштейна конечна, но конкретна и содержательна в каждой своей точке — следовательно, в нее больше вместились, и в итоге она протяженнее. — *Примеч. автора.*

ните соображение, которое я предлагал и которое кажется мне таким же простым, как и очевидным. Не стоит заговаривать об упадке, не уточнив, о каком. Касается ли этот пессимизм культуры? Европейская культура в упадке? Или в упадке лишь европейские национальные институты? Предположим, что так. Дает ли это право говорить о европейском упадке? Только отчасти. В том и другом случаях упадок частичен и касается вторичных продуктов истории — культуры и наций. Есть лишь один всеобъемлющий упадок — утрата жизнеспособности, — а существует он лишь тогда, когда ощущается. Поэтому и пришлось мне рассматривать феномен, мало кем замеченный — осознание или ощущение каждой эпохой своего жизненного уровня.

Как было сказано, одни эпохи чувствуют себя «в зените», а другим, напротив, кажется, что они утратили высоту и скатились к подножию древнего и блистательного «золотого века». И в заключение я отметил очевиднейший факт: нашему времени присуще редкостное чувство превосходства над любыми другими эпохами; больше того — оно не приводится с ними к общему знаменателю, равнодушно к ним, не верит в образцовые времена и считает себя совершенно новой и высшей формой жизни.

Думаю, что нельзя, не опираясь на это, понять наше время. Именно здесь его главная проблема. Если бы оно ощущало упадок, то смотрело бы на прошлое снизу вверх и потому считалось с ним, восхищалось им и чтило его заветы. У нашего времени были бы ясные и четкие цели, хоть и не было бы сил достичь их. Действительность же прямо противоположна: мы живем в эпоху, которая чувствует себя способной достичь чего угодно, но не знает,

чего именно. Она владеет всем, но только не собой. Она заблудилась в собственном изобилии. Больше, чем когда-либо, средств, больше знаний, больше техники, а в результате мир как никогда злосчастен — его сносит течением*.

Отсюда то странное, двойственное чувство всесияия и неуверенности, что гнездится в современной душе. К ней применимо сказанное регентом о малолетнем Людовике XV: «Налицо все таланты, кроме одного — умения ими пользоваться». Многие казалось уже невозможным XIX веку, твердому в своей прогрессистской вере. Сегодня, когда все нам кажется возможным, мы догадываемся, что возможно также и наихудшее: регресс, одичание, упадок**. Признак сам по себе неплохой — он означает, что мы снова соприкасаемся с изначальной уязвимостью жизни, с той мучительной и сладкой тревожностью, которую таит каждое мгновение, если оно прожито до конца, до самой своей трепетной и кровотокающей сути. Обычно мы сторонимся этого пугающего трепета, от которого любое безобидное мгновение становится крохотным летучим сердцем; ради безопасности мы силимся стать бесчувственными к извечному драматизму нашей судьбы, прибегая к наркозу рутины и косности. И поистине благотворно, что впервые за три века мы застигнуты врасплох и не ведаем, что будет с нами завтра.

* Духовная свобода, то есть интеллектуальная мощь, измеряется способностью разделять понятия, традиционно нераздельные. Разделение понятий требует больше сил, чем их ассоциация, как показал Келлер в его исследованиях интеллекта шимпанзе. Никогда еще человеческий разум не обладал такой способностью разъединять, как сейчас. — *Примеч. автора.*

** Отсюда и возникает ощущение упадка. Причина не в том, что мы находимся в упадке, а в том, что мы готовы ко всему, не исключая упадка. — *Примеч. автора.*

Всякий, кто относится к жизни нешуточно и считает себя полностью ответственным за нее, не может не испытывать известного рода тревогу, которая заставляет его быть начеку. Римский устав предписывал часовому держать палец на губах, чтобы оставаться бдительным и не поддаваться дремоте. Жест неплох и словно подчиняет ночную тишину еще большему безмолвию, чтобы уловить тайные шаги грядущего. Эпохи свершений — и в их числе девятнадцатый век — в беспечном ослеплении не опасались будущего, приписав ему законы небесной механики. И либерализм прогрессистов, и социализм Маркса равно предполагали, что желаемый, а значит, наилучший вариант будущего осуществится неукоснительно, с почти астрономической предрешенностью. Видя в этой идее свое самооправдание, они выпускали из рук руль истории, теряли бдительность, утрачивали маневренность и везучесть. И жизнь, ускользнув от них, окончательно отбилась от рук и побрела куда глаза глядят. Под личиной прогрессиста крылось равнодушие к будущему, неверие ни в какие внезапные перемены, загадки и превратности, убеждение, что мир движется по прямой, неуклонно и непреложно, утрачивая тревожность будущего и окончательно оставаясь в настоящем. Недаром кажется, что в мире уже перевелись идеалы, предвидения и планы. Никого они не заботят. Такова вечная изнанка истории — когда масса восстает, ведущее меньшинство разбегается.

Пора, однако, вернуться к водоразделу, обозначенному господством масс. С освещенного благодатного склона переберемся теперь на другую сторону, теневую и куда более опасную.

V

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В этой работе я хотел бы угадать недуг нашего времени, нашей сегодняшней жизни. И первые результаты можно обобщить так: современная жизнь грандиозна, избыточна и превосходит любую исторически известную. Но именно потому, что напор ее так велик, она вышла из берегов и смысла все завещанные нам устои, нормы и идеалы. В ней больше жизни, чем в любой другой, и по той же причине больше нерешенного*. Ей надо самой творить свою собственную судьбу.

Но диагноз пора дополнить. Жизнь — это прежде всего наша возможная жизнь, то, чем мы способны стать, и как выбор возможного — наше решение, то, чем мы действительно становимся. Обстоятельства и решения — главные слагаемые жизни. Обстоятельства, то есть возможности, нам заданы и навязаны. Мы называем их миром. Жизнь не выбирает себе мира, жить — это очутиться в мире определенном и бесповоротном, здесь и сейчас. Наш мир — это предрешенная сторона жизни. Но предрешенная не механически. Мы не пущены в мир, как пуля из ружья, по неукоснительной траектории. Неизбежность, с которой сталкивает нас этот мир — а мир всегда этот, здесь и сейчас, — состоит в обратном. Вместо единственной траектории нам задается множество, и мы, соответственно, обречены... выбирать себя. Немыслимая предпосылка! Жить — значит вечно быть

* Научимся, однако, извлекать из прошлого если не позитивный, то хотя бы негативный опыт. Прошрое не надоумит, что делать, но подскажет, чего избегать. — *Примеч. автора.*

осужденным на свободу, вечно решать, чем ты станешь в этом мире. И решать без усталости и без передышки. Даже отдаваясь безнадежно на волю случая, мы принимаем решение — не решать.

Неправда, что в жизни «решают обстоятельства». Напротив, обстоятельства — это дилемма, вечно новая, которую надо решать. И решает ее наш собственный склад.

Все это применимо и к общественной жизни. У нее, во-первых, тоже есть горизонт возможного и, во-вторых, решение в выборе совместного жизненного пути. Решение зависит от характера общества, его склада или, что одно и то же, от преобладающего типа людей. Сегодня преобладает масса, и решает она. И происходит нечто иное, чем в эпоху демократии и всеобщего голосования. При всеобщем голосовании массы не решали, а присоединялись к решению того или другого меньшинства. Последние предлагали свои «программы» — отличный термин. Эти программы — по сути, программы совместной жизни — приглашали массу одобрить проект решения.

Сейчас картина иная. Всюду, где торжество массы растет, например в Средиземноморье, при взгляде на общественную жизнь поражает то, что политически там перебиваются со дня на день. Это более чем странно. У власти — представители масс. Они настолько всесильны, что свели на нет саму возможность оппозиции. Это бесспорные хозяева страны, и нелегко найти в истории пример подобного всевластия. И тем не менее государство, правительство живут сегодняшним днем. Они не распахнуты будущему, не представляют его ясно и открыто, не кладут начало чему-то новому, уже различимому в перспективе. Словом, они живут без жизненной программы. Не знают, куда идут, потому что не идут

никуда, не выбирая и не прокладывая дорог. Когда такое правительство ищет самооправданий, то не поминает всеу день завтрашний, а, напротив, упирает на сегодняшний и говорит с завидной прямоотой: «Мы — чрезвычайная власть, рожденная чрезвычайными обстоятельствами». То есть злобой дня, а не дальней перспективой. Недаром и само правление сводится к тому, чтобы постоянно выпутываться, не решая проблем, а всеми способами увиливая от них и тем самым рискуя сделать их неразрешимыми. Таким всегда было прямое правление массы — всемогущим и призрачным. Масса — это те, кто плывет по течению и лишен ориентиров. Поэтому массовый человек не созидает, даже если возможности и силы его огромны.

И как раз этот человеческий тип сегодня решает. Право же, стоит в нем разобраться.

Ключ к разгадке — в том вопросе, что прозвучал уже в начале моей работы: откуда возникли все эти толпы, захлестнувшие сегодня историческое пространство?

Не так давно известный экономист Вернер Зомбарт указал на один простой факт, который должен бы впечатлить каждого, кто озабочен современностью. Факт сам по себе достаточный, чтобы открыть нам глаза на сегодняшнюю Европу, по меньшей мере обратить их в нужную сторону. Дело в следующем: за многовековой период своей истории, с VI по XIX, европейское население ни разу не превысило ста восьмидесяти миллионов. А за время с 1800 по 1914 год — за столетие с небольшим — достигло четырехсот шестидесяти! Контраст, полагаю, не оставляет сомнений в плодovitости прошлого века. Три поколения подряд человеческая масса росла как на дрожжах и, хлынув, затопила тесный отрезок истории. Достаточно, повторяю, одного этого

факта, чтобы объяснить триумф масс и все, что он сулит. С другой стороны, это еще одно, и притом самое ошутимое, слагаемое того роста жизненной силы, о котором я упоминал.

Эта статистика, кстати, умеряет наше беспочвенное восхищение ростом молодых стран, особенно Соединенных Штатов. Кажется сверхъестественным, что население США за столетие достигло ста миллионов, а ведь куда сверхъестественней европейская плодовитость. Лишнее доказательство, что американизация Европы иллюзорна. Даже, казалось бы, самая характерная черта Америки — ускоренный темп ее заселения — не самобытна. Европа в прошлом веке заселялась куда быстрее. Америку создали европейские излишки.

Хотя выкладки Вернера Зомбарта и не так известны, как они того заслуживают, сам загадочный факт заметного прироста европейцев слишком очевиден, чтобы на нем задерживаться. Суть не в цифрах народонаселения, а в их контрастности, вскрывающей внезапный и головокружительный темп роста. Речь идет о нем. Головокружительный рост означает все новые и новые толпы, которые с таким ускорением извергаются на поверхность истории, что не успевают пропитаться традиционной культурой.

И в результате современный средний европеец душевно здоровей и крепче своих предшественников, но и душевно беднее. Оттого он порой смахивает на дикаря, внезапно забредшего в мир вековой цивилизации. Школы, которыми так гордился прошлый век, внедрились в массу современные технические навыки, но не сумели воспитать ее. Снабдили ее средствами для того, чтобы жить полнее, но не смогли наделить ни историческим чутьем, ни чувством исторической ответственности. В

массу вдохнули силу и спесь современного прогресса, но забыли о духе. Естественно, она и не помышляет о духе, и новые поколения, желая править миром, смотрят на него как на первозданный рай, где нет ни давних следов, ни давних проблем.

Славу и ответственность за выход широких масс на историческое поприще несет XIX век. Только так можно судить о нем беспристрастно и справедливо. Что-то небывалое и неповторимое крылось в его климате, раз вызрел такой человеческий урожай. Не усвоив и не переварив этого, смешно и легкомысленно отдавать предпочтение духу иных эпох. Вся история предстает гигантской лабораторией, где ставятся все мыслимые и немыслимые опыты, чтобы найти рецепт общественной жизни, наилучшей для культивации «человека». И, не прибегая к уверткам, следует признать данные опыта: человеческий посев в условиях либеральной демократии и технического прогресса — двух основных факторов — за столетие устроил людские ресурсы Европы.

Такое изобилие, если мыслить здраво, приводит к ряду умозаключений: первое — либеральная демократия на базе технического творчества является высшей из донныне известных форм общественной жизни; второе — вероятно, это не лучшая форма, но лучшие возникнут на ее основе и сохраняют ее суть, и третье — возвращение к формам низшим, чем в XIX веке, самоубийственно.

И вот, разом уяснив себе все эти вполне ясные вещи, мы должны предъявить XIX веку счет. Очевидно, наряду с чем-то небывалым и неповторимым имелись в нем и какие-то врожденные изъяны, коренные пороки, поскольку он создал новую касту людей — мятежную массу, и теперь она угрожает тем основам, которым обязана жизнью. Если этот человеческий тип будет по-прежне-

му хозяйничать в Европе и право решать останется за ним, то не пройдет и тридцати лет, как наш континент одичает. Наши правовые и технические достижения исчезнут с той же легкостью, с какой не раз исчезали секреты мастерства*. Жизнь съжится. Сегодняшний избыток возможностей обернется беспросветной нуждой, скаредностью, тоскливым бесплодием. Это будет неподдельный декаданс, потому что восстание масс и есть то самое, что Ратенау назвал «вертикальным вторжением варваров».

Поэтому так важно взглянуть в массового человека, в эту чистую потенцию как высшего блага, так и высшего зла.

VI

ВВЕДЕНИЕ В АНАТОМИЮ МАССОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Кто он, тот массовый человек, что главенствует сейчас в общественной жизни, политической и неполитической? Почему он таков, каков есть, иначе говоря, как он получился таким?

* Герман Вейль, один из крупнейших физиков современности, последователь и соратник Эйнштейна, говорил в частной беседе, что если бы определенные люди, десять или двенадцать человек, внезапно умерли, чудо современной физики оказалось бы навеки утраченным для человечества. Столетиями надо было приспособливать человеческий мозг к абстрактным головоломкам теоретической физики. И любая случайность может развеять эти чудесные способности, от которых зависит и вся техника будущего. — *Примеч. автора.*

Оба вопроса требуют совместного ответа, потому что взаимно проясняют друг друга. Человек, который намерен сегодня возглавлять европейскую жизнь, мало похож на тех, кто двигал девятнадцатый век, но именно девятнадцатым веком он рожден и вскормлен. Проницательный ум, будь то в 1820, 1850 или 1880 годах, простым рассуждением а priori мог предвосхитить тяжесть современной исторической ситуации. И в ней действительно нет ровным счетом ничего, не предугаданного сто лет назад. «Массы надвигаются!» — апокалиптически восклицал Гегель. «Без новой духовной власти наша эпоха — эпоха революционная — кончится катастрофой», — предрекал Огюст Конт. «Я вижу всемирный потоп нигилизма!» — кричал с энгадинских круч усатый Ницше. Неправда, что история непредсказуема. Сплошь и рядом пророчества сбывались. Если бы грядущее не оставляло бреши для предвидений, то и впредь, исполняясь и становясь прошлым, оно оставалось бы непонятным. В утверждении, что историк пророк наоборот, заключена вся философия истории. Конечно, можно провидеть лишь общий каркас будущего, но ведь и в настоящем или прошлом это единственное что, в сущности, доступно. Поэтому, чтобы видеть свое время, надо смотреть с расстояния. С какого? Достаточного, чтобы не различать носа Клеопатры.

Какой представлялась жизнь той человеческой массе, которую в изобилии плодил XIX век? Прежде всего и во всех отношениях — материально доступной. Никогда еще рядовой человек не утолял с таким размахом свои житейские запросы. По мере того как таяли крупные состояния и ужесточалась жизнь рабочих, экономичес-

кие перспективы среднего слоя становились день ото дня все шире. Каждый день вносил лепту в его жизненный standard*. С каждым днем росло чувство надежности и собственной независимости. То, что прежде считалось удачей и рождало смиренную признательность судьбе, стало правом, которое не благословляют, а требуют. С 1900 года и рабочий начинает ширить и упрочивать свою жизнь. Он, однако, должен за это бороться. Благодеяние не уготовано ему заботливо, как среднему человеку, обществом и на диво слаженным государством.

Этой материальной доступности и обеспеченности сопутствует житейская — confort** и общественный порядок. Жизнь катится по надежным рельсам, и столкновение с чем-то враждебным и грозным мало представимо.

Столь ясная и распахнутая перспектива неминуемо должна копить в недрах обыденного сознания то ощущение жизни, которое метко выражено нашей старинной поговоркой: «Широка Кастилия!»*** А именно — во всех ее основных и решающих моментах жизнь представляется новому человеку лишенной преград. Это обстоятельство и его важность осознаются сами собой, если вспомнить, что прежде рядовой человек и не подозревал о такой жизненной раскрепощенности. Напротив, жизнь была для него тяжелой участью. Он с рождения ощущал ее как скопище преград, которые обречен терпеть, с которыми принужден смириться и втиснуться в отведенную ему щель.

Контраст еще отчетливей, если от материального перейти к аспекту гражданскому и моральному. С середи-

* Standard (англ.) — стандарт.

** Confort (фр.) — комфорт.

*** Ободряющее восклицание, отчасти схожее с русским: «Гуляй, душа!» — Примеч. пер.

ны прошлого века средний человек не видит перед собой никаких социальных барьеров. С рождения он и в общественной жизни не встречает рогаток и ограничений. Никто не принуждает его сужать свою жизнь. И здесь — «широка Кастилия». Не существует ни «сословий», ни «каст». Ни у кого нет гражданских привилегий. Средний человек усваивает как истину, что все люди узаконенно равны.

Никогда за всю историю человек не знал условий, даже отдаленно похожих на современные. Речь действительно идет о чем-то абсолютно новом, что внес в человеческую судьбу XIX век. Создано новое сценическое пространство для существования человека — новое и в материальном, и в социальном плане. Три начала сделали возможным этот новый мир: либеральная демократия, экспериментальная наука и промышленность. Два последних фактора можно объединить в одно понятие — техника. В этой триаде ничто не рождено XIX веком, но унаследовано от двух предыдущих столетий. Девятнадцатый век не изобрел, а внедрил, и в том его заслуга. Это прописная истина. Но одной ее мало, и надо вникнуть в ее неумолимые последствия.

Девятнадцатый век был революционным по сути. И суть не в живописности его баррикад — это всего лишь декорация, — а в том, что он поместил огромную массу общества в жизненные условия, прямо противоположные всему, с чем средний человек свыкся ранее. Короче, век перелицевал общественную жизнь. Революция — не покушение на порядок, но внедрение нового порядка, дискредитирующего привычный. И потому можно без особых преувеличений сказать, что человек, порожденный девятнадцатым столетием, социально стоит особняком в ряду предшественников. Разумеется, человечес-

кий тип восемнадцатого века отличен от преобладавшего в семнадцатом, а тот — от характерного для шестнадцатого века, но все они в конечном счете родственны, схожи и по сути даже одинаковы, если сопоставить их с нашим новоявленным современником. Для «плебея» всех времен «жизнь» означала прежде всего стеснение, повинность, зависимость, одним словом — угнетение. Еще короче — гнет, если не ограничивать его правовым и сословным, забывая о стихиях. Потому что их напор не слабел никогда, вплоть до прошлого века, с началом которого технический прогресс — материальный и управленческий — становится практически безграничным. Прежде даже для богатых и могущественных земля была миром нужды, тягот и риска*.

Тот мир, что окружает нового человека с колыбели, не только не понуждает его к самообузданию, не только не ставит перед ним никаких запретов и ограничений, но, напротив, непрестанно берedit его аппетиты, которые в принципе могут расти бесконечно. Ибо этот мир девятнадцатого и начала двадцатого века не просто демонстрирует свои бесспорные достоинства и масштабы, но и внушает своим обитателям — и это крайне важно — полную уверенность, что завтра, словно упиваясь стихийным и неистовым ростом, мир станет еще богаче, еще шире и совершенней. И по сей день, несмотря на признаки первых трещин в этой незыблемой вере, по сей день, повторяю, мало кто сомневается, что автомо-

* При любом относительном богатстве сфера благ и удобств, обеспеченных им, была крайне сужена всеобщей бедностью мира. Жизнь среднего человека сегодня много легче, изобильней и безопасней жизни могущественнейшего властителя иных времен. Какая разница, кто кого богаче, если богат мир и не скупится на автострады, магистрали, телеграфы, отели, личную безопасность и аспирин? — *Примеч. автора.*

били через пять лет будут лучше и дешевле, чем сегодня. Это так же непреложно, как завтрашний восход солнца. Сравнение, кстати, точное. Действительно, видя мир так великолепно устроенным и слаженным, человек заурядный полагает его делом рук самой природы и не в силах додуматься, что дело это требует усилий людей незаурядных. Еще трудней ему уразуметь, что все эти легко достижимые блага держатся на определенных и нелегко достижимых человеческих качествах, малейший недобор которых незамедлительно развеет прахом великолепное сооружение.

Пора уже наметить первыми двумя штрихами психологический рисунок сегодняшнего массового человека: эти две черты — беспрепятственный рост жизненных запросов и, следовательно, безудержная экспансия собственной натуры и — второе — врожденная неблагодарность ко всему, что сумело облегчить ему жизнь. Обе черты рисуют весьма знакомый душевный склад — избалованного ребенка. И в общем можно уверенно прилагать их к массовой душе как оси координат. Наследница незапятнанного и гениального былого — гениального по своему вдохновению и дерзанию, — современная чернь избалована окружением. Баловать — это значит потакать, поддерживать иллюзию, что все дозволено и ничто не обязательно. Ребенок в такой обстановке лишается понятий о своих пределах. Избавленный от любого давления извне, от любых столкновений с другими, он и впрямь начинает верить, что существует только он, и привыкает ни с кем не считаться, а главное — никого не считать лучше себя. Ощущение чужого превосходства вырабатывается лишь благодаря кому-то бо-

лее сильному, кто вынуждает сдерживать, умерять и подавлять желания. Так усваивается важнейший урок: «Здесь кончаюсь я и начинается другой, который может больше, чем я. В мире, очевидно, существуют двое: я и тот, другой, кто выше меня». Среднему человеку прошлого мир ежедневно преподавал эту простую мудрость, поскольку был настолько неслаженным, что бедствия не кончались и ничто не становилось надежным, обильным и устойчивым. Но для новой массы все возможно и даже гарантировано — и все наготове, без каких-либо предварительных усилий, как солнце, которое не надо тащить в зенит на собственных плечах. Ведь никто никого не благодарит за воздух, которым дышит, потому что воздух никем не изготовлен — он часть того, о чем говорится «это естественно», поскольку это есть и не может не быть. А избалованные массы достаточно малокультурны, чтобы всю эту материальную и социальную слаженность, безвозмездную, как воздух, тоже считать естественной, поскольку она, похоже, всегда есть и почти так же совершенна, как и природа.

Мне думается, сама искусность, с которой XIX век обустроил определенные сферы жизни, побуждает облагодетельствованную массу считать их устройство не искусственным, а естественным. Этим объясняется и определяется то абсурдное состояние духа, в котором пребывает масса: больше всего ее заботит собственное благополучие и меньше всего — истоки этого благополучия. Не видя в благах цивилизации ни изощренного замысла, ни искусного воплощения, для сохранности которого нужны огромные и бережные усилия, средний человек и для себя не видит иной обязанности, кроме как убежденно домогаться этих благ единственно по праву рождения. В дни голодных бунтов народные толпы обычно требуют

хлеба, а в поддержку требований, как правило, громят пекарни. Чем не символ того, как современные массы поступают — только размахистей и изобретательней — с той цивилизацией, что их питает*?

VII

ЖИЗНЬ ВЫСОКАЯ И НЕИЗМЕННАЯ, ИЛИ РВЕНИЕ И РУТИНА

Мы прежде всего то, что творит из нас мир, и главные свойства нашей души оттиснуты на ней окружением. Это неудивительно, ибо жить означает вживаться в мир. Общий дух, которым он встречает нас, передается нашей жизни. Именно поэтому я так настойчиво подчеркиваю, что ничего похожего на тот мир, которым вызваны к жизни современные массы, история еще не

* Для брошенной на собственный произвол массы, будь то чернь или «знать», жажда жизни неизменно оборачивается разрушением самих основ жизни. Бесподобным гротеском этой тяги — *propter vitam, vitae perdere causas* («ради жизни утратить смысл жизни», лат.) — мне кажется происшедшее в Нихаре, городке близ Альмерии, 13 сентября 1759 года, когда был провозглашен королем Карлос III. Торжество началось на площади: «Затем велено было угостить все собрание, каковое истребило 77 бочонков вина и четыре бурдюка водки и воодушевилось настолько, что со многими здравицами двинулось к муниципальному складу и там выбрасывало из окон весь хлебный запас и 900 реалов общинных денег. В лавках учинили то же самое, изничтожив, во славу праздника, все, что было там съестного и питейного. Духовенство не уступало рвением и громко призывало женщин выбрасывать на улицу все, что ни есть, и те трудились без малейшего сожаления, пока в домах не осталось ни хлеба, ни зерна, ни муки, ни крупы, ни мисок, ни кастрюль, ни ступок, ни пестов и весь сказанный город не опустел» (документ из собрания доктора Санчеса ле Тока, приведенный в книге Мануэля Данвила «Правление Карлоса III», том 2, с. 10, прим. 2). Сказанный город в угоду монархическому ажиотажу истребил себя. Блажен Нихар, ибо за ним будущее! — *Примеч. автора.*

знала. Если прежде для рядового человека жить означало терпеть лишения, опасности, запреты и гнет, то сегодня он чувствует себя уверенно и независимо в распахнутом мире практически безграничных возможностей. На этом неизменном чувстве, как некогда на противоположном, основан его душевный склад. Это ощущение главенствует, оно становится внутренним голосом, который из недр сознания невнятно, но непрестанно подсказывает формулу жизни и звучит императивом. И если прежде он привычно твердил: «Жить — это чувствовать себя стесненным и потому считаться с тем, что стесняет», — то теперь он торжествует: «Жить — это не чувствовать никаких ограничений и потому смело полагаться на себя; все практически дозволено, ничто не грозит расплатой, и вообще никто никого не выше».

Эта внушенная опытом вера целиком изменила привычный, вековой склад массового человека. Стесненность и зависимость ему всегда казались его природным состоянием. Такой, на его взгляд, была сама жизнь. Если удавалось улучшить свое положение, подняться вверх, он считал это подарком судьбы, которая лично к нему оказалась милостивой. Или приписывал это не столько удаче, сколько собственным невероятным усилиям, и хорошо помнил, чего они ему стоили. В любом случае речь шла об исключении из общего миропорядка, и каждое такое исключение объяснялось особыми причинами.

Но для новой массы природным состоянием стала полная свобода действий, узаконенная и беспричинная. Ничто внешнее не понуждает к самоограничению и, следовательно, не побуждает постоянно считаться с кем-то, особенно с кем-то высшим. Еще не так давно китайский крестьянин верил, что его благоденствие зависит

от тех сугубых достоинств, которыми изволит обладать император. И жизнь постоянно соотносилась с тем высшим, от чего она зависела. Но человек, о котором ведется речь, приучен не считаться ни с кем, помимо себя. Какой ни на есть, он доволен собой. И простодушно, без малейшего тщеславия, стремится утвердить и навязать себя — свои взгляды, вожеления, пристрастия, вкусы и все, что угодно. А почему бы и нет, если никто и ничто не вынуждает его увидеть собственную второсортность, узость и полную неспособность ни к созиданию, ни даже к сохранению уклада, давшего ему тот жизненный размах, который и позволил самообольщаться?

Массовый человек, верный своей природе, не станет считаться ни с чем, помимо себя, пока нужда не заставит. А так как сегодня она не заставляет, он и не считается, полагая себя хозяином жизни. Напротив, человек недюжинный, неповторимый внутренне нуждается в чем-то большем и высшем, чем он сам, постоянно сверяется с ним и служит ему по собственной воле. Вспомним, чем отличается избранный от заурядного человека — первый требует от себя многого, второй в восторге от себя и не требует ничего*. Вопреки ходячему мнению служение — удел избранных, а не массы. Жизнь тяготит их, если не служит чему-то высшему. Поэтому служение для них не гнет. И когда его нет, они томятся и находят новые высоты, еще недоступней и строже, чтобы ввериться им. Жизнь как испытание — это благородная жизнь. Благородство определяется требовательностью и долгом, а не правами. *Noblesse oblige*** . «Жить как хочется — плебейство, благородны долг и верность» (Гете).

* Массовое мышление — это мышление тех, у кого на любой вопрос заранее готов ответ, что не составляет труда и вполне устраивает. Напротив, незаурядность избегает судить без предварительных умственных усилий и считает достойным себя только то, что еще недоступно и требует нового взлета мысли. — *Примеч. автора.*

** Положение (букв.: благородство) обязывает (*фр.*).

Привилегии изначально не жаловались, а завоевывались. И держались на том, что дворянин, если требовалось, мог в любую минуту отстоять их силой. Личные права — или *privilegios* — это не пассивное обретение, а взятый с бою рубеж. Напротив, всеобщие права — такие, как «права человека и гражданина» — обретаются по инерции, даром и за чужой счет, раздаются всем поровну и не требуют усилий, как не требуется их, чтобы дышать и находиться в здравом уме. Я бы сказал, что всеобщими правами владеют, а личными непрестанно завладевают.

Досадно, что в обыденной речи плачевно выродилось такое вдохновляющее понятие, как «знатность». Применяемое лишь к «наследственным аристократам», оно стало чем-то похожим на всеобщие права, инертным и безжизненным свойством, которое обретается и передается механически. Но ведь подлинное значение — *это* — понятия «благородство» целиком динамично. Знатный означает «знаменитый», известный всему свету, тот, кого известность и слава выделили из безымянной массы. Имеются в виду те исключительные усилия, которым обязана слава. Знатен тот, у кого больше сил и кто их не жалеет. Знатность и слава сына — это уже рента. Сын известен потому, что прославился отец. Его известность — отражение славы, и действительно наследственная знатность косвенна — это отблеск, лунный отсвет умершего благородства. И единственное, что живо, подлинно и действенно, — это стимул, который заставляет наследника держаться на высоте, достигнутой предками. Даже в этом искаженном виде, *noblesse oblige*. Предка обязывало собственное благородство, потомка обязывает унаследованное. Тем не менее в наследовании благородства есть явное противоречие. У более последовательных китайцев обратный порядок наследования, и не отец облагораживает сына, а сын, достигая знатнос-

ти, передает ее предкам, личным рвением возвышая свой скромный род. Поэтому степень знатности определяется числом поколений, на которые она распространяется, и кто-то, например, облагораживает лишь отца, а кто-то ширит свою славу до пятого или десятого колена. Предки воскресают в живом человеке и опираются на его действительное и действенное благородство — одним словом, на то, что есть, а не на то, что было*.

«Благородство» как четко обозначенное понятие возникает в Риме уже в эпоху Империи — и возникает именно как противовес родовой знати, отчетливо вырождающейся.

Для меня «благородство» — синоним жизни окрыленной, призванной перерасти себя и вечно устремленной от того, чем она становится, к тому, чем должна стать. Словом, благородная жизнь полярна жизни низменной, то есть инертной, закупоренной, осужденной на саму себя, ибо ничто не побуждает ее разомкнуть свои пределы. И людей, живущих инертно, мы называем массой не за их многочисленность, а за их инертность.

Чем дольше существуешь, тем тягостней убеждаться, что большинству не доступно никакое усилие, кроме вынужденной реакции на внешнюю необходимость. Поэтому так редки на нашем пути и так памятны те немногие, словно изваянные в нашем сознании, кто оказался способен на самопроизвольное и щедрое усилие. Это избранные, нобили, единственные, кто зовет, а не просто отзывается, кто живет жизнью напряженной и неустанно упражняется в этом. Упражнение — *askesis*. Они аскеты**.

* Поскольку речь идет лишь о том, чтобы вернуть понятию «благородство» его изначальный смысл, исключаящий наследование, не вижу необходимости углубляться в такое исторически знакомое понятие, как «благородная кровь». — *Примеч. автора.*

** См.: *El origen deportivo del Estado* // *El Espectador*. VII. 1930. — *Примеч. автора.*

Может показаться, что я отвлекся. Но для того чтобы определить новый тип массового человека, который остался массовым и метит в избранные, надо было разделить, в чистом виде, противопоставить ему два смешанных в нем начала — исконную массовость и врожденную или достигнутую элитарность.

Теперь дело двинется быстрее, поскольку найдено если не решение, то искомое уравнение. И ключ к господствующему сегодня психологическому складу, мне кажется, у нас в руках. Все дальнейшее вытекает из основной предпосылки, которая сводится к следующему: XIX век, обновив мир, создал тем самым новый тип человека, наделив его ненасытными потребностями и могучими средствами для их удовлетворения — материальными, медицинскими (небывалыми по своей массовости и действенности), правовыми и техническими (имеется в виду та масса специальных знаний и практических навыков, о которой прежде рядовой человек не мог и мечтать). Наделив его всей этой мощью, XIX век предоставил его самому себе, и средний человек, верный своей природной неподатливости, наглухо замкнулся. В итоге сегодня масса сильнее, чем когда-либо, но при этом непробиваема, самонадеянна и не способна считаться ни с кем и ни с чем — словом, неуправляема. Если так пойдет и дальше, то в Европе — и, следовательно, во всем мире — любое руководство станет невозможным. В трудную минуту, одну из тех, что ждут нас впереди, встревоженные массы, быть может, и проявят добрую волю, изъявив готовность в каких-то частных и безотлагательных вопросах подчиниться меньшинству. Но благие намерения потерпят крах. Ибо коренные свойства массовой души — это косность и нечувствительность, и потому масса природно не способна понять что-либо выходящее за ее пределы, будь то события или люди. Она захочет

следовать кому-то — и не сумеет. Захочет слушать — и убедится, что оглохла.

С другой стороны, напрасно надеяться, что реальный средний человек, как бы ни был сегодня высок его жизненный уровень, сумеет управлять ходом цивилизации. Именно ходом — я уж не говорю о росте. Даже просто поддерживать уровень современной цивилизации непомерно трудно, и дело это требует бесчисленных ухищрений. Оно не по плечу тем, кто научился пользоваться некоторыми инструментами цивилизации, но ни слухом ни духом не знает о ее основах.

Еще раз прошу тех, у кого хватило терпения одолеть вышесказанное, не истолковывать его в сугубо политическом смысле. Политика — самая действенная и наглядная сторона общественной жизни, но она вторична и обусловлена причинами потаенными и неосязаемыми. И политическая косность не была бы так тяжка, если бы не проистекала из более глубокой и существенной косности — интеллектуальной и нравственной. Поэтому без анализа последней исследуемый вопрос не прояснится.

VIII

ПОЧЕМУ МАССЫ ВТОРГАЮТСЯ ВСЮДУ, ВО ВСЕ И ВСЕГДА НЕ ИНАЧЕ КАК НАСИЛИЕМ

Начну с того, что выглядит крайне парадоксальным, а в действительности проще простого: когда для заурядного человека мир и жизнь распахнулись настежь, душа

его для них закрылась наглухо. И я утверждаю, что эта закупорка заурадных душ и породила то возмущение масс, которое становится серьезной проблемой для человечества.

Естественно, что многие думают иначе. Это в порядке вещей и только подтверждает мою мысль. Будь даже мой взгляд на этот сложный предмет целиком неверным, верно то, что многие из оппонентов не размышляли над ним и пяти минут. Могут ли они думать, как я? Но непреложное право на собственный взгляд без каких-либо предварительных усилий его выработать как раз и свидетельствует о том абсурдном состоянии человека, которое я называю «массовым возмущением». Это и есть герметизм, закупорка души. В данном случае — герметизм сознания. Человек обзавелся кругом понятий. Он полагает их достаточными и считает себя духовно завершенным. И, ни в чем извне нужды не чувствуя, окончательно замыкается в этом кругу. Таков механизм закупорки.

Массовый человек ощущает себя совершенным. Человеку незаурадному для этого требуется незаурадное самомнение, наивная вера в собственное совершенство у него не органична, а внушена тщеславием и остается мнимой, притворной и сомнительной для самого себя. Поэтому самонадеянному так нужны другие, те, кто подтвердил бы его домыслы о себе. И даже в этом клиническом случае, даже «ослепленный» тщеславием, достойный человек не в силах ощутить себя завершенным. Напротив, сегодняшней заурадности, этому новому Адаму, и в голову не взбредет усомниться в собственной избыточности. Самосознание у него поистине райское. Природный душевный герметизм лишает его главного условия, необходимого, чтобы ощутить свою неполно-

ту, — возможности сопоставить себя с другим. Сопоставить означало бы на миг отрешиться от себя и вселиться в ближнего. Но заурядная душа не способна к перевоплощению — для нее, увы, это высший пилотаж.

Словом, та же вечная разница, что между тупым и смышленным. Один замечает, что он на краю неминуемой глупости, силится отпрянуть, избежать ее и своим усилием укрепляет разум. Другой ничего не замечает: для себя он — само благоразумие, и отсюда та завидная безмятежность, с какой он погружается в собственный идиотизм. Подобно тем моллюскам, которых не удастся извлечь из раковины, глупого невозможно выманить из его глупости, вытолкнуть наружу, заставить на миг оглядеться по ту сторону своих катаракт и сличить свою привычную подслеповатость с остротой зрения других. Он глуп пожизненно и прочно. Недаром Анатолий Франс говорил, что дурак пагубней злодея. Поскольку злодей хотя бы иногда делает передышку*.

Речь не о том, что массовый человек глуп. Напротив, сегодня его умственные способности и возможности шире, чем когда-либо. Но это не идет ему впрок: на деле смутное ощущение своих возможностей лишь побуждает его закупориться и не пользоваться ими. Раз и навсегда освящает он ту мешанину прописных истин, несвязных мыслей и просто словесного мусора, что скопилась в нем по воле случая, и навязывает ее везде и всюду, действуя по простоте душевной, а потому без страха и упрека. Именно об этом и говорил я в первой главе: специфика нашего времени не в том, что посредствен-

* Я не раз задавался таким вопросом. Испокон веков для многих людей самым мучительным в жизни было, несомненно, столкновение с глупостью ближних. Почему же в таком случае никогда не пытались изучать ее, не было, насколько мне известно, ни одного исследования? — *Примеч. автора.*

ность полагает себя незаурядной, а в том, что она провозглашает и утверждает свое право на пошлость, или, другими словами, утверждает пошлость как право.

Тирания интеллектуальной пошлости в общественной жизни, быть может, самобытнейшая черта современности, наименее сопоставимая с прошлым. Прежде в европейской истории чернь никогда не заблуждалась насчет собственных «идей» касательно чего бы то ни было. Она наследовала верования, обычаи, житейский опыт, умственные навыки, пословицы и поговорки, но не присваивала себе умозрительных суждений — например, о политике или искусстве — и не определяла, что они такое и чем должны стать. Она одобряла или осуждала то, что задумывал и осуществлял политик, поддерживала или лишала его поддержки, но действия ее сводились к отклику, сочувственному или наоборот, на творческую волю другого. Никогда ей не взбрело в голову ни противопоставлять «идеям» политика свои, ни даже судить их, опираясь на некий свод «идей», признанных своими. Так же обстояло с искусством и другими областями общественной жизни. Врожденное сознание своей узости, неподготовленности к теоретизированию* воздвигало глухую стену. Отсюда само собой следовало, что плебей не решался даже отдаленно участвовать почти ни в какой общественной жизни, по большей части всегда концептуальной.

Сегодня, напротив, у среднего человека самые неукошительные представления обо всем, что творится и должно твориться во Вселенной. Поэтому он разучился слушать. Зачем, если все ответы он находит в самом себе? Нет никакого смысла выслушивать и, напротив, куда ес-

* Это не подмена понятий: выносить суждение означает теоретизировать. — *Примеч. автора.*

тественней судить, решать, изрекать приговор. Не осталось такой общественной проблемы, куда бы он не встречал, повсюду оставаясь глухим и слепым и всюду навязывая свои «взгляды».

Но разве это не достижение? Разве не величайший прогресс то, что массы обзавелись «идеями», то есть культурой? Никоим образом. Потому что «идеи» массового человека таковыми не являются и культурой он не обзавелся. Идея — это шах истине. Кто жаждет идей, должен прежде них домогаться истины и принимать те правила игры, которых она требует. Бессмысленно говорить об идеях и взглядах, не признавая системы, в которой они выверяются, свода правил, к которым можно апеллировать в споре. Эти правила — основы культуры. Не важно, какие именно. Важно, что культуры нет, если нет устоев, на которые можно опереться. Культуры нет, если к любым, даже крайним взглядам нет уважения, на которое можно рассчитывать в полемике*. Культуры нет, если экономические связи не руководствуются торговым правом, способным их защитить. Культуры нет, если эстетические споры не ставят целью оправдать искусство.

Если всего этого нет, то нет и культуры, а есть, в самом прямом и точном смысле слова, варварство. Именно его — не будем обманываться — и утверждает в Европе растущее вторжение масс. Путник, попадая в варварский край, знает, что не найдет там законов, к которым мог бы воззвать. Не существует собственно варварских порядков. У варваров их попросту нет и взывать не к чему.

* Кто в споре не доискивается правды и не стремится быть правдивым, тот интеллектуально варвар. В сущности, так и обстоит с массовым человеком, когда он говорит, вещает или пишет. — *Примеч. автора.*

Мерой культуры служит четкость установлений. При малой разработанности они упорядочивают лишь *grosso modo**; и чем отделанней они, тем подробней выверяют любой вид деятельности. Скудость испанской интеллектуальной культуры не в большей или меньшей нехватке знаний, а в той привычной бесшабашности, с какой говорят и пишут, не слишком заботливо сверяясь с истиной. Словом, беда не в большей или меньшей неистинности — истина не в нашей власти, — а в большей или меньшей недобросовестности, которая мешает выполнять несложные и необходимые для истины условия. В нас неискореним тот деревенский попик, что победно громит манихеев, так и не позаботясь уяснить, о чем же они, собственно, толкуют.

Всеми признано, что в Европе с некоторых пор творятся «диковинные вещи». В качестве примера назову две — синдикализм и фашизм. И диковинность их отнюдь не в новизне. Страсть к обновлению в европейцах настолько неистребима, что сделала их историю самой беспокойной в мире. Следовательно, удивляет в упомянутых политических течениях не то, что в них нового, а знак качества этой новизны, доселе невиданный. Под маркой синдикализма и фашизма впервые возникает в Европе тип человека, который не желает ни признавать, ни доказывать правоту, а намерен просто-напросто навязать свою волю. Вот что внове — право не быть правым, право на произвол. Я считаю это самым наглядным проявлением нового поведения масс, исполненных решимости управлять обществом при полной к тому неспособности. Политическая позиция предельно грубо и неприкрыто выявляет новый душевный склад, но коренится она в интеллектуальном герметизме. Массовый

* в общих чертах, в целом (*um.*).

человек обнаруживает в себе ряд «представлений», но лишен самой способности «представлять». И даже не подозревает, каков он, тот хрупкий мир, в котором живут идеи. Он хочет высказаться, но отвергает условия и предпосылки любого высказывания. И в итоге его «идеи» не что иное, как словесные вожделения наподобие жестоких романсов.

Выдвигать идею — означает верить, что она разумна и справедлива, а тем самым верить в разум и справедливость, в мир умопостигаемых истин. Суждение и есть обращение к этой инстанции, признание ее устава, подчинение ее законам и приговорам, а значит, и убеждение, что лучшая форма сосуществования — диалог, где столкновение доводов выверяет правоту наших идей. Но массовый человек, втянутый в обсуждение, теряется, инстинктивно противится этой высшей инстанции и необходимости уважать то, что выходит за его пределы. Отсюда и последняя «новинка» — оглушивший Европу лозунг «Хватит дискутировать», — и ненависть к любому сосуществованию, по своей природе объективно упорядоченному, от разговора до парламента, не говоря о науке. Иными словами, отказ от сосуществования культурного, то есть упорядоченного, и откат к варварскому. Душевный герметизм, толкающий массу, как уже говорилось, вторгаться во все сферы общественной жизни, неизбежно оставляет ей единственный путь для вторжения — прямое действие.

Обращаясь к истокам нашего века, когда-нибудь отметят, что первые ноты его сквозной мелодии прозвучали на рубеже столетий среди тех французских синдикалистов и роялистов, кто придумал термин «прямое действие» вкуче с его содержанием. Человек постоянно прибегал к насилию. Оставим в стороне просто пре-

ступления. Но ведь нередко к насилию прибегают, исчерпав все средства в надежде образумить, отстоять то, что кажется справедливым. Печально, конечно, что жизнь раз за разом вынуждает человека к такому насилию, но бесспорно также, что оно — дань разуму и справедливости. Ведь и само это насилие не что иное, как ожесточенный разум. И сила действительно лишь его последний довод. Есть обыкновение произносить *ultima ratio** иронически, обыкновение довольно глупое, поскольку смысл этого выражения — в заведомом подчинении силы разумным нормам. Цивилизация и есть опыт обуздания силы, сведение ее роли к *ultima ratio*. Слишком хорошо мы видим это теперь, когда «прямое действие» опрокидывает порядок вещей и утверждает силу как *prima ratio***, а в действительности — как единственный довод. Это она становится законом, который намерен упразднить остальные и напрямую диктовать свою волю. Это *Charta Magna**** одичания.

Нелишне вспомнить, что, когда бы и из каких бы побуждений ни вторгалась масса в общественную жизнь, она всегда прибегала к «прямому действию». Видимо, это ее природный способ действовать. И самое веское подтверждение моей мысли — тот очевидный факт, что теперь, когда диктат массы из эпизодического и случайного превратился в повседневный, «прямое действие» стало правилом.

Все человеческие связи подчинились этому новому порядку, упразднившему «непрямые» формы сосуществования. В человеческом общении упраздняется «воспитанность». Словесность как «прямое действие» обраща-

* последний довод (лат.).

** первый довод (лат.).

*** Великая Хартия (лат.).

ется в ругань. Сексуальные отношения утрачивают свою многогранность.

Грани, нормы, этикет, законы писанные и неписанные, право, справедливость! Откуда они, зачем такая усложненность? Все это сфокусировано в слове «цивилизация», корень которого — *civis*, гражданин, то есть горожанин — указывает на происхождение смысла. И смысл всего этого — сделать возможным город, сообщество, сосуществование. Потому, если взглянуть в перечисленные мной средства цивилизации, суть окажется одна. Все они в итоге предполагают глубокое и сознательное желание каждого считаться с остальными. Цивилизация — это прежде всего воля к сосуществованию. Дичают по мере того, как перестают считаться друг с другом. Одичание — процесс разобщения. И действительно, периоды варварства, все до единого, — это время распада, кишение крохотных группировок, разьединенных и враждующих.

Высшая политическая воля к сосуществованию воплощена в либеральной демократии. Это первообраз «непрямого действия», доведший до предела стремление считаться с ближним. Либерализм — правовая основа, согласно которой Власть, какой бы всемогущей она ни была, ограничивает себя и стремится, даже в ущерб себе, сохранить в государственном монолите пустоты для выживания тех, кто думает и чувствует наперекор ей, то есть наперекор силе, наперекор большинству. Либерализм — и сегодня стоит об этом помнить — предел великодушия; это право, которое большинство уступает меньшинству, и это самый благородный клич, когда-либо прозвучавший на Земле. Он возвестил о решимости мириться с врагом, и — мало того — врагом слабейшим. Трудно было ждать, что род человеческий решится на такой шаг, настолько красивый, настолько парадоксальный, настолько тонкий, настолько акробатический, на-

столько неестественный. И потому нечего удивляться, что вскоре упомянутый род ощутил противоположную решимость. Дело оказалось слишком непростым и не легким, чтобы утвердиться на Земле.

Уживаться с врагом! Ладить с оппозицией! Не кажется ли уже непонятной подобная покладистость? Ничто не отразило современность так беспощадно, как то, что все меньше остается стран, где есть оппозиция. Повсюду аморфная масса давит на государственную власть и подминает, топчет малейшие ростки оппозиционности. Масса — кто бы подумал при виде ее однородной скученности! — не желает уживаться ни с кем, кроме себя. Все, что не масса, она ненавидит смертно.

IX

ОДИЧАНИЕ И ТЕХНИКА

Крайне важно помнить, что положение дел в современном мире само по себе двусмысленно. Именно поэтому я изначально внушал, что любое явление современности — и особенно восстание масс — подобно водоразделу. Каждое из них не только может, но и должно толковаться двояко, в хорошем и плохом смысле. Эта двойственность коренится не в нашей оценке, а в самой действительности. Причина не в том, что под разным углом зрения современная обстановка может казаться хорошей или плохой, а в том, что сама она таит двоякую возможность победы или гибели.

Я не собираюсь подкреплять это исследование всей метафизикой истории. Но строится оно, конечно, на

фундаменте моих философских убеждений, изложенных или намеченных ранее. Я не верю в абсолютную историческую неизбежность. Напротив, я думаю, что жизнь, и в том числе историческая, складывается из множества мгновений, относительно независимых и непредрешенных, и каждый миг действительность колеблется, *piétine sur place**, словно выбирая ту или иную возможность. Эти метафизические колебания и придают всему живому неповторимый трепет и ритм.

Восстание масс в итоге может открыть путь к новой и небывалой организации человечества, но может привести и к катастрофе. Нет оснований отрицать достигнутый прогресс, но следует оспаривать веру в его надежность. Реалистичней думать, что не бывает надежного прогресса, нет такого развития, которому не грозили бы упадок и вырождение. В истории все осуществимо, все что угодно — и непрерывный подъем, и постоянные откаты. Ибо жизнь, одиночная или общественная, частная или историческая, — это единственное в мире, что нерасторжимо с опасностью. Она складывается из превратностей. Строго говоря, это драма**.

С наибольшей силой эта общая истина проступает в такие «критические моменты», как наш. И новые пове-

* топчется на месте (*фр.*).

** Не приходится думать, что кто-либо примет мои слова всерьез — в лучшем случае их просто сочтут метафорой, более или менее удачной. Лишь человек слишком бесхитростный, чтобы уверовать, будто знает окончательно, в чем состоит жизнь или хотя бы в чем она не состоит, воспримет прямой смысл этих слов и — верны они там или нет — единственный поймет их. Остальные будут на редкость единодушны и разойдутся лишь в одном — считать ли жизнь, говоря серьезно, бытием души или же чередой химических реакций. Не знаю, убедит ли настолько закоснелых читателей моя позиция, которая сводится к тому, что истинное и глубинное значение слова «жизнь» открывается при биографическом, а не при биологическом подходе. Это веско подтверждается тем, что в иной биографии все биологическое не больше чем глава. Биология вписывает лишь пару страниц, и все добавления к ним — абстракция, фантазия и миф. — *Примеч. автора.*

денческие черты, рожденные господством масс и обобщенные нами в понятии «прямое действие», могут предвещать и будущее благо. Понятно, что всякая старая культура тащит за собой немалый груз изношенного и окостенелого, те остаточные продукты сгорания, что отравляют жизнь. Это мертвые установления, устарелые авторитеты и ценности, неоправданные сложности, ставшие беспочвенными устои. Все эти звенья непрямого действия — цивилизации — со временем нуждаются в безоглядном и безжалостном упрощении. Романтические редингот и пластрон настигает возмездие в виде теперешнего *deshabille** и распахнутого ворота. Это решение в пользу здоровья и хорошего вкуса — лучшее решение, ибо меньшими средствами достигает большего. Кущи романтической любви тоже потребовали садовых ножниц, чтобы избавиться от искусственных магнолий, в избытке прицепленных к веткам, и удушливых лиан, плющей и прочих хитросплетений, загородивших солнце.

Общественной жизни в целом и политической в особенности не обойтись без возврата к естеству, и Европе не сделать того упругого, уверенного рывка, к которому призывают оптимисты, если она не обернется собой, голой сутью, скинувшей старье. Я радуюсь этому искусству наготы и неподдельности, вижу в нем залог достойного будущего и в отношении прошлого стою за полную духовную независимость. Главенствовать должно будущее, и лишь оно диктует, как поступать с былым**.

* Здесь: простого и вольного стиля одежды (*фр.*).

** Эта свобода действий в отношении прошлого — не скоропалительный бунт, а сознательный долг любого «переломного» времени. Если я защищаю либерализм XIX века от развязности массовых нападок, это не значит, что я поступаюсь независимостью по отношению к самому либерализму. И другой, противоположный пример: одичание, которое в этой работе представлено с его наихудшей стороны, в определенном смысле является предпосылкой любого крупного исторического скачка — См. об этом в моем недавнем труде «Биология и педагогика» (гл. III, «Парадокс варварства»). — *Примеч. автора.*

Но следует избегать тяжелейшего греха корифеев XIX века — притупленного чувства ответственности, которое вело их к утрате тревоги и бдительности. Отдаваться течению событий, полагаясь на попутный ветер, и не улавливать малейших признаков опасности и ненастья, когда день еще ясен, — это и есть утрата ответственности. Сегодня чувство ответственности надо возбуждать и будоражить в тех, у кого оно сохранилось, и пристальность к угрожающим симптомам современности представляется делом первостепенным.

Бесспорно, диагноз нашей общественной жизни куда больше тревожит, чем обнадеживает, особенно если исходить не из сиюминутного состояния, а из того, к чему оно ведет.

Тот очевидный взлет, который испытала жизнь, рискует оборваться в столкновении с самой грозной проблемой, вторгшейся в европейскую судьбу. Еще раз ее сформулирую: власть в обществе захватил новый тип человека, равнодушный к основам цивилизации. И не той или этой, а любой, насколько сегодня можно судить. Он отчетливо равнодушен к пилюлям, автомобилям и чему-то еще. Но это лишь подтверждает его глубокое равнодушие к цивилизации. Все перечисленное — ее плоды, и всепоглощающая тяга к ним как раз и подчеркивает полное равнодушие к корням. Достаточно одного примера. С тех пор как существуют *nuove scienze** — естественные науки, — то есть начиная с Возрождения, увлеченность ими непрерывно возрастала, а именно: число людей, посвятивших себя исследованиям, пропорционально росло с каждым новым поколением. Впервые оно упало в том поколении, которому сегодня по-

* новые науки (*ит.*).

шел третий десяток. Лаборатории чистой науки теряют притягательность и заодно учеников. И происходит это в те дни, когда техника достигла расцвета, а люди наперебой спешат воспользоваться препаратами и аппаратами, созданными научным знанием.

Рискуя надоесть, нетрудно было бы выявить подобную же несообразность в искусстве, политике, морали, религии и просто в повседневной жизни.

Что знаменует такая парадоксальная картина? Ответ на это я и пытаюсь дать в моей работе. Такая парадоксальность означает, что в мире сегодня господствует дикарь, *Naturmensch**, внезапно всплывший со дна цивилизации. Цивилизован мир, но не его обитатель — он даже не замечает этой цивилизованности и просто пользуется ею, как дарами природы. Ему хочется автомобиль, и он утоляет желание, полагая, что автомобиль этот свалился с райского древа. В душе он не догадывается об искусственной, почти неправдоподобной природе цивилизации, и его восхищение техникой отнюдь не простирается на те основы, которым он обязан этой техникой. Приведенные выше слова Ратенау о «вертикальном вторжении варваров» можно было счесть — и обычно считают — просто «фразой». Но теперь ясно, что слова эти, верны они или нет, в любом случае не просто «фраза», а напротив — рожденная кропотливым анализом точная формулировка. На древние подмостки цивилизации прокрался из-за кулис массовый, а в действительности — первобытный человек.

Ежечасно твердят о небывалом техническом прогрессе, но то, что его будущее достаточно драматично, не осознается никем, даже самыми лучшими. Глубокий и проницательный, при всей его маниакальности, Шпен-

* Первобытный человек (нем.).

глер — и тот представляется мне чрезмерным оптимистом. Он убежден, что на смену «культуре» приходит «цивилизация», под которой он понимает прежде всего технику. Представления Шпенглера о «культуре» и вообще об истории настолько далеки от моих, что мне трудно даже опровергать его выводы. Лишь перескочив эту пропасть, можно привести оба воззрения к общему знаменателю и тем установить расхождение. Шпенглер верит, что техника способна существовать и после того, как угаснет интерес к основам культуры, — я же в это поверить не решаюсь. В основе техники — знание, а знание существует, пока оно захватывает само по себе, в чистом виде, и не способно захватить, если люди не захвачены существом культуры. Когда этот пыл гаснет — что сейчас, видимо, и происходит, — техника движется лишь силой инерции, которую сообщил ей ненадолго импульс культуры. С техникой сжился, но не техникой жив человек. Сама она не может жить и питаться собой, это не *causa sui**, а полезный, прикладной отстой бесполезных и бескорыстных усилий**.

Словом, надо помнить, что современный интерес к технике еще не гарантирует — или уже не гарантирует — ни ее развития, ни даже сохранения. Техницизм не зря считается одним из атрибутов «современной культуры», то есть культуры, которая вбирает лишь те знания, что приносят материальную пользу. Потому-то, рисуя новые черты, обретенные жизнью в XIX веке, я сосредото-

* сама себе причина (лат.).

** Поэтому, на мой взгляд, пустое дело — судить об Америке по ее «технике». Вообще одно из самых глубоких помрачений европейского сознания — это детский взгляд на Америку, присущий и самым образованным европейцам. Это частный случай того, с чем мы не раз еще столкнемся, — несоответствия между сложностью современных проблем и уровнем мышления. — *Примеч. автора.*

чился на двух — либеральной демократии и технике*. Но меня, повторяю, пугает та легкость, с которой забывают, что душа техники — чистая наука, и что их развитие обусловлено одним и тем же. Никто не задумывался, чем должна жить душа, чтобы в мире жили подлинные «люди науки»? Или вы всерьез верите, что, пока есть доллары, будет и наука? Это соображение, для многих успокоительное, — лишний признак одичания.

Чего стоит одно только количество компонентов, таких разнородных, которые потребовалось собрать и перемешать, чтобы получить коктейль физико-химических дисциплин! Даже при беглом и поверхностном взгляде бросается в глаза, что на всем временном и пространственном протяжении физическая химия возникла и смогла утвердиться лишь в тесном квадрате между Лондоном, Берлином, Веной и Парижем. И лишь в XIX веке. Из этого видно, что экспериментальное знание — одно из самых немыслимых явлений истории. Колдуны, жрецы, воины и пастухи кишели где угодно и когда угодно. Но такая человеческая порода, как ученые-экспериментаторы, очевидно, требует невиданных условий, и ее возникновение куда сверхъестественней, чем явление единорога. Эти скупые факты должны бы вразумить нас, насколько зыбко и мимолетно научное вдохновение**. Блажен, кто верует, что с исчезновением Европы североамериканцы могли бы продолжать науку!

Следовало бы углубиться в это и скрупулезно выявить, каковы исторические и жизненные предпосылки

* Строго говоря, либеральная демократия и техника так тесно связаны и переплетены, что немыслимы одна без другой, и хотелось бы найти какое-то третье, всеобъемлющее понятие, которое стало бы наименованием XIX века, его именем нарицательным. — *Примеч. автора.*

** Не буду углубляться. Большинство ученых сами еще не подозревают об опасности того скрытого кризиса, который переживает сегодня наука. — *Примеч. автора.*

экспериментального знания, а значит — и техники. Но и самый исчерпывающий вывод вряд ли проймет массового человека. Он верит доводам желудка, а не разума.

Я разуверился в пользе подобных проповедей, слабость которых — в их разумности. Не абсурдно ли, что сегодня рядовой человек не чувствует сам, без посторонних наставлений, жгучего интереса к упомянутым наукам и родственной им биологии? Ведь современное состояние культуры таково, что все ее звенья — политика, искусство, общественные устои, даже нравственность — становятся день ото дня смутнее, кроме того единственного, что ежечасно, с неоспоримой наглядностью, способной пронять массового человека, подтверждает свою результативность, а именно экспериментальной науки. Что ни день, то новое изобретение, которым пользуются все. Что ни день, то новое болеутоляющее либо профилактическое средство, которым пользуются тоже все. И всякому ясно, что если, в надежде на постоянство научного вдохновения, утроить или удесятерить число лабораторий, соответственно возрастут сами собой богатства, удобства, благополучие и здоровье. Есть ли что сильнее и убедительней этих жизненных доводов? Почему же тем не менее массы не обнаруживают ни малейшего поползновения жертвовать деньги, чтобы материально и морально поддержать науку? Совершенно напротив, послевоенное время сделало ученых настоящими париями. И подчеркиваю: не философов, а физиков, химиков, биологов. Философия не нуждается ни в покровительстве, ни в симпатиях массы. Она заботится, чтобы в ее облике не возникло ничего утилитарного*, и тем полностью освобождается от власти массового мышления. Она по сути своей проблематична, сама для себя загадочна и

* См.: Аристотель. Метафизика, 893—910. — *Примеч. автора.*

рада своей вольной участи птиц небесных. Нет нужды, чтобы с ней считались, ей незачем навязывать или отстаивать себя. И если кто-то извлекает из нее пользу, она по-человечески рада за него, но живет не за счет чьей-то выгоды и не в расчете на нее. Да и как ей претендовать на серьезное отношение, если начинает она с сомнений в собственном существовании и живет лишь тем, что борется с собой не на жизнь, а на смерть? Однако оставим философию, это разговор особый.

Но экспериментальное знание в массах нуждается, как и массы нуждаются в нем под страхом смерти, ибо без физической химии планета уже не в силах прокормить их.

Какие доводы убедят тех, кого не убеждают вождельный автомобиль и чудотворные инъекции пантопона? Несоответствие между тем явным и прочным благоденствием, которое наука дарит, и тем отношением, которым ей платят, таково, что нельзя больше обманываться пустыми надеждами и ждать чего-либо иного, кроме всеобщего одичания. Тем более что нигде равнодушие к науке не проступает, в чем мы не раз убедимся, с такой отчетливостью, как среди самих специалистов — медиков, инженеров и т.д., — которые привыкли делать свое дело с таким же душевным настроем, с каким водят автомобиль или принимают аспирин, — без малейшей внутренней связи с судьбами науки и цивилизации.

Вероятно, кого-то пугают иные признаки воскресшего варварства, которые выражены действием, а не бездеятельностью, сильнее бросаются в глаза и потому у всех на виду. Но для меня самый тревожный признак — именно это несоответствие между теми благами, кото-

рые рядовой человек получает от науки, и его отношением к ней, то есть бесчувственностью*. Это неадекватное поведение понятней, если вспомнить, что негры в африканской глуши тоже водят автомобили и глотают аспирин. Те люди, что готовы завладеть Европой — такова моя гипотеза, — это варвары, которые хлынули из люка на подмостки сложной цивилизации, их породившей. Это — «вертикальное одичание» во плоти.

Х

ОДИЧАНИЕ И ИСТОРИЯ

Природа всегда налицо. Она сама себе опора. В диком лесу можно безбоязненно дикарствовать. Можно и навек одичать, если душе угодно и если не помешают иные пришельцы, не столь дикие. В принципе, целые народы могут вечно оставаться первобытными. И остаются. Брейзиг назвал их «народами бесконечного расцвета», потому что они навсегда застряли в неподвижных, мерзлых сумерках, которые не растопить никакому полдню.

Все это возможно в мире полностью природном. Но не полностью цивилизованном, подобно нашему. Цивилизация — не данность и не держится сама собой.

* Такая противоестественность удесятерится тем, что все остальные жизненные устои — политика, право, искусство, мораль, религия — по своей действительности, да и сами по себе переживают, как уже отмечалось, кризис или по меньшей мере временный упадок. Одна наука не потерпела крах и, что ни день, со сказочной быстротой исполняет обещанное и сверх обещанного. Словом, она вне конкуренции, и пренебрежение к ней нельзя извинить, даже если заподозрить в массовом человеке пристрастие к иным областям культуры. — *Примеч. автора.*

Она искусственна и требует искусства и мастерства. Если вам по вкусу ее блага, но лень заботиться о ней... плохи ваши дела. Не успеете моргнуть, как окажетесь без цивилизации. Малейший недосмотр — и все вокруг улетучится в два счета! Словно спадут покровы с нагой Природы и вновь, как изначально, предстанут первобытные дебри. Дебри всегда первобытны, и наоборот. Все первобытное — это дебри.

Романтики были поголовно помешаны на сценах насилия, где низшее, природное и дочеловеческое, попирало человеческую белизну женского тела, и вечно рисовали Леду с распаленным лебедем, Пасифаю с быком, настигнутую козлом Антиопу. Но еще более утонченным садизмом их привлекали руины, где окультуренные, граненые камни меркли в объятиях дикой зелени. Завидя строение, истый романтик прежде всего искал глазами желтый мох на кровле. Блеклые пятна возвещали, что все — только прах, из которого поднимутся дебри.

Грешно смеяться над романтиком. По-своему он прав. За невинной извращенностью этих образов таится животрепещущая проблема, великая и вековая: взаимодействие разумного и стихийного, культуры и неуязвимой для нее Природы. Оставляю за собой право при случае заняться этим и обернуться на сей раз романтиком.

Но сейчас я занимаюсь обратной проблемой — как остановить натиск леса. Сейчас «истинному европейцу» предстоит решать задачу, над которой быются австралийские штаты, — как помешать диким кактусам захватить землю и сбросить людей в море. В сорок каком-то году некий эмигрант, тоскующий по родной Малаге либо Сицилии, привез в Австралию крохотный росточек кактуса. Сегодня австралийский бюджет истощает затяж-

ная война с этим сувениром, который заполонил весь континент и наступает со скоростью километра в год.

Веря в то, что цивилизация так же стихийна и первозданна, как сама Природа, массовый человек *ipso facto** уподобляется дикарю. Он видит в ней свое лесное логово. Об этом уже говорилось, но следует дополнить сказанное.

Основ, на которых держится цивилизованный мир — и без которых он рухнет, — для массового человека попросту не существует. Эти краугольные камни его не занимают, не заботят, и крепить их он не намерен. Почему так сложилось? Причин немало, но остановлюсь на одной.

С развитием цивилизация становится все сложнее и запутанней. Проблемы, которые она сегодня ставит, архитрудны. И все меньше людей, чей разум на высоте этих проблем. Наглядное свидетельство тому — послевоенный период. Восстановление Европы — область высшей математики и рядовому европейцу явно не по силам. И не потому, что не хватает средств. Не хватает голов. Или, точнее, голова, хоть и с трудом, нашлась бы — и не одна, — но иметь ее на плечах дряблое тело срединной Европы не хочет.

Разрыв между уровнем современных проблем и уровнем мышления будет расти, если не отыщется выход, и в этом главная трагедия цивилизации. Благодаря верности и плодотворности своих основ она плодоносит с быстротой и легкостью, уже недоступной человеческому восприятию. Не думаю, что когда-либо происходило подобное. Все цивилизации гибнут от несовершенства своих основ. Европейской грозит обратное. В Риме и Греции потерпели крах устои, но не сам человек. Римскую империю доконала техническая слабость. Когда на-

* в силу самого факта; здесь: фактически (*лат.*).

селение ее разрослось и спешно пришлось решать неотложные хозяйственные задачи, решить которые могла лишь техника, античный мир двинулся вспять, стал вырождаться и зачах.

Но сегодня крах терпит сам человек, уже не способный поспевать за своей цивилизацией. Оторопь берет, когда люди вполне культурные трактуют злободневную тему. словно заскоруждые крестьянские пальцы вылавливают со стола иголку. К политическим и социальным вопросам они приступают с таким набором допотопных понятий, какой годился в дело двести лет назад для преодоления трудностей в двести раз легче.

Растущая цивилизация — не что иное, как жгучая проблема. Чем больше достижений, тем в большей они опасности. Чем лучше жизнь, тем она сложнее. Разумеется, с усложнением самих проблем усложняются и средства для их разрешения. Но каждое новое поколение должно овладеть ими во всей полноте. И среди них, переходя к делу, выделяю самое азбучное: чем цивилизация старше, тем больше прошлого за ее спиной и тем она опытней. Словом, речь идет об истории. Историческое знание — первейшее средство сохранения и продления стареющей цивилизации. И не потому, что дает рецепты ввиду новых жизненных осложнений — жизнь не повторяется, — но потому, что не дает перепевать наивные ошибки прошлого. Однако, если вы помимо того, что состарились и впали в немощь, ко всему еще утратили память, ваш опыт, да и все на свете, вам уже не впрок. Я думаю, что именно это и случилось с Европой. Сейчас самые «культурные» слои поражают историческим невежеством. Ручаюсь, что сегодня ведущие люди Европы смыслят в истории куда меньше, чем европеец XVIII и даже XVII века. Историческое знание тогдаш-

ней верхушки — властителей *sensu lato** — открыло дорогу сказочным движениям XIX века. Их политика — речь идет о XVIII веке — вершилась во избежание всех политических ошибок прошлого, строилась с учетом этих ошибок и обобщала самый долгий опыт из возможных. Но уже XIX век начал утрачивать «историческую культуру», хотя специалисты при этом и продвинули далеко вперед историческую науку**. Этому небрежению он обязан своими характерными ошибками, которые сказались и на нас. В последней его трети обозначился — пока еще скрыто и подпочвенно — отход назад, откат к варварству, другими словами, к той скудоумной простоте, которая не знала прошлого или забыла его.

Оттого-то и большевизм, и фашизм, две политические «новинки», возникшие в Европе и по соседству с ней, отчетливо представляют собой движение вспять. И не столько по смыслу своих учений — в любой доктрине есть доля истины, да и в чем только нет хотя бы малой ее крупинцы, — сколько по тому, как допотопно, анти-исторически используют они свою долю истины. Типично массовые движения, возглавленные, как и следовало ждать, недалекими людьми старого образца, с короткой памятью и нехваткой исторического чутья, они с самого начала выглядят так, словно уже канули в прошлое, и, едва возникнув, кажутся реликтами.

Я не обсуждаю вопроса, становиться или не становиться коммунистом. И не оспариваю символ веры. Непостижимо и анахронично то, что коммунист 1917 года решается на революцию, которая внешне повторяет все прежние, не исправив ни единой ошибки, ни единого

* в широком смысле (*лат.*).

** В этом уже проступает тот разрыв между научным уровнем эпохи и ее культурным уровнем, с которым мы еще столкнемся вплотную. — *Примеч. автора.*

их изъяна. Поэтому происшедшее в России исторически невыразительно и не знаменует собой начало новой жизни. Напротив, это монотонный перепев общих мест любой революции. Общих настолько, что нет ни единого изречения, рожденного опытом революций, которое применительно к русской не подтвердилось бы самым печальным образом. «Революция пожирает собственных детей!», «Революция начинается умеренными, совершается непримиримыми, завершается реставрацией» и т.д. и т.п. К этим затасканным истинам можно бы добавить еще несколько не столь явных, но вполне доказуемых — например, такую: революция длится не дольше пятнадцати лет, активной жизни одного поколения*.

Кто действительно хочет создать новую социально-политическую явь, тот прежде всего должен позаботиться, чтобы в обновленном мире утратили силу жалкие стереотипы исторического опыта. Лично я приберег бы титул «гениальный» для такого политика, от первых же шагов которого спятили бы все профессора истории, видя, как их научные «законы» разом стареют, рушатся и рассыпаются прахом.

Почти все это, лишь поменяв плюс на минус, можно адресовать и фашизму. Обе попытки не на высоте своего времени, потому что превзойти прошлое можно только при одном неумолимом условии — надо его цели-

* Срок деятельности одного поколения — около тридцати лет. Но срок этот делится на два разных и приблизительно равных периода: в течение первого новое поколение распространяет свои идеи, склонности и вкусы, которые в конце концов утверждаются прочно и в течение всего второго периода господствуют. Тем временем поколение, выросшее под их господством, уже несет свои идеи, склонности и вкусы, постепенно пропитывая ими общественную атмосферу. И если господствуют крайние взгляды и предыдущее поколение по своему складу революционно, то новое будет тяготеть к обратному, то есть к реставрации. Разумеется, реставрация не означает простого «возврата к старому» и никогда им не бывает. — *Примеч. автора.*

ком, как пространство в перспективу, вместить в себя. С прошлым не сходятся врукопашную. Новое побеждает, лишь поглотив его. А подавившись, гибнет.

Обе попытки — это ложные зори, у которых не будет завтрашнего утра, а лишь давно прожитый день, уже виденный однажды, и не только однажды. Это анахронизмы. И так обстоит дело со всеми, кто в простоте душевной точит зубы на ту или иную порцию прошлого, вместо того чтобы приступить к ее перевариванию.

Безусловно, надо преодолеть либерализм XIX века. Но такое не по зубам тому, кто, подобно фашистам, объявляет себя антилибералом. Ведь быть не либералом, либо антилибералом — значит занимать ту позицию, что была до наступления либерализма. И раз он наступил, то, победив однажды, будет побеждать и впредь, а если погибнет, то лишь вкупе с антилиберализмом и со всей Европой. Хронология жизни неумолима. Либерализм в ее таблице наследует антилиберализму, или, другими словами, настолько жизненной последнего, насколько пушка гибельней копья.

На первый взгляд кажется, что каждому «античему-то» должно предшествовать это самое «что-то», поскольку отрицание предполагает его уже существующим. Однако новоявленное «анти-» растворяется в пустом жесте отрицания и оставляет по себе нечто антикварное. Если кто-то, например, заявляет, что он антитеатрал, то в утвердительной форме это всего лишь означает, что он сторонник такой жизни, в которой театра не существует. Но такой она была лишь до рождения театра. Наш антитеатрал, вместо того чтобы возвыситься над театром, ставит себя хронологически ниже — не после, а до него — и смотрит сначала раскрученную назад киноленту, в конце которой неизбежно появится театр. Со все-

ми этими «анти-» та же история, что приключилась, согласно легенде, с Конфуцием. Он родился, как водится, позже своего отца, но родился-то, черт возьми, уже восьмидесятилетним, когда родителю было не больше тридцати. Всякое «анти-» — лишь пустое и пресное «нет».

Было бы недурно, если бы безоговорочное «нет» могло покончить с прошлым. Но прошлое по своей природе *revenant**. Как ни гони его, оно вернется и неминуемо возникнет. Поэтому единственный способ избавиться от него — это не гнать. Прислушиваться к нему. Не выпускать его из виду, чтобы перехитрить и ускользнуть от него. Короче, жить «на высоте своего времени», обостренно чувствуя историческую обстановку.

У прошлого своя правда. Если с ней не считаться, оно вернется отстаивать ее и заодно утвердит свою неправду. У либерализма правда была; и надо признать это *per saecula saeculorum***.

Но была и не только правда, и надо избавить либерализм ото всего, в чем он оказался не прав. Европа должна сохранить его суть. Иначе его не преодолеть. О фашизме и большевизме я заговорил походя и бегло, отметив лишь их архаические черты. Такие черты, на мой взгляд, сегодня присущи всему, что кажется победоносным. Ибо сегодня торжествует массовый человек, и лишь то, что внушено им и прописано его плоским мышлением, может одержать видимость победы. Ограничиваясь этим, не стану вдаваться в суть упомянутых течений, равно как и пытаться решить вечную дилемму эволюции и революции. Единственное, чего я хочу, — чтобы та и другая были историчны, а не выглядели анахронизмом.

* привидение (*фр.*).

** во веки веков (*лат.*).

Проблема, над которой я бьюсь, политически нейтральна, потому что коренится глубже, чем политика с ее распрями. Консерваторы в такой же мере массовые люди, как радикалы, и разница между ними, которая и всегда-то была поверхностной, нимало не мешает им быть одним и тем же — восставшей чернью.

Европе не на что надеяться, если судьба ее не перейдет в руки людей, мыслящих «на высоте своего времени», — людей, которые слышат подземный гул истории, видят реальную жизнь в ее полный рост и отвергают саму возможность архаизма и одичания. Нам понадобится весь опыт истории, чтобы не кануть в прошлое, а выбраться из него.

XI

ВЕК САМОДОВОЛЬНЫХ НЕДОРОСЛЕЙ

Итак, новая социальная реальность такова: европейская история впервые оказалась отданной на откуп заурядности. Или в действительном залоге: заурядность, прежде подвластная, решила властвовать. Решение выйти на авансцену возникло само собой, как только созрел новый человеческий тип — воплощенная посредственность. В социальном плане психологический строй этого новичка определяется следующим: во-первых, подспудным и врожденным ощущением легкости и обильности жизни, лишенной тяжких ограничений, и, во-вторых, вследствие этого — чувством собственного превосходства и всеисилия, что, естественно, побуждает принимать себя таким, каков есть, и считать свой умственный и нравственный

уровень более чем достаточным. Эта самодостаточность повелевает не поддаваться внешнему влиянию, не подвергать сомнению свои взгляды и не считаться ни с кем. Привычка ощущать превосходство постоянно берedit желание господствовать. И массовый человек держится так, словно в мире существуют только он и ему подобные, а отсюда и его третья черта — вмешиваться во все, навязывая свою убогость бесцеремонно, безоглядно, безотлагательно и безоговорочно, то есть в духе «прямого действия».

Эта совокупность заставляет вспомнить такие ущербные человеческие особи, как избалованный ребенок и взбесившийся дикарь, то есть варвар. (Нормальный дикарь, напротив, как никто другой, следует высшим установлениям — вере, табу, заветам и обычаям). Не надо удивляться моей желчности. Это первая попытка атаковать триумфатора и знак, что есть еще европейцы, готовые восстать против его тирании. Пока это лишь разведка: главный бой впереди, он не заставит себя ждать и наверняка будет иным, чем я думаю. Но все произойдет так, что массовый человек не сумеет опередить — он будет смотреть в упор и даже не догадается, что это и есть окончательный удар.

Существо, которое в наши дни проникло всюду и всюду выказало свою варварскую суть, и в самом деле баловень человеческой истории. Баловень — это наследник, который держится исключительно как наследник. Наше наследство — цивилизация с ее удобствами, гарантиями и прочими благами. Как мы убедились, только жизнь на широкую ногу и способна породить подобное существо со всем его вышеописанным содержимым. Это еще один живой пример того, как богатство калечит человеческую природу. Мы ошибочно полагаем, что

жизнь в изобилии полней, выше и подлинней, чем жизнь в упорной борьбе с нуждой. А это не так. И тому есть причины, непреложные и архисерьезные, которые здесь не место излагать. Не вдаваясь в них, достаточно вспомнить давнюю и заигранную трагедию наследственной аристократии. Аристократ наследует, то есть присваивает, жизненные условия, которые создавал не он и существование которых не связано органически с его, и только его, жизнью. С появлением на свет он моментально и безотчетно водворяется в сердцевину своих богатств и привилегий. Внутренне его ничто с ними не роднит, поскольку они исходят не от него. Это огромный панцирный покров, пустая оболочка иной жизни, иного существа, родоначальника. А сам он лишь наследник, то есть носит оболочку чужой жизни. Что же его ждет? Какой жизнью суждено ему жить — своей или своего пращура? Да никакой. Он обречен представлять собой другого, то есть не быть ни собой, ни другим. Жизнь его неумолимо теряет достоверность и становится видимостью, игрой в жизнь, и притом чужую. Изобилие, которым он вынужден владеть, отнимает у наследника его собственное предназначение, омертвляет его жизнь. Каждая жизнь — борьба; и борется, чтобы стать собой. Именно те трудности, что мешают мне осуществиться, будят и напрягают мои силы и способности. Если бы мое тело не весило, я бы не мог ходить. Если бы воздух не давил на него, оно казалось бы мне чем-то призрачным, расплывчатым, нереальным. Так от отсутствия жизненных усилий улетучивается и личность наследственного «аристократа». Отсюда и то редкостное размягчение мозгов у родовитого потомства, и никем еще не изученный роковой удел наследственной знати — ее глубинный и трагический механизм вырождения.

Если бы лишь на этом и спотыкалась наша наивная вера, что изобилие способствует жизни! Но куда там. Избыточные блага* сами собой уродуют жизнедеятельность и производят на свет такие ущербные натуры, как «баловень», или «наследник» (аристократ — лишь его частный случай), или, наконец, самый вездесущий и законченный тип — современного массового человека. (Стоило бы, кстати, подробнее проследить, как многие характернейшие черты «аристократа» всех времен и народов, подобно семенам, дают массовые всходы. Стремление, например, делать игру и спорт своим главным занятием; всеми средствами — от гигиены до гардероба — культивировать собственное тело; не допускать романтизма в отношениях с женщинами; делить досуг с интеллигентами, в душе презирая их, с радостью отдавая на растерзание лакеям и жандармам; предпочитать режим абсолютной власти демократическим прениям** и т.д. и т.п.)

* Не надо путать рост жизненных благ и даже изобилие с их избытком. Подобное изобилие в XIX веке привело к небывалому — количественно и качественно — росту жизни, о чем я уже напоминал. Но настал час, когда неограниченные возможности цивилизации в контрасте с ограниченностью среднего человека обрели оттенок избытка — чрезмерного, то есть излишнего, обилия. Всего лишь один пример: уверенность, которую, казалось бы, сулил прогресс, — обернулась самоуверенностью, другими словами, ущербным и разрушительным самообманом. — *Примеч. автора.*

** В этом, и не только в этом, отношении английская аристократия кажется исключением. Это само по себе удивительно; однако достаточно беглого взгляда на британскую историю, чтобы увидеть, как этим исключением, при всей его исключительности, подтверждается правило. Вопреки ходячему мнению английская знать была наименее «благополучной» в Европе и свыкла с опасностью и риском, как никакая другая. Потому-то она, живя в постоянной опасности, научилась и научила уважать себя, что требует безустанной боевой готовности. Как-то забывается, что Англия, даже в XVIII веке, была беднейшей страной Европы. Это и спасло британскую знать. Нужда заставила ее смириться с таким — в остальной Европе неблагородным — занятием, как торговля и промышленность, то есть с необходимостью жить созидательно, а не уповать на привилегии. — *Примеч. автора.*

И снова я с тяжелым сердцем вынужден повторить: этот новоявленный варвар с хамскими повадками — законный плод нашей цивилизации, и в особенности тех ее форм, которые возникли в XIX веке. Он не вторгся в цивилизованный мир извне, как «рослые рыжие варвары» пятого века, и не проник в него изнутри, путем таинственного самозарождения, вроде того, что Аристотель приписывал головастикам. Он — естественное порождение упомянутого мира. Можно сформулировать закон, подтвержденный палеонтологией и биогеографией: человеческая жизнь расцветала лишь тогда, когда ее растущие возможности уравнивались теми трудностями, что она испытывала. Это справедливо и для духовного, и для физического существования. Касательно последнего напомним, что человек развивался в тех областях Земли, где жаркое время года уравнивалось нестерпимо холодным. В тропиках первобытная жизнь вырождается, и, наоборот, ее низшие формы, как, например, пигмеи, вытеснены в тропики племенами, возникшими позже и на более высокой эволюционной ступени*.

Словом, именно в XIX веке цивилизация позволила среднему человеку утвердиться в избыточном мире, воспринятом как изобилие благ, но не забот. Он очутился среди сказочных машин, чудодейственных лекарств, услужливых правительств, уютных гражданских прав. А вот задуматься над тем, как непросто создавать эти машины и лекарства и обеспечивать их появление впредь и как шатко само устройство общества и государства, он не успел и, не заботясь о трудностях, почти не ощущает

* Olbricht Klima und Entwicklung 1923. — *Примеч. автора.*

обязанностей. Такой сдвиг равновесия калечит его и, подрезав жизненные корни, уже не дает ему ощутить саму сущность жизни, вечно темную и насквозь опасную. Ничто так не противоречит человеческой жизни, как ее же собственная разновидность, воплощенная в «самодовольном недоросле». И когда этот тип начинает преобладать, надо бить тревогу и кричать, что человечеству грозит вырождение, едва ли не равносильное смерти. Пусть уровень жизни в Европе сегодня выше, чем когда бы то ни было; нельзя, глядя в будущее, не опасаться, что завтра он не только не возрастет, но безудержно покатится вниз.

Все это, надеюсь, достаточно ясно указывает на крайнюю противоестественность «самодовольного недоросля». Это тип человека, который живет, дабы делать то, что заблагорассудится. Обычное заблуждение маменькина сына. А причина проста — в семейном кругу любые, даже тяжкие, проступки остаются, в общем-то, безнаказанными. Семейный очаг — это тепло искусственное, и здесь легко сходит с рук то, что на вольном воздухе улицы имело бы весьма пагубные последствия, и в самом скором времени. Но сам-то «недоросль» уверен, что может повсюду вести себя как дома, что вообще нет ничего неизбежного, непоправимого и окончательного. И потому уверен, что может делать все что заблагорассудится*. Роковая ошибка! «Ваша милость пойдет куда

* Как семья соотносится с обществом, точно так же — только крупнее и рельефней — нация соотносится с человечеством. Самые самодовольные на сегодняшний день, да и самые монументальные, «недоросли» — это народы, которые вознамерились в человеческом сообществе «делать то, что заблагорассудится». И по наивности называют это «национальным духом». Как ни претит мне дух интернациональный и ханжеское почтение к нему, но эти капризы национальной незрелости кажутся карикатурными. — *Примеч. автора.*

следует», — говорят попугаю в португальской сказке. Но разве нельзя делать то, что хочется? Речь не о том, что нельзя; речь совсем о другом — все, что мы можем, — это делать то, чего не можем не делать, становиться тем, чем не можем не стать. Единственное возможное для нас своеволие — отказаться это делать, но отказ не означает свободу действий — мы и тогда не вольны делать то, что хочется. Это не своеволие, а свобода воли с отрицательным знаком — неволие. Можно изменить своему предназначению и дезертировать, но дезертировать можно, лишь загнав себя в подвалы своей судьбы. Я не могу убедить каждого ссылкой на его собственный опыт, потому что не знаю этого опыта, но вправе сослаться на то общее, что вошло в судьбу каждого. Например, на общее всем европейцам — и куда более прочное, чем их публичные «идеи» и «взгляды» — сознание того, что современный европеец не может не ценить свободу. Можно спорить, какой именно должна быть эта свобода, но суть в ином. Сегодня самый махровый реакционер в глубине души сознает, что европейская идея, которую прошлый век окрестил либерализмом, в конечном счете и есть то непреложное и неизбежное, чем сегодня стал, вольно или невольно, западный человек.

И как бы неопровержимо ни доказывали, насколько ложной и губительной была любая попытка осуществить этот непростительный императив политической свободы, вписанный в европейскую историю, конечным остается понимание, что в прошлом веке, по сути, он оказался прав. Это конечное понимание есть и у коммуниста, и у фашиста, судя по их усилиям убедить себя и нас в обратном, как есть оно — хочет он того или нет, верит

он в это или нет* — у католика, сколь бы преданно ни чтит он «Силлабус». Все они «знают», что, какой бы справедливой ни была критика либерализма, его подспудная правота неодолима, потому что это не теоретическая правота, не научная, не умозрительная, но совсем иного и решающего свойства, а именно — правота судьбы. Теоретические истины не просто спорны, но вся сила и смысл их в этой спорности; они рождены спором, живы, пока оспоримы, и существуют единственно для продолжения спора. Но судьбу — то, чему предстоит или не предстоит стать жизнью — не оспаривают. Ее принимают или отвергают. Приняв, становятся собой; отвергнув, отрицают и подменяют себя**. Судьба поступает не в том, что нам хочется, — напротив, ее строгие черты отчетливей, когда мы сознаем, что должны вопреки хотению.

* Каждый, кто верит, согласно Копернику, что солнце не заходит за горизонт, изо дня в день видит обратное и, поскольку очевидность мешает убеждению, продолжает верить в него. В нем научная уверенность непрерывно подавляет влияние первичной или непосредственной уверенности. Так и упомянутый католик своей догматической верой отвергает свою подлинную, личную веру в насущность свободы. Я упомянул его в качестве примера и только для пояснения своей мысли, а не для того, чтобы подвергнуть такому же строгому суду, какому подвергаю современного массового человека, «самодовольного недоросля». Совпадают они лишь в одном. Вина «недоросля» в том, что он почти целиком не самобытен. У католика же бытие подлинно, но не целиком. Но даже это частичное совпадение мнимо. Католик изменяет себе в той сфере бытия, где он — сын своего времени и, хочет он того или не хочет, современный европеец, и изменяет потому, что стремится остаться верным другой властной сфере своего бытия — религиозной. Это означает, что судьба его, по существу, трагична. И он принимает ее такой. «Самодовольный недоросль», напротив, дезертирует, изменяя себе по безалаберности, а всему остальному — единственно из трусости и желания увильнуть при малейшем намеке на трагедию. — *Примеч. автора.*

** Опуститься, пасть, унизиться — это и значит отказаться от себя, от того, в ком ты должен был осуществиться. Подлинное существование при этом не исчезает, а становится укоризненной тенью, призраком, который вечно напоминает, как низка эта участь и какой непохожей она должна была стать. Такая жизнь — лишь неудачное самоубийство. — *Примеч. автора.*

Итак, «самодовольный недоросль» знает, чему не бывать, но, несмотря на это — и даже именно поэтому, — словом и делом изображает, будто убежден в обратном. Фашист обрушивается на политическую свободу именно потому, что знает: всецело и всерьез ее не может не быть, она неотменима как сущность европейской жизни, и в серьезную минуту, когда нуждаться в ней будут по-настоящему, она окажется налицо. Но так уж устроен массовый человек — на «капризный лад». Он ничего не делает раз и навсегда и — что бы ни делал — все у него «понарошку», как выходки «маменькина сына». Поспешная готовность его в любом деле вести себя трагически, отчаянно и безоглядно — это лишь декорация.

Трагедию он разыгрывает именно потому, что не верит, будто в цивилизованном мире она может разыграться всерьез.

Не принимать же на веру все, что человек изображает из себя! Если кто-то настаивает, что дважды два, по его святому убеждению, пять и нет оснований считать его помешанным, остается признать, что сам он, как бы ни срывал голос и ни грозился умереть за свои слова, попросту не верит в то, что говорит.

Шквал повального и беспросветного фиглярства катится по европейской земле. Любая позиция утверждается из позерства и внутренне лжива. Все усилия направлены единственно на то, чтобы не встретиться со своей судьбой, зажмуриться и не слышать ее темного зова, избежать очной ставки с тем, что должно стать жизнью. Живут в шутку, и тем шуточней, чем трагичней надетая маска. Шутовство неминуемо, если любой шаг необязателен и не вбирает в себя личность целиком и бесповоротно. Массовый человек боится встать на твердый, скальный грунт предназначения; куда свойствен-

ней ему прозябать, существовать нереально, повисая в воздухе. И никогда еще не носилось по ветру столько жизней, невесомых и беспочвенных — выдернутых из своей судьбы — и так легко увлекаемых любым, самым жалким течением. Поистине, эпоха «увлечений» и «течений». Мало кто противится тем поверхностным завихрениям, которые лихорадят искусство, мысль, политику, общество. И потому риторика цветет как никогда. Сюрреалист отважно ставит (избавлю себя от необходимости приводить это слово) там, где раньше стояли «жасмины, лебеди и фавны», и полагает, что превзошел мировую литературу. А всего-то заменил одну риторику другой, прежде пылившейся на заборах.

Понять современность, при всей ее неповторимости, помогает то, что роднит ее с прошлым. Едва средиземноморская цивилизация достигла своей полноты, как на сцену выходит циник. Грязными сандалиями Диоген топчет ковры Аристиппа. В III веке до Рождества Христова циники кишат — они на всех углах и на любых постах. И единственно, что делают, — саботируют цивилизацию. Циник был нигилистом эллинизма. Он никогда не создавал — и даже не пытался. Его работой было разрушение, верней, старание разрушить, поскольку он и в этом не преуспел. Циник, паразит цивилизации, живет ее отрицанием именно потому, что уверен в ней. Чего стоил бы он и что, спрашивается, делал бы среди дикарей, где каждый безотчетно и всерьез действует так, как сам он действовал напоказ и нарочно, видя в том личную заслугу? Чего стоит фашист, если он не ополчается на свободу? И сюрреалист, если не шельмует искусство?

Иначе и не могло бы вести себя это существо, рожденное в чересчур хорошо устроенном мире, где оно

привыкло видеть одни блага, а не опасности. Его избаловало окружение, домашнее тепло цивилизации — и «маменькина сынка» вовсе не тянет покидать родное гнездо своих прихотей, слушаться старших и уж тем более — входить в неумолимое русло своей судьбы.

ХII

ВАРВАРСТВО «СПЕЦИАЛИЗМА»

Я утверждал, что цивилизация XIX века автоматически произвела массового человека. Нельзя ограничиться общим утверждением, не проследив на отдельных примерах процесс этого производства. Конкретизированный, тезис выигрывает в убедительности.

Упомянутую цивилизацию, отмечал я, можно свести к двум основным величинам — либеральной демократии и технике. Остановимся сейчас на последней. Современная техника родилась от соития капитализма с экспериментальной наукой. Не всякая техника научна. Творец каменного топора в четвертичном периоде не ведал о науке и, однако, создал технику. Китай достиг технических высот, не имея ни малейшего понятия о физике. Лишь современная европейская техника коренится в науке и ей обязана своим уникальным свойством — способностью бесконечно развиваться. Любая иная техника — месопотамская, египетская, греческая, римская, восточная — достигала определенного рубежа, который не могла преодолеть, и едва касалась его, как тут же плачевно отступала.

Этой сверхъестественной западной технике обязана и сверхъестественная плодовитость европейцев. Вспомним, с чего началось мое исследование и чем обусловлены все мои выводы. С пятого века по девятнадцатый европейское население не превышало 180 миллионов. А за период с 1800 по 1914 год вырастает до 460 миллионов. Небывалый скачок в истории человечества. Не приходится сомневаться, что техника наряду с либеральной демократией произвели на свет массу в количественном смысле. Но я в этой книге пытался показать, что они ответственны и за возникновение массового человека в качественном и наихудшем смысле слова.

Понятие «масса», как я уже предупреждал, не подразумевает рабочих и вообще обозначает не социальную принадлежность, а тот человеческий склад или образ жизни, который сегодня преобладает и господствует во всех слоях общества, сверху донизу, и потому олицетворяет собой наше время. Сейчас мы в этом убедимся.

Кто сегодня правит? Кто навязывает эпохе свой духовный облик? Несомненно, буржуазия. Кто представляет ее высший слой, современную аристократию? Несомненно, специалисты: инженеры, врачи, финансисты, педагоги и т.д. Кто представляет этот высший слой в его наивысшей чистоте? Несомненно, человек науки. Если бы инопланетянин посетил Европу и, дабы составить о ней представление, поинтересовался, кем именно она желает быть представленной, Европа с удовольствием и уверенностью указала бы на своих ученых. Разумеется, инопланетянин интересовался бы не отдельными исключениями, а общим правилом, общим типом «человека науки», венчающего европейское общество.

И что же выясняется? В итоге «человек науки» оказывается прототипом массового человека. И не эпизо-

дически, не в силу какой-то сугубо личной ущербности, но потому, что сама наука — родник цивилизации — закономерно превращает его в массового человека; иными словами, в варвара, в современного дикаря.

Это давно известно и тысячекратно подтверждено, но лишь в контексте моего исследования может быть осмыслено во всей полноте и серьезности.

Экспериментальная наука возникла на закате XVI века (Галилей*), сформировалась в конце XVII (Ньютон) и стала развиваться с середины XVIII. Становление и развитие — это процессы разные, и протекают они по-разному. Так, физика, собирательное имя экспериментальных наук, формируясь, нуждалась в унификации, и к этому вели усилия Ньютона и других ученых его времени. Но с развитием физики начался обратный процесс. Для своего развития науке необходимо, чтобы люди науки специализировались. Люди, а не сама наука. Знание не специальность. Иначе оно *ipso facto*** утратило бы достоверность. И даже эмпирическое знание в его совокупности тем ошибочней, чем дальше оно от математики, логики, философии. А вот участие в нем действительно — и неумолимо — требует специализации.

Было бы крайне интересно, да и намного полезней, чем кажется, взглянуть на историю физики и биологии с точки зрения растущей специализации исследователей. Мы убедились бы, что люди науки, поколение за поколением, умещаются и замыкаются на все более тесном пространстве мысли. Но существенней другое: с каждым новым

* В связи с этим уместно напомнить, дабы впредь не забывалось, что одна из самых нелепых, фантазмагорических и омерзительных сцен, когда-либо виденных на планете Земля, имела место 26 июня 1633 года — в пору отмечать трехсотлетие — день, когда шестидесятилетний Галилей на коленах перед инквизиторами отрекался от физики. — *Примеч. автора.*

** *Ipso facto* (лат.) — здесь: уже потому.

поколением, сужая поле деятельности, ученые теряют связь с остальной наукой, с целостным истолкованием мира — единственным, что достойно называться наукой, культурой, европейской цивилизацией.

Специализация возникла именно тогда, когда цивилизованным человеком называли «энциклопедиста». Деятнадцатый век выводили на дорогу специалисты, чей жизненный кругозор оставался энциклопедическим. Но от поколения к поколению центр тяжести смещался, и специализация вытесняла в людях науки целостную культуру. К 1890 году третье поколение интеллектуальных властителей Европы представлено типом ученого, беспримерным в истории. Это человек, который из всей совокупности знаний, необходимых, чтобы подняться чуть выше среднего уровня, знает одну-единственную дисциплину, и даже в этих пределах — лишь ту малую долю, в которой подвизается. И даже кичится своей неосведомленностью во всем, что за пределами той узкой полоски, которую он возделывает, а тягу к совокупному знанию именует дилетантизмом.

При этом, стесненный своим узким кругозором, он действительно получает новые данные и развивает науку, о которой сам едва помнит, а с ней — и ту энциклопедическую мысль, которую старательно забывает. Как это получается и почему? Факт бесспорный и, надо признать, диковинный: экспериментальное знание во многом развивается стараниями людей на редкость посредственных, если не хуже. Другими словами, современная наука, опора и символ нашей цивилизации, благоприятствует интеллектуальной посредственности и способствует ее успехам. Причиной тому наибольшее достижение и одновременно наихудшая беда современной науки — механизация. Львиная доля того, что совершается в биологии или физике, — это механическая работа мысли,

доступная едва ли не каждому. Для успеха бесчисленных опытов достаточно разбить науку на крохотные сегменты, замкнуться в одном из них и забыть об остальных. Надежные и точные методы позволяют походя с пользой вылушивать знание. Методы работают как механизмы, и для успешных результатов даже не требуется ясно представлять их суть и смысл. Таким образом, наука своим безграничным движением обязана ограниченности большинства ученых, замерших в лабораторных кельях, как пчела в ячейке или вертел в пазу.

Но это создало крайне диковинную касту. Человек, открывший новое явление природы, невольно должен ощущать силу и уверенность в себе. С полным и безосновательным правом он считает себя «знающим». И действительно, в нем есть частица чего-то, что вкупе с другими частицами, которых он лишен, окончательно становится знанием. Такова внутренняя коллизия специалиста, в начале нашего века достигшая апогея. Специалист хорошо «знает» свой мизерный клочок мироздания и полностью несведущ в остальном.

Пред нами образец того диковинного «нового человека», чей двойственный облик я пытался обрисовать. Я утверждал, что этот человеческий силуэт еще не встречался в истории. По специалисту легче всего определить эту новую породу и убедиться в ее решительной новизне. Прежде люди попросту делились на сведущих и невежественных — более или менее сведущих и более или менее невежественных. Но специалиста нельзя причислить ни к тем, ни к другим. Нельзя считать его знающим, поскольку вне своей специальности он полный невежда; нельзя счесть и невеждой, поскольку он — «человек науки» и свою порцию мироздания знает назубок. Приходится признать его сведущим невеждой, а это тяжелый случай, и означает он, что данный господин к лю-

бому делу, в котором не смыслит, подойдет не как невежда, но с дерзкой самонадеянностью человека, знающего себе цену.

И действительно, специалист именно так и поступает. В политике, в искусстве, в общественных и других науках он способен выказать первобытное невежество, но выкажет он его веско, самоуверенно и — самое парадоксальное — ни во что не ставя специалистов. Обособив, цивилизация сделала его герметичным и самодовольным, но именно это сознание своей силы и значимости побуждает его первенствовать и за пределами своей профессии. А значит и на этом уровне, предельно элитарном и бесконечно удаленном, казалось бы, от массового человека, сознание остается примитивным и массовым.

Это не общие фразы. Достаточно приглядеться к тому скудоумию, с каким судят, решают и действуют сегодня в искусстве, в религии и во всех ключевых вопросах жизни и мироустройства «люди науки», а вслед за ними, само собой, врачи, инженеры, финансисты, преподаватели и т.д. Неумение «слушать» и считаться с авторитетом, которое я постоянно подчеркивал в массовом человеке, у этих узких профессионалов достигает апогея. Они олицетворяют, и в значительной мере формируют, современную империю масс, и варварство их — самая непосредственная причина европейского упадка.

С другой стороны, они — нагляднейшая демонстрация того, как именно в цивилизации прошлого века, брошенной на собственный произвол, возникли ростки варварства и одичания.

Непосредственным же результатом узкой и ничем не восполненной специализации стало то, что сегодня, когда «людям науки» нет числа, людей «просвещенных» на-

много меньше, чем, например, в 1750 году. И что хуже всего, эти научные вертела не могут обеспечить науке внутреннего развития. Потому что время от времени науке необходимо согласованно упорядочивать свой рост, и она нуждается в реформации, в восстановлении, что требует, как я уже говорил, унификации — и все более трудной, поскольку охватывает она все более обширные области знания. Ньютон сумел создать свою научную систему, не слишком углубляясь в философию, но Эйнштейну для его изощренного синтеза пришлось пропитаться идеями Канта и Маха. Кант и Мах — всего лишь символы той огромной массы философских и психологических идей, что повлияла на Эйнштейна — помогли освободиться его разуму и найти путь к обновлению. Но одного Эйнштейна мало. Физика испытывает самый тяжелый за всю свою историю кризис, и спасти ее сможет только новая энциклопедия намного систематизированней прежней.

Итак, специализация, в течение века двигавшая экспериментальное знание, подошла к такому рубежу, для преодоления которого надобно делать что-то посущественней, чем совершенствовать вертела.

И если даже специалисту неясен организм его науки, то уж тем более неясны исторические условия ее долговечности, то есть неведомо, какими должны быть общество и человеческое сердце, чтобы в мире впредь совершались открытия. Современный упадок научного призвания, о котором я упоминал, — это тревожный сигнал для всех, кому ясна природа цивилизации, уже недоступная своим хозяевам — «людям науки». Они-то уверены, что цивилизация всегда налицо, как земная кора или дикий лес.

XIII

ГОСУДАРСТВО КАК ВЫСШАЯ УГРОЗА

В хорошо организованном обществе масса не действует сама по себе. Такова ее роль. Она существует для того, что бы ее вели, наставляли и представляли за нее, пока она не перестанет быть массой или по крайней мере не начнет к этому стремиться. Но сама по себе осуществлять это она не способна. Ей необходимо следовать чему-то высшему, исходящему от избранных меньшинств. Можно сколько угодно спорить, кем должны быть эти избранные, но то, что без них — кем бы они ни были — человечество утратит основу своего существования, сомнению не подлежит, хотя Европа вот уже столетие подобно страусу прячет голову под крыло в надежде не увидеть очевидного. Это не частный вывод из ряда наблюдений и догадок, а закон социальной «физики» под стать Ньютоновым по своей непреложности. В день, когда снова воцарится подлинная философия* — единственное, что может спасти Европу, — вновь откроется, что человек, хочет он того или нет, самой природой своей предназначен к поискам высшего начала. Кто находит его сам, тот избранный; кто не находит, тот получает его из чужих рук и становится массой.

Действовать самовольно означает для массы восставать против собственного предназначения, а поскольку

* Для этого вовсе не требуется, чтобы философы правили, как предлагал Платон, и не требуется даже, чтобы правители философствовали, как более скромно предлагалось после него. Оба варианта плачевны. Чтобы философия правила, достаточно одного — чтобы она существовала, иначе говоря — чтобы философы были философами. Едва ли уж не столетие они тешатся политикой, публицистикой, просвещением, наукой и чем угодно, кроме своего дела. — *Примеч. автора.*

лишь этим она сейчас и занята, я говорю о восстании масс. В конце концов единственное, что действительно и по праву можно считать восстанием, — это восстание против себя, неприятие судьбы. Восстание Люцифера было бы не меньшим мятежом, если бы он метил не на место Бога, ему не уготованное, а на место низшего из ангелов, уготованное тоже не ему. (Будь Люцифер русским, как Толстой, он, наверное, избрал бы второй путь, не менее богоборческий.)

Действуя сама по себе, масса прибегает к единственному способу, поскольку других не знает, — к расправе. Не зря же суд Линча возник в Америке, в этом массовом раю. Нечего удивляться, что сегодня, когда массы торжествуют, торжествует и насилие, становясь единственным доводом и единственной доктриной. Я давно уже отмечал, что насилие стало бытом*. Сейчас оно достигло апогея, и это обнадеживает, поскольку должен же начаться спад. Сегодня насилие — это риторика века, и его уже прибирают к рукам пустомели. Когда реальность отмирает, изжив себя, труп выносится волнами и долго еще вязнет в болотах риторики. Это кладбище отжившего; на худой конец — его богадельня. Имена переживают хозяев, и хотя это звук пустой, но все-таки звук, и он сохраняет какую-то магическую власть.

Но если даже и вправду окажется, что значимость насилия как цинично установленной нормы поведения готова пойти на убыль, мы все равно останемся в его власти, лишь видоизмененной.

Я перехожу к наихудшей из опасностей, которые грозят сегодня европейской цивилизации. Как и все прочие угрозы, она рождена самой цивилизацией и, больше того, составляет ее славу. Это — наше современное Государство.

* См.: *España invertebrada*. 1921. — *Примеч. автора*.

Вспоминается то, что я уже отмечал, говоря о науке: плодотворность ее основ ведет к небывалому прогрессу, прогресс неумолимо ведет к небывало узкой специализации, а специализация — к удушению самой науки.

Нечто подобное происходит и с Государством.

Вспомним, чем было в конце XVIII века государство для всех европейских наций. Почти ничем! Ранний капитализм и его промышленные предприятия, где впервые восторжествовала техника, самая передовая и производительная, резко ускорили рост общества. Возник новый социальный класс, энергичней и многочисленней прежних, — буржуазия. У этой напористой публики было одно всеобъемлющее дарование — практическая сметка. Они умели дать делу ход и слаженность, развернуть и упорядочить его. В их человеческом море и блуждал опасливо «государственный корабль». Эту метафору извлекла на свет божий буржуазия, ибо действительно ощущала себя безбрежной, всемогущей и чреватой штормами. Кораблек выглядел утлым, если не хуже, и всего было в обрез — и денег, и солдат, и чиновников. Его строили в Средние века иные люди, во всем противоположные буржуазии, — доблестные, властные и преданные долгу дворяне. Это им обязаны существованием европейские нации. Но при всех душевных достоинствах у дворян было, да и продолжает быть, неладно с головой. Они на нее и не полагались. Непосредственные, нерасчетливые, одним словом, «иррациональные», они живо чувствовали и трудно соображали. Поэтому они не смогли развить технику, требующую изобретательности. Они не выдумали пороха. Поленились. И, не способные создать новое оружие, позволили горожанам освоить порох, завезенный с Востока или бог весть откуда и с его помощью разгромить благородных рыцарей, так бестолково заклепанных в железо, что в бою они еле воро-

чались, и начисто неспособных уразуметь, что вечный секрет победы — секрет, воскрешенный Наполеоном, — не в средствах защиты, а в средствах нападения*.

Власть — это техника, механизм общественного устройства и управления, и потому «старый режим» к концу XVIII века зашатался под ударами волн беспокойного общественного моря. Власть была настолько слабее общества, что сравнительно с эпохой Каролингов абсолютизм кажется вырождением. Разумеется, двор Карла Великого бесконечно уступал двору Людовика XVI, но зато общество при Каролингах было немощным**. Огромный перевес общественных сил над государственными привел к революции, вернее, к полосе революций вплоть до 1848 года.

Но в ходе революций буржуазия отобрала власть и, приложив к ней свои умелые руки, на протяжении одного поколения создала по-настоящему сильное Государство, которое с революциями покончило. С 1848 года, то есть с началом второй генерации буржуазных правле-

* Эта схема великого исторического перелома, сменившего господство знати главенством буржуазии принадлежит Ранке, но, разумеется, символическая картина переворота требует множества дополнений, чтобы походить на действительную. Порох известен с незапамятных времен. Заряд был придуман кем-то из ломбардцев, но оставался без применения, пока не догадались отлить пулю. Дворяне изредка употребляли огнестрельное оружие, но оно было слишком дорогим. Лишь горожане, экономически лучше организованные, сделали его массовым. Однако с документальной точностью известно, что дворянское, средневекового образца бургундское войско было наголову разбито новым, не профессиональным, а состоящим из горожан швейцарским. Главной силой их была дисциплина и новая рациональная тактика. — *Примеч. автора.*

** Стоило бы задержаться на этом и подчеркнуть, что эпоху европейского абсолютизма отличает именно слабость государства. Какая тому причина? Ведь общество уже набирало силу. Почему же власть, будучи непререкаемой — «абсолютной», — не старалась и сама стать сильнее? Одна из причин уже упомянута: техническая и административная несостоятельность родовой знати. Но есть и другая — аристократы не хотели усиливать государство за счет общества. Вопреки привычным представлениям абсолютизм инстинктивно уважал общество и уважал гораздо больше, чем наши нынешние демократии. Сегодня государство умней, но исторически безответственной. — *Примеч. автора.*

ний, революции в Европе иссякли. И конечно, не по недостатку причин, а по недостатку средств. Власть и общество сравнялись силой. Прощай навеки, революция! Впредь европейцам грозит лишь ее антипод — государственный переворот. Все, что в дальнейшем казалось революцией, было только личиной государственного переворота.

В наши дни Государство стало чудовищной машиной немыслимых возможностей, которая действует фантастически точно и оперативно. Это — средоточие общества, и достаточно нажатия кнопки, чтобы гигантские рычаги молниеносно обработали каждую пядь социального тела.

Современное государство — самый явный и наглядный продукт цивилизации. И отношение к нему массового человека проливает свет на многое. Он гордится государством и знает, что именно оно гарантирует ему жизнь, но не сознает, что это творение человеческих рук, что оно создано определенными людьми и держится на определенных человеческих ценностях, которые сегодня есть, а завтра могут улетучиться. С другой стороны, массовый человек видит в государстве безликую силу, а поскольку и себя ощущает безликим, то считает его своим. И если в жизни страны возникнут какие-либо трудности, конфликты, проблемы, массовый человек постарается, чтобы власти немедленно вмешались и взяли заботу на себя, употребив на это все свои безотказные и неограниченные средства.

Здесь-то и подстерегает цивилизацию главная опасность — полностью огосударствленная жизнь, экспансия власти, поглощение государством всякой социальной самостоятельности, словом — удушение творческих начал истории, которыми в конечном счете держатся, питаются и движутся людские судьбы. Когда у массы возникнут затруднения или просто разыграются аппети-

ты, она не сможет не поддаться искушению добиться всего самым верным и первичным способом — без усилий, без сомнений, без борьбы и риска, — одним нажатием кнопки пустив в ход чудодейственную машину. Масса говорит: «Государство — это я», — и жестоко ошибается. Государство идентично массе лишь в том смысле, в каком Икс идентичен Игреку, поскольку никто из них не Зет. Современное государство и массу роднят лишь их безликость и безымянность. Но массовый человек уверен, что он-то и есть государство, и не упустит случая под любым предлогом двинуть рычаги, чтобы раздавить какое бы то ни было творческое меньшинство, которое раздражает его всегда и всюду, будь то политика, наука или производство.

Кончится это плачевно. Государство окончательно удушит всякую социальную самодеятельность, и никакие новые семена уже не взойдут. Общество вынудят жить для государства, человека — для государственной машины. И поскольку это всего лишь машина, исправность и состояние которой зависят от живой силы окружения, в конце концов государство, высосав из общества все соки, выдохнется, зачахнет и умрет самой мертвой из смертей — ржавой смертью механизма.

Такой и была судьба античной цивилизации. Бесспорно, созданная Юлиями и Клавдиями империя представляла собой великолепную машину, по конструкции намного совершенней старого республиканского Рима. Но знаменательно, что едва она достигла полного блеска, общественный организм зачах. Уже при Антонинах (II век) государство придавило его своей безжизненной мощью. Общество порабощается, и все силы его уходят на служение государству. А в итоге? Бюрократизация всей жизни ведет к ее полному упадку. Жизненный уровень быстро снижается, рождаемость и подавно. А государ-

ство, озабоченное только собственными нуждами, удваивает бюрократический нажим. Этой второй ступенью бюрократизации становится милитаризация общества. Все внимание обращено теперь на армию. Власть — это прежде всего гарант безопасности (той самой безопасности, с которой, напомним, и начинается массовое сознание). Поэтому государство — это прежде всего армия. Императоры Северы, родом африканцы, полностью военизируют жизнь. Напрасный труд! Нужда все беспроектней, чресла все бесплодней. Не хватает буквально всего, и даже солдат. После Северов в армию приходится вербовать варваров.

Теперь ясно, как парадоксален и трагичен путь огосударствленного общества? Оно создает Государство как инструмент, облегчающий жизнь. Потом Государство берет верх, и общество вынуждено жить ради него*. Тем не менее состоит оно пока что из частиц этого общества. Но вскоре уже не хватает людей для поддержания Государства, и приходится звать иноземцев — сперва далматов, потом германцев. Пришельцы в конце концов становятся хозяевами, а остатки общества, аборигены — рабами этих чужаков, с которыми их ничто не роднило и не роднит. Вот итог огосударствленности — народ идет в пищу машине, им же и созданной. Скелет съедает тело. Стены дома вытесняют жильцов.

Осознав это, трудно благодушествовать, когда Муссолини с редкостным апломбом провозглашает как некое откровение, чудесно снизошедшее на Италию: «Все для государства, ничего кроме государства, ничего против государства!» Одно это выдает с головой, что фашизм — типичная доктрина массового человека. Мус-

* Вспомним последний наказ Септимия Севера сыновьям: «Держитесь вместе, платите солдатам и не заботьтесь об остальном». — *Примеч. автора.*

солини заполучил отлично слаженное Государство, и слаженное отнюдь не им, а той самой идейной силой, с которой он борется — либеральной демократией. Он лишь алчно воспользовался ее плодами, и, не входя сейчас в детали его деятельности, можно констатировать одно: результаты на сегодня просто несопоставимы с тем, чего достиг в политике и управлении либерализм. Эти результаты, если они вообще есть, настолько ничтожны, незаметны и несущественны, что трудно оправдать ими ту чудовищную концентрацию власти, которая позволила разогнать государственную машину до предела.

Диктат Государства — это апогей насилия и прямого действия, возведенных в норму. Масса действует самовольно, сама по себе, через безликий механизм Государства.

Европейские народы стоят на пороге тяжелых внутренних испытаний и самых жгучих общественных проблем — экономических, правовых и социальных. Кто поручится, что диктат массы не принудит Государство упразднить свободу личности и тем окончательно погасить надежду на будущее?

Зримым воплощением такой опасности является одна из самых тревожных аномалий последних тридцати лет — повсеместное и неуклонное усиление полиции. К этому неумолимо вел рост общества. И как ни свыклось с этим наше сознание, от него не должна ускользнуть трагическая парадоксальность такого положения дел, когда жители больших городов, чтобы спокойно двигаться по своему усмотрению, фатально нуждаются в полиции, которая управляет их движением. К сожалению, «порядочные» люди заблуждаются, когда полагают, что «силы порядка», ради порядка созданные, успокоятся на том, чего от них хотят. Ясно и неизбежно, что в конце концов они сами станут устанавливать порядки — и, само собой, те, что их устроят.

Стоит задержаться на этой теме, чтобы увидеть, как по-разному откликается на гражданские нужды то или другое общество. В самом начале прошлого века, когда с ростом пролетариата стала расти преступность, Франция поспешила создать многочисленные отряды полиции. К 1810 году преступность по той же причине возросла и в Англии — и англичане обнаружили, что полиции у них нет. У власти стояли консерваторы. Что же они предпринимают? Спешат создать полицию? Куда там! Они предпочли, насколько возможно, терпеть преступность. «Люди смирились с беспорядком, сочтя это платой за свободу».

«У парижан, — пишет Джон Уильям Уорд, — блистательная полиция, но они дорого платят за этот блеск. Пусть уж лучше каждые три-четыре года полудюжине граждан сносят голову на Ратклиф-роуд, чем сносить домашние обыски, слежку и прочие ухищрения Фуше»*. Налицо два разных понятия о государственной власти. Англичане предпочитают ограниченную.

* Цит. по: Halecy E. Histoire du peuple anglais au XIX siècle. 1912. P. 40. — *Примеч. автора.*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XIV

КТО ПРАВИТ МИРОМ

Европейская цивилизация, как уже говорилось, и не раз, фатально привела к восстанию масс. Результат однозначен и лицевая сторона медали — лучше некуда: восстание масс тождественно тому небывалому подъему, который испытала в наше время человеческая жизнь. Но обратная сторона зловеща, и в этом плане восстание масс равносильно распаду человечества. Взглянем же на такой оборот событий с новых точек зрения.

1

Облик и склад новой исторической эпохи — всегда следствие сдвига: или внутреннего — духовного, или внешнего — структурного и как бы механического. Важнейший момент последнего — перераспределение власти. Это представляется бесспорным, но такое смещение влечет за собой и сдвиг духовный.

Поэтому, вторгаясь в эпоху с целью постичь ее, мы прежде всего должны спросить: «Кто в данный момент правит миром?» Может оказаться, что в данный момент человечество разобщено, и его разные, полностью отъединенные части стали замкнутыми и независимыми мирами. Во времена Мильтиада средиземноморский мир не ведал о существовании тихоокеанского. В таких случаях наш вопрос надо обращать к каждому из сообществ. Но в XVI веке начался всеобщий грандиозный процесс воссоединения, достигший в наши дни апогея. Уже не осталось изолированных человеческих сообществ — островков человечества. И значит, начиная с XVI века можно утверждать: кто правит, тот и в самом деле властно влияет на весь мир без остатка. Именно такой в течение трех столетий была роль той общности, которую составляли европейские народы. Правила Европа, и мир под ее объединенным управлением жил на единый лад или по крайней мере шел к единообразию.

Этот жизненный строй принято называть «Новое время» — тусклый и невыразительный синоним эпохи европейской гегемонии.

«Правление» здесь не понимается прежде всего как голое принуждение, как насилие. Хочется избежать глупостей, хотя бы явных. Так вот, нормальная и прочная связь между людьми, именуемая «властью», никогда не покоится на силе; все наоборот — тот общественный инструмент или механизм, который кратко называют «силой», поступает в распоряжение человека или группы людей лишь потому, что они правят. Лучшими доказательствами этого становятся при ближайшем рассмотрении как раз те случаи, когда власть кажется основанной на силе. Наполеон взялся завоевать Испанию, какое-то время удерживался в ней, но не правил ни дня. При

том, что сила у него была. И потому, что была только сила. Следует различать захват власти и саму власть. Правление — это нормальное осуществление своих полномочий. И опирается оно на общественное мнение — всегда и везде, у англичан и у ботокудов, сегодня, как и десять тысяч лет назад. Ни одна власть на Земле не держалась на чем-то существенно ином, чем общественное мнение.

Не полагает ли кто, что власть общественного мнения придумал адвокат Дантон в 1789 году или святой Фома Аквинский в XIII веке? Само это понятие могло сложиться в таком-то году и в таком-то месте, но сила общественного мнения, та главная сила, что создает феномен власти, так же стара и неискоренима, как человечество. В Ньютоновой физике гравитация рождает движение. Сила общественного мнения — это гравитация политической истории. Иначе историческая наука была бы немыслима. Недаром Юм подчеркивал, что задача историка — демонстрация того, насколько постоянной была и остается в человеческой среде власть общественного мнения. Даже тот, кто намерен управлять с помощью янычар, вынужден считаться и с их мнением, и с мнением о них остального населения.

По правде говоря, с помощью янычар и не правят. Талейран говорил Наполеону: «Штыки, сир, годятся на все, кроме единственного — нельзя на них усидеть». А править — это не брать с бою власть, а спокойно осуществлять ее. В общем, править — это восседать. На троне, на престоле, в сенате, в министерском кресле, где угодно. Вопреки наивному представлению репортеров, власть — это дело не кулаков, а седалищ. В конечном счете власть — это общественный вес, устойчивое состояние, статика. Но бывают и такие обстоятельства, когда общественного

мнения не существует. Общество распадается на враждебные группировки, чьи мнения взаимно парализуются, не оставляя места для зарождения власти. И поскольку природа боится пустоты, отсутствие общественного мнения восполняется насилием. Последнее является всего лишь суррогатом первого.

Поэтому, чтобы точнее сформулировать закон исторической гравитации — общественного мнения, — надо учитывать и моменты его отсутствия, и тогда мы придем к давней, досточтимой и подлинно ходячей истине: нельзя править вопреки воле народа.

Все это ведет к пониманию, что власть означает господство мнений и взглядов, то есть духа; что в конечном счете власть — это всегда власть духовная. История неукоснительно это подтверждает. Первобытные формы власти носят сакральный характер, потому что покоятся на религии, а в форме религии и возникает первоначально все то, что впоследствии становится духом, мыслью, мировоззрением, в общем — все нематериальное и сверхчувственное. Средние века воспроизводят тот же феномен в расширенном виде. Первое государство, или первая общественная власть, возникшая в Европе, — это церковь, с ее особыми полномочиями и титулом «власти духовной». У церкви учится политическая власть — тоже не инородная, а духовная, власть определенных идей, — и создается Священная Римская империя. Так сталкиваются две власти, равно духовные, и, будучи не в силах размежеваться по существу, ибо суть у них одна — дух, — соглашаются разграничить между собой время — на преходящее и вечное. Светская и церковная власти одинаково духовны, но первая — это дух времени, мирские и переменчивые взгляды общества, а вторая — дух вечности, взгляд Бога на мир и его судьбы.

В общем, сказать: «Тогда-то и тогда-то правил такой-то человек, народ или семья народов», — то же самое, что сказать: «Тогда-то и тогда-то преобладало такое-то мировоззрение — совокупность идей, пристрастий, чаяний и планов».

Как следует понимать такое преобладание? У большинства людей нет собственного мнения, и надо, чтобы оно входило в них извне под давлением, как смазка в механизм. А для этого надо, чтобы духовное начало, каким бы оно ни было, обладало властью и осуществляло ее, дабы те, кто не задумывался — а таких большинство, — задумались. Иначе сообщество людей станет хаосом и — хуже того — историческим небытием. Без мировоззрения жизнь утрачивает общий строй и органичность. Поэтому без духовной власти, без кого-то, кто правит, человечество погружается в хаос. И соответственно, всякое перераспределение власти, всякая смена господства — это одновременно и смена общественного мнения, а значит, изменение исторической гравитации.

Вернемся к началу. Несколько столетий в мире правила Европа, конгломерат духовно родственных народов. В пору Средневековья миром дольним не правил никто. И таковы все Средние века, какие только были в истории. Поэтому они выглядят довольно хаотическими и довольно варварскими, неспособными к суждениям. Это времена, когда много любят, ненавидят, жаждут, бунтуют — и все это с огромной силой. Но зато мало размышляют. Такие времена отнюдь не лишены привлекательности. Но великие века истории привлекают осмыслением того, чем живет человечество, и потому им присущ порядок. В средневековой Европе, однако, впервые возник прообраз Нового времени — такое Сред-

невековье, когда нашлось кому править, хотя бы частью мира. Великий властолюбец Рим навел порядок в Средиземноморье и соседних пределах.

В нашей послевоенной печати уже признается, что Европа больше не правит миром. Осознается ли вся серьезность этого признания? Оно предвещает перераспределение власти. Куда она сместится? Кто унаследует европейскую гегемонию? Да и где гарантия, что кто-то унаследует? И если никто, к чему это приведет?

2

Яснее ясного, что в мире каждый миг — а значит, и в данную минуту — творится все что угодно. Поползновение ответить на вопрос, что сейчас происходит в мире, должно восприниматься как самоирония. Но именно потому, что невозможно познать непосредственно всю полноту действительности, остается единственный выход — произвольно сконструировать реальность, определенный и предположительный порядок вещей. Так мы получим схему, то есть идею или систему идей. Затем мы прикладываем ее, словно координатную сетку, к живой действительности и тогда, только тогда, получаем об этой действительности приближенное представление. В этом и состоит научный метод, и не только. Это повседневная практика мышления. Когда мы, завидев на тропинке нашего друга, говорим: «Это Педро», — то сознательно и полусерьезно допускаем ошибку. Потому что «Педро» означает для нас упрощенный набор физических и душевных черт — так называемую характеристику, — и

совершенно ясно, что наш друг Педро ни на миг и почти ни в чем не совпадает с понятием «наш друг Педро».

Любое понятие, от самого тривиального до самого утонченного, заключено в самоиронию, как ограненный алмаз в золотую челюсть оправы. Со всей серьезностью говорится: «Вот А, а вот В». Но это серьезность издевки. Шаткая серьезность того, кто давится от смеха и, если не стиснет зубы, расхохочется. Он ведь отлично знает, что А, если начистоту, не есть А, как и В не есть В целиком и без остатка. На самом деле — и в этой двойственности заключается ирония — думается чуть иначе, чем говорится: я знаю, что, подходя строго, это не А, а это не В, но, признавая их таковыми, я определяю для себя жизненную позицию по отношению к тому и другому.

Такой взгляд на познавательную роль мышления возмутил бы грека. Греки считали, что в мышлении, в понятиях им открывается сама реальность. Мы же считаем, что идеи, понятия — это рабочие инструменты человека и служат они ему для того, чтобы прояснить его положение в той бездонной и архисмутной реальности, которой является его жизнь. Жизнь — это вызов всему сущему, чтобы выстоять в борьбе с ним. Идея — стратегический план отпора. И если докопаться до самой сути того или иного понятия, окажется, что оно ничего нам не скажет о природе вещей, но подытожит все, чем они могут служить или грозить человеку. К такому ограничительному выводу, что содержимое понятий всегда витально, что всегда это потенциальный поступок или промах, до сих пор, насколько я знаю, не приходил никто, но такой вывод, на мой взгляд, неизбе-

жен для того типа философского мышления, начало которому положил Кант. И если в его свете пересмотреть докантовскую философию, окажется, что все философы подспудно думали так же. Что ж, философское открытие и есть открытие, извлеченное из подспудного.

Но подобные вступления слишком обременительны для темы, крайне далекой от философских проблем. Я хотел сказать только то, что в мире — подразумевается, в историческом — сегодня происходит всего-навсего следующее: три века Европа правила миром, а сегодня она уже не уверена, что правит и тем более — что будет править. Конечно, все многообразие современной исторической реальности сводить к такой простой формуле, мягко говоря, самонадеянно, и приходится напоминать себе, что думать тоже самонадеянно, хочешь того или нет. Кто не хочет, пусть не раскрывает рта. Или того верней — пусть вообще не думает и убеждается, что это лучший способ поглупеть.

Я действительно думаю, что сказанное выше и есть то, что происходит сейчас в мире по существу; все остальное — это уже следствия, симптомы, подробности или просто курьезы.

Речь идет не о том, что Европа утратила власть, но лишь о том, говоря строго, что Европа наших дней глубоко сомневается, правит ли она сегодня и будет ли править завтра. Это рождает у других народов Земли ответное сомнение. Они тоже не уверены, что ими кто-либо правит.

Последние годы много говорилось о европейском упадке. Раз уж об этом зашла речь, горячо прошу не обращаться мгновенно мыслями к Шпенглеру. Задолго до его книги все только и говорили о закате Европы, и

своим успехом книга явно обязана тому, что ей уже предшествовали общая тревога и озабоченность, разного свойства и по самым разнородным причинам.

О европейском упадке столько говорено, что многими он стал восприниматься как нечто несомненное. Не потому, что многие уверились и убедились в нем, а просто потому, что привыкли принимать его на веру, хотя искренне не помнят, когда именно и с чего это началось. В недавней книге «Новое открытие Америки» ее автор Уолдо Фрэнк полностью исходит из того, что Европа агонизирует. При этом он не прибегает ни к анализу, ни к доказательствам и даже не видит проблемы в таком небывалом явлении, которое служит ему столь мощной посылкой. Не вдаваясь в подробности, он исходит из него, как из непреложного факта. И вот эта исходная святая простота сама по себе убеждает меня, что Фрэнк не только не верит в европейский упадок, но и вообще не тем занят. Он им пользуется, как трамваем. Банальности — трамваи мышления.

Так поступают многие, и даже целые народы. Народы в особенности.

Сегодня мир являет собой образец ребячества. Когда классу становится известно, что учителя не будет, ребячий табун шалает и стригунки встают на дыбы. Каждый счастлив избавиться от учительского гнета, сбросить узду правил, ходить вверх ногами и быть самому себе хозяином. Но поскольку утвержденных правилами дел и обязанностей больше нет, молодые силы не находят себе занятия, серьезного, осмысленного, постоянного и целенаправленного, и все, что остается, — это резвиться.

Фривольное зрелище бытия несмышленных народов выглядит плачевно. Ввиду того, что Европа, по слухам, находится в упадке и, стало быть, перестала править, каждый народ и народик резвится, гримасничает, хнычет или пыжится и тянется вверх, изображая взрослого, хозяина своей судьбы. Отсюда та бациллярная картина мира, где на каждом шагу кишат «национализмы».

В предыдущих главах я пытался обрисовать новый человеческий тип, который сегодня преобладает; я назвал его массовым человеком и отметил, что основная его черта — сознавая собственную заурядность, утверждать свое право на нее и не признавать авторитетов. Поскольку этот тип преобладает в каждом народе, естественно, что картина повторяется на международном уровне. Народы относительно массовые, народы-массы рады взбунтоваться против народов творческих — великого меньшинства, сотворившего историю. Забавно видеть, как та или другая карлица-республика тянется на цыпочках из своей глухомани, клянет Европу и грозит уволить ее из мировой истории.

Что происходит? Европа создала систему ценностей, действенность и плодотворность которой подтверждены веками. Эта система ни в коем случае не лучшая из возможных. Но она бесспорна, пока нет другой, хотя бы в зачатке. Чтобы превзойти ее, надо родить новую. Сейчас народы-массы спешат объявить устарелой ту систему ценностей, которую представляет собой европейская цивилизация, но, неспособные создать другую, они не знают, что им делать, и, чтобы убить время, резвятся.

Это первое, что происходит, когда миром никто не правит, — восставшие остаются без дела, без жизненной программы.

3

Цыган пришел на исповедь, но проницательный падре сперва осведомляется: учил ли он когда заповеди Божьи. «Хотел было, — отвечает цыган, — да прослышал, будто их отменяют».

Чем не сегодняшний день? В мире прослышали, что заповеди европейские устарели, и все — и люди, и народы — спешно пользуются возможностью жить без заповедей. Ибо других, помимо европейских, у них не было. Произошло не то, что обычно происходит, когда новая поросль теснит старую и молодое пламя свежего костра поглощает остатки полуугасшего. Это было бы в порядке вещей. Больше того, старое старо не от собственной старости, а оттого, что возникает новое и одной только своей новизной внезапно старит все предшествующее. Не будь детей, мы бы не старились или старились намного позже. То же происходит и с машинами. Автомобиль десятилетней давности выглядит куда старомодней, чем паровоз — двадцатилетней, и только потому, что новинки автомобильной техники быстрее сменяют одна другую. Упадок старого, вызванный ростом нового и молодого, — это признак здоровья.

Но с Европой происходит что-то странное и нездоровое. Европейские заповеди утратили силу, а других пока что не видно. Европа, говорят, перестает править, а заменить ее некому. Под Европой прежде всего и главным образом подразумевается триумвират Англии, Франции и Германии. На участке планеты, который они занимают, был выработан тот способ человеческого существования, в соответствии с которым преобразовывался мир. И если, как сейчас утверждают, эти три народа пришли

в упадок и жизненная программа их обесценена, нечего удивляться, что мир распадается.

А это чистая правда. Весь мир — начиная с человека и кончая целыми народами — распадается. Какое-то время этот распад радует и даже внушает смутную надежду. Подневольным кажется, что с них свалилась тяжесть. Заповеди с того самого дня, когда их запечатлели в камне и бронзе, хранят эту тяжесть. Этимологически «править» — руководить — означает заставлять, загружать человека, не давать его рукам воли. Правление — это неослабное бремя. Подневольные всего мира уже по горло сыты принуждением и понуканием, и для них празднично время, лишенное тягостного императива. Но праздник недолог. Без заповедей, диктующих образ жизни, она становится неприкаянной. Лучшие из молодых уже испытывают это нестерпимое внутреннее чувство. Ощувив себя свободными, ничем не связанными, не обремененными, они ощутили пустоту. Неприкаянная, невостребованная жизнь — больший антипод жизни, чем сама смерть. Жизнь — это обязательство что-то совершить, исполнение долга, и, уклоняясь от него, мы отрекаемся от жизни. Скоро, очень скоро отчаянный вопль охватит Землю и, как вой бездомных собак, достигнет неба, моля, чтобы кто-то или что-то явились и стали править, вернув людям заботы и обязанности.

Пусть усвоят это все те, кто с детским неразумием возвещает конец европейского правления. Править — это возвращать человека к делу, к собственному предназначению, к самому себе: не давать воли сумасбродству, которое легко оборачивается праздностью, опустошенностью, оскудением.

Конец правления Европы не представлялся бы столь серьезным, будь у нее преемник. Но ждать его неоткуда.

Нью-Йорк и Москва не обещают ничего нового. Это фрагменты европейского завета, которые в отрыве от остального утратили смысл. Признаться, разговор о Москве и Нью-Йорке раздражает, поскольку в точности неизвестно, что они такое, — известно только, что последнее слово о них еще не сказано. Но и неполного знания достаточно, чтобы угадать их природный смысл. Он вполне соответствует тому, что я неоднократно называл «феноменом исторического камуфляжа». По сути своей камуфляж — это реальность, которая оказывается иной, чем кажется. Облик ее, вместо того чтобы выявлять, прячет ее сущность. И поэтому легко обманывает. Избегать обмана способен лишь тот, кто заранее, в общем и целом, знает, что камуфляж возможен. Так происходит с миражами. Теоретическое знание исправляет ошибки зрения.

В случае исторического камуфляжа друг на друга накладываются две реальности — глубинная, подлинная, сущностная и внешняя, случайная, поверхностная. Так, у Москвы есть оболочка европейской идеи — марксизма, созданного в Европе применительно к европейским реалиям и проблемам. Под этой оболочкой — народ, не только этнически иной, чем европейские, но — что неизмеримо важнее — иного возраста. Народ еще не перебродивший, молодой, едва ли не юношеский. Победа марксизма в России, где нет промышленности, была бы величайшим противоречием, с каким только сталкивался марксизм. Но такого противоречия нет, поскольку нет и победы. В России не больше марксистского, чем было римского в германцах Священной Римской империи. У молодых народов нет идей. И если в окружающем пространстве живет или угасает старая культура, они маскируются теми идеями, которые она предлагает. В

этом камуфляж и его причина. Обычно забывается, как я не раз отмечал, что у народов бывают два типа развития. Одни народы рождаются в «мире», полностью нецивилизованном. Например, египтяне или китайцы. У таких народов все свое, и проявляется оно прямо и недвусмысленно. Но другие народы растут и развиваются в пространстве, уже обжитом вековой цивилизацией. Таков Рим, который поднялся из волн Средиземноморья, насыщенных культурой Эллады и Востока. Поэтому жесты у римлян наполовину свои, наполовину заимствованные. А любые заимствованные, затверженные жесты всегда двойственны, и свой подлинный смысл выражают не прямо, а косвенно. Все, что затвержено — ну хотя бы, например, слово чужого языка, — подспудно содержит и что-то исконное, свое — например, мысленный перевод на родной язык. Поэтому камуфляж для своего уяснения требует тоже косвенного взгляда — взгляда того, кто читает со словарем. Я надеюсь дождаться книги, где сталинский марксизм будет переведен на язык русской истории. Он силен тем, что есть в нем русского, а вовсе не тем, что в нем от коммунизма. Не будем же загадывать на будущее! Одно лишь достоверно: России потребуются еще века, чтобы принять бразды правления. Именно потому, что у нее нет еще заповедей, она притворяется верной европейским идеям Маркса. Именно потому, что у нее в избытке молодость, она обходится притворством. Для юноши жизнь не нуждается в оправданиях — ей достаточно отговорок.

Нечто схожее происходит и с Нью-Йорком. Неверно, что своей мощью он обязан тем заповедям, по которым живет. В конечном счете они сводятся к одному — к техницизму. Уже любопытно! Снова продукт европейский. Техника создавалась в Европе в течение XVIII и

XIX веков. Еще любопытней! Те же самые века, когда создавалась Америка. И нас еще уверяют, что секрет — в американской жизненной философии, что суть Америки — в ее практицизме и культе техники! Вместо того чтобы сказать: Америка, как и любая колония, способствует опрощению — или омоложению — древних рас, в особенности европейской. По-иному, чем Россия, Нью-Йорк на свой лад воплощает ту особую историческую реальность, о которой говорят «молодой народ». Это не фигуральное выражение, как принято думать, а реальность, и не меньшая, чем молодой человек. Америка сильна своей молодостью, которая служит современному культу «техники», как служила бы культу Будды, будь на повестке дня буддизм. Но при этом Америка только начинает свою историю. Ее тревоги и распри еще впереди. Ей предстоит еще много перевоплощений, в том числе — полярных практицизму и культу техники. Ведь Америке куда меньше лет, чем России. Я всегда, стараясь не сгущать краски, утверждал, что это полудикий народ, закамуфлированный новейшими изобретениями*. Подтверждение тому — книга Уолдо Фрэнка. Америка еще не испытана жизнью; наивно думать, что она способна править.

Кто противится пессимистическому выводу, что в мире некому править и, следовательно, история обращается в хаос, тот должен вернуться к исходной точке и спросить себя серьезно: так ли это верно, как говорят, будто Европа сейчас в упадке и отрекается от власти? Не принимается ли за упадок целительный кризис, который позволит Европе действительно стать Европой? И не покажется ли очевидный упадок европейских наций

* См.: Гегель и Америка // Эль Эспектадор. Т. VII. 1930. — *Примеч. автора.*

априорно необходимым, когда встанет вопрос о Соединенных Штатах Европы, о замене европейской раздробленности слаженным единством?

4

Власть и подчинение — решающие условия существования любого общества. Когда становится непонятно, кто правит и кто подчиняется, все идет бестолково, вкривь и вкось. Даже самое личное, святая святых каждого человека, кроме гениальных исключений, искажается и уродуется. Если бы человек был одиночкой и лишь от случая к случаю общался с остальными, тогда, быть может, ему не угрожали бы толчки, вызванные смещением или кризисом власти. Но человек органически социален, и его натуру будоражат и преображают те изменения, которые выглядят сугубо общественными. И если, выбрав наудачу, проанализировать психику отдельно взятого человека, по нему одному можно определить, какие в его стране понятия о власти и подчинении.

Было бы любопытно, да и полезно, подвергнуть такой проверке внутренний склад рядового испанца. Операция, впрочем, оказалась бы неприятной и, при всей полезности, унижительной, так что бог с ней. Но вскрылось бы немало тлетворного и низменного, обязанного тем низменным понятиям о власти и подчинении, которых Испания держалась веками. Низменность — не что иное, как изворотливое и ставшее привычным принятие того, что при всем согласии с ним продолжает оставаться недолжным и недостойным. Поскольку нельзя сделать естественным и здоровым то, что по сути своей урод-

ливо и преступно, человек приспособляется к нему, в конце концов полностью свыкаясь и срастаясь со злом. Словом, механика, вошедшая в поговорку: «Раз солгал, а лгуном навеки стал». Любой народ переживал времена, когда править им пытались недостойные, но здоровый инстинкт заставлял собрать все силы в кулак и покончить с этими незаконными притязаниями. Он сопротивлялся временному недугу и восстанавливал общественное здоровье. Но испанцы поступили наоборот: вместо того чтобы дать отпор той власти, которой противилась их совесть, они предпочли примириться с исходной ложью, извратив себя ради этого окончательно. Пока все остается по-старому, напрасно чего-то ждать от нашего народа. Достоинство держаться в истории — труд нелегкий и не по силам обществу, где власть — внешняя и внутренняя — требует бесчестности.

В общем, неудивительно, что стоит появиться неуверенности, легкому сомнению относительно того, кто в мире правит, как весь мир целиком — от общественной жизни до частной — устремляется к распаду.

Человеческая жизнь по самой природе своей должна быть отдана чему-то, великому или малому, блистательному или будничному. Условие странное, но непреложное, вписанное в нашу судьбу. С одной стороны, жить — это усилие, которое каждый совершает сам по себе и для себя. С другой стороны, если эту мою жизнь, которая принадлежит только мне и только для меня что-то значит, я ничему не отдам, она распадется, утратив напор и связность. Наше время — это зрелище бесчисленных человеческих жизней, которые заблудились в собственных лабиринтах, не найдя, чему отдать себя. Все веления, все наказания отменены. Казалось бы, лучшего и желать нельзя — ведь каждая жизнь вольна теперь де-

лать то, что ей по душе, вправе заняться собой. Как и каждый народ. Гнет Европы ослабел. Но результат оказался обратным ожидаемому. Освобождаясь, жизнь освободилась от себя, осталась опустошенной и неприка-
янной. И, сиюсь заполнить пустоту, она «ребячливо» придумывает саму себя, вместо дела довольствуется его суррогатом, не требующим ни ума, ни сердца. Сегодня — одно, завтра — другое, совсем обратное. Она заблудилась, оставшись наедине с собой. Эгоизм — заколдованный круг. Замкнутость. Жизнь — это выстрел в цель, движение к мишени. Цель — не само движение, не сама жизнь; цель — то, к чему я направил ее и что находится за ее пределами. Если я пожелаю двигаться только в ее пределах, эгоистически, я не продвинусь ни на шаг и не приду никуда — я буду кружить и кружить на одном месте. Это замкнутый круг, лабиринт, дорога в никуда, безвозвратный уход в себя.

После войны европейцы замкнулись в себе, сбились с дороги и сбили других. Исторически мы там же, где были десять лет назад.

Ни с того ни с сего не правят. Власть — это гнет. Но не только. Будь она только гнетом, все свелось бы к насилию, голому принуждению. Не забудьте, что у нее две стороны: принуждается кто-то, но принуждается он к чему-то. И то, к чему он принуждается, — это в конечном счете участие в замысле, в великом историческом предназначении. Не бывает могущества без программы жизни, точнее — без программы могущественной жизни. Как говорит Шиллер,

Монархи, чтобы строить,
должны торить дороги.

Словом, не надо поддаваться обывательской уверенности, что действия великих народов, как и великих людей, продиктованы чистым эгоизмом. Не так это легко, как кажется, быть чистым эгоистом, и никто из них не одерживал побед. Мнимый эгоизм великих народов и великих людей — это неумолимость, неизбежная для тех, чья жизнь целенаправленна. Когда делается настоящее дело и мы поглощены им, напрасно требовать, чтобы мы отвлекались на прохожих и разменивались на случайный и мелочный альтруизм. Иностранцев в Испании особенно чарует то, что на вопрос, где такая-то площадь или такое-то здание, спрошенный обычно прерывает путь и, благородно жертвуя временем и делами ради незнакомца, доводит его до нужного места. Не спорю, что добрым кельтибером движет известное благородство, и рад, что иностранец это чувствует. Но всякий раз, читая или слыша об этом, не могу отделаться от подозрения. А на самом ли деле мой соотечественник куда-то шел? Ибо вполне может оказаться и часто оказывается, что делал он это без малейшей надобности и вообще вышел в чужую жизнь поглядеть, не заполнит ли кто хоть немного его собственную. Я не раз убеждался, что мои компатриоты выходят на улицу в надежде, что попадется иностранец, которого можно проводить.

Плохо, что неуверенность в той власти над миром, которой до сих пор обладала Европа, деморализовала остальные народы, кроме, пожалуй, тех, что по возрасту еще не вышли из собственной предыстории. Но гораздо хуже, что это *piétinement sur place** готово полностью деморализовать самих европейцев. Говорю так не потому, что я европеец или что-то вроде того. И не хочу этим сказать, что если европейцы перестанут править

* топтание на месте (фр.).

миром, он утратит для меня всякий интерес. Для меня отставка Европы ничего бы не значила, существуй сегодня другой комплот народов, способный принять власть и руководить миром. Но даже не это меня заботит. Пусть хоть никто не правит, лишь бы не привело это к полному оскудению европейских достоинств и дарований.

Вот последнее было бы непростительным. Если европейцы свыкнутся с потерей власти, не сменится и двух поколений, как старый Запад, а за ним и весь мир впадут в душевную косность, умственное бесплодие и повальное одичание. Лишь иллюзия власти и рожденная этим дисциплина ответственности способны держать в напряжении европейские души. Наука, искусство, техника и буквально все дышат тем живительным кислородом, который источает сознание власти. Если ее не станет, европейцы начнут опускаться. Умы утратят ту врожденную веру в себя, что гнала их, неутомимых и упорных, на поиски великих, еще неизвестных идей. Европейцы станут будничными. Неспособные к щедрым творческим усилиям, живущие вчерашним днем, погрязшие в привычной рутине, они сделаются такими же плоскими, мелочными и бесплодными, как поздние эллины и византийские греки.

Творческая жизнь требует безупречности, строжайшего режима и самодисциплины, рождающих чувство собственного достоинства. Творческая жизнь деятельна, и возможна она только при двух условиях — или быть тем, кто правит, или быть в мире, которым правит тот, за кем мы полностью признаем это право. Или правлю я, или я повинуюсь. Повиноваться не значит терпеть — терпеть унижительно, — но, напротив, уважать того, кто ведет, и охотно следовать за ним — с радостью становясь под его широкое знамя.

5

Теперь вернемся к исходной точке — к тому крайне любопытному обстоятельству, что в мире последние годы без умолку твердят об упадке Европы. Любопытней всего то, что пресловутый упадок впервые заметили не иностранцы — открытие принадлежит самим европейцам. В остальном мире это никому и в голову не приходило, а в Германии, Англии и Франции кое-кому пришлось. Не переживаем ли мы упадок? Эта заразительная мысль получила хорошую прессу, и сегодня весь мир говорит о европейском упадке как о несомненном факте.

Но вежливо прервите говорящего и спросите, на каких конкретных и явных признаках основан его диагноз. Ответом будет воздымание рук к округлости мироздания и другие неопределенные жесты, характерные для утопающего. Он действительно не знает, за что ухватиться. Единственное, что без особых уточнений приводится в доказательство упадка, — это экономические трудности, с которыми сегодня сталкивается каждая европейская нация. Но когда начинает уточняться характер этих трудностей, выясняется, что ни одна из них серьезно не затрагивает возможностей экономического роста и что наш древний континент уже пережил гораздо более тяжкий кризис.

Быть может, германцы или бритты сегодня не ощущают себя способными производить как можно больше и лучше? В какой-то мере — да, и крайне важно в ряду экономических величин учесть этот внутренний фактор. Как ни странно, такой упадок духа происходит не от недостатка сил и способностей, а как раз наоборот — от ощущения избыточной, невиданной прежде силы, которая натывается на роковую стену и не может совершить

то, что совершила бы с легкостью. Роковые стены современной германской, английской или французской экономики — это политические границы современных государств. Таким образом, подлинные трудности коренятся не в той или другой, внезапно возникшей, экономической проблеме, а в том, что форма общественной жизни тесна для заключенных в ней экономических возможностей. На мой взгляд, чувство ущербности и бессилия, которое в последние годы, бесспорно, подтачивает европейскую жизнь, рождено этим несоответствием между размахом сегодняшних возможностей и рамками политического устройства, внутри которого они вынуждены осуществляться. Стремление разрешить насущные вопросы сильно как никогда, но оно сразу упирается в тесные перегородки, в те мелкие национальные устройства, на которые до сих пор раздроблена Европа. Угнетенный и подавленный, западный дух сегодня похож на ту ширококрылую птицу, что, слясь расправить маховые перья, обламывает их о прутья клетки.

Подтверждение тому — сходная картина в других областях жизни, внешне далеких от экономики. Например, в интеллектуальной жизни. Каждый подлинный интеллектуал Германии, Англии или Франции сегодня задыхается в национальных рамках, ощущая свою национальную принадлежность единственно как бремя. Немецкий профессор ясно сознает нелепости стиля, навязанного ему немецким профессорским окружением, и тоскует по той недоступной свободе, которой наслаждаются французский литератор или английский эссеист. Образованный парижанин, напротив, начинает понимать, что традиция литературного мандаринства, словесного формализма, на которую обрекает его французское происхождение, исчерпана, и

хотел бы, взяв из нее все лучшее, соединить его с достоинствами немецкой школы.

В области внутренней политики творится то же самое. Никто еще глубоко не проанализировал, почему так угасает политическая жизнь великих наций. Говорят, что демократические институты дискредитировали себя. Но тогда тем более надо понять, почему. Ибо это странная дискредитация. В любой стране ругают парламент, но ни в одной из тех, где он есть, — не ищут ему замены, не намечают даже утопических контуров иной формы правления, более привлекательной хотя бы в идеале. Значит, не стоит так уж верить в эту мнимую дискредитацию. Не институты как инструменты общественной жизни плохи, а то, чем они занимаются. Нет программы такого же масштаба, какого достиг жизненный заряд каждого европейца.

Налицо обман зрения, который сразу надо исправить, потому что уже набили оскомину ежеминутные глупости, в том числе и те, что говорятся в адрес парламента. Существует целый свод веских возражений против традиционных форм парламентской власти, но нетрудно убедиться, что ни одно из них не предполагает ее упразднения и все они, напротив, явно и прямо подводят к необходимости ее преобразования. А лучшая в устах человека похвала чему-либо — это требование его переделать и, следовательно, признать его нужным, годным и способным к обновлению. Современный автомобиль возник из нареканий в адрес автомобиля 1910 года. Но обывательское неуважение к парламенту возникает иначе. Говорят, например, что он недееспособен. Тогда надобно спросить, в чем. Дееспособность — это способность инструмента выполнять намеченные задачи. В данном случае задачей является разрешение каждым народом своих общественных проблем. И от любого, кто заявляет о недееспособности парламента, мы вправе тре-

бовать ясных представлений о том, как эти проблемы должны решаться. Если же такой ясности нет, если сегодня ни одному народу не ясно, хотя бы теоретически, что именно следует делать, бессмысленно обвинять в неспособности общественные институты. Полезнее вспомнить, что ни одно общественное устройство в истории не создало ничего лучше и успешней парламентских правлений XIX века. Факт настолько очевиден, что не считаться с ним попросту глупо. И не надо возможность и безотлагательность коренного преобразования законодательных собраний для «пущей» их успешности путать с утверждением их ненужности.

Дискредитация парламентской власти не имеет ни малейшего отношения к ее действительным недостаткам. Причина другая, не связанная с ней как с инструментом политическим. Причина в том, что европейцы не знают, на что эту власть употребить, не уважают устоев и целей своей общественной жизни — в общем, не питают иллюзий относительно того национального государства, к которому они приписаны и прикованы. Если взглядеться пристальней в пресловутую дискредитацию, выяснится, что граждане не уважают собственного государства, будь то Германия, Англия или Франция. Бесполезно менять детали государственного механизма, если беда не в них, а в самом государстве, которое стало тесным.

Впервые споткнувшись о национальные границы, европеец ощущает, насколько его экономические, политические, интеллектуальные запросы — то есть его жизненные возможности, жизненный размах — несоизмеримы с тем коллективным телом, в котором они томятся. И тогда он открывает для себя, что быть немцем, англичанином или французом провинциально. Он обнаруживает, что это уже нечто «меньшее», чем прежде, потому что прежде анг-

личанин, немец или француз считали себя, каждый в отдельности, мирозданием. В этом, по-моему, подлинный источник того упадочного настроения, которое гнетет европейца. Следовательно, источник чисто внутренний и парадоксальный, поскольку подозрение в собственной ущербности внушено не чем иным, как ростом сил и способностей, скованных устарелыми структурами.

Чтобы прояснить сказанное, мягко приземлим его и обратимся к чему-нибудь конкретному — например, к выпуску автомобилей. Автомобиль — изобретение целиком европейское. Тем не менее на первом месте сегодня американское производство. Вывод: европейское автомобилестроение находится в упадке. Однако европейские производители — конструкторы и промышленники — хорошо знают, что американская продукция обязана своим превосходством не каким-то особым достоинствам заокеанского населения, а той простейшей причине, что американский завод может беспрепятственно предлагать свою продукцию ста двадцати миллионам человек. Представим, что европейскому заводу открывается рынок, вобравший в себя все европейские государства вкупе с их колониями и протекторатами. Нет сомнений, что автомобиль, предназначенный пятистам или шестистам миллионам человек, был бы намного лучше и дешевле фордовского. Все совершенства американской техники — это почти целиком следствие, а не причина широты и однородности американского рынка. «Рационализация» производства — автоматическое следствие его масштабов.

Итак, подлинная картина европейского кризиса представляется такой: долгое и великое прошлое привело к новой жизненной ступени, где все разом возросло, но отжившие структуры этого прошлого стали карликовы-

ми и мешают росту. Европа утвердилась в форме маленьких наций. В известной мере национальная идея и национальное чувство были ее кровными детищами. И теперь она обязана перерасти себя. Таков контур гигантской драмы, которой предстоит разыгаться в ближайшие годы. Сумеет Европа освободиться от мертвого груза или останется навсегда погребенной под ним? Ибо однажды так уже было в истории, что великая цивилизация пала, не сумев сменить затверженные представления о государстве...

6

В свое время я уже описывал агонию и смерть античного мира и за подробностями отсылаю к написанному*. А сейчас рассмотрим эту тему в ином свете.

В истории греки и латиняне возникают как обитатели городов, *poleis*. Это достоверность таинственного происхождения, факт, из которого можно исходить, и только, — как зоолог исходит из того голого и необъяснимого факта, что *spheх*** живет жизнью бродячей, бесприютной и отдельной, а золотая пчела не существует вне роя, строящего соты***. Дело в том, что археология позволяет заглянуть на земли Афин и Рима до их возникнове-

* См.: О гибели Рима // Эль Эспектадор. Т. VI. 1927. — *Примеч. автора.*

** хищная оса, пескорой (*лат.*).

*** Именно так поступают физический и биологический разум, «естественнонаучный разум», тем самым доказывая, что он менее разумен, чем «исторический разум», ибо последний, когда он смотрит вглубь, а не вскользь, как на этих страницах, ни один факт не признает абсолютным. Для него «мыслить» означает растворять факты, чтобы обнаружить их исток. См. мою работу «История как система». — *Примеч. автора.*

ния. Но переход от этой предыстории, целиком сельской и невыразительной, к рождению города — совершенно нового плода, возвращенного землей двух полуостровов — остается тайной; неясна даже этническая связь между праисторическими племенами и теми странными общинами, что ввели в обиход человечества великое новшество — общественную площадь и вокруг нее отгороженный от мира город. В самом деле, лучшее определение города, полиса, весьма напоминает известный рецепт: взять дыру, обмотать ее потуже проволокой — и выйдет пушка. Потому что и город, или polis, начинается с пустоты — форума, агоры, а все остальное — только способ очертить ее контур. Полис изначально не скопление жилищ, а место общественных собраний, пространство, отведенное для гражданских дел. Город выстроен не как хижина или domus, чтобы укрываться от непогоды и продолжать род, не для частных и семейных нужд, а для того, чтобы решать общественные вопросы. И означает это ни больше ни меньше, как открытие нового пространства, куда более нового, чем пространство Эйнштейна. Прежде существовало единственное пространство — Земля, и это накладывало печать на ее обитателей. Крестьянин — как растение. И по сей день его существование, все, что он думает, чувствует, хочет, хранит печать растительной жизни, ее беспамятного сна. В этом смысле великие азиатские и африканские цивилизации были огромными антропоморфными джунглями. Но греко-римляне решают обособиться от земли, от «природы», от геоботанического космоса. Как это сделать? Как уйти человеку от земли? Куда податься, если земля — это весь мир, если она бесконечна? Очень просто: огородить клочок земли стенами, которые противопоставят замкнутое пространство бесконечному и бесформенному. Вот вам

и площадь. Это не закрытое сверху, как дом, убежище, подобное природным пещерам, но простое и полное отрицание природы. Клочок земли благодаря пограничным стенам порывает с остальным, отвлекается от него и противопоставляет ему себя. Малая мятежная земля, которая отпала от бескрайней и отстаивает свою независимость, — это упраздненная природа и, следовательно, пространство *suí generis**, совершенно новое, где человек освобождается от своей общности с растениями и животными, оставляет их снаружи и утверждает на особой, чисто человеческой почве. Это гражданская почва. Оттого Сократ, великий горожанин, тройной крепости городской экстракт, обронит: «У меня ничего общего с деревьями в поле, общее у меня с людьми в городе». Мыслимо ли такое для индуса или перса, для китайца или египтянина?

Вплоть до Александра и Цезаря греческая и римская история была непрерывной борьбой рационального города и растительного окружения, борьбой юриста и пахаря, *jus* и *rus*.

Не думайте, что все изложенное — это сугубо мое построение и к действительности приложимо чисто символически. С редким упорством, в самых древних и глубинных пластах памяти, обитатели греко-римского города хранят непозабываемое *synoikismos*. Итак, не надо искать текст — достаточно его перевести. *Synoikismos* — это памятный след готовности жить вместе: сожителство — в его двойном, физическом и юридическом значении. На смену растительному расползанию по земле пришло гражданское сплочение в городе. Город — это сверхдом, это преодоление дома, людского логова, создание новой структуры, более абстрактной и сложной,

* особого рода (лат.).

чем семейное *oikos**. Это республика, *politeia*, которая складывается не из мужчин и женщин, а из сограждан. Новое измерение, уже несводимое к первобытному и полуживотному, предложено человеческому существованию, и те, что прежде были просто человеческими особями, вкладывают в это новое всю свою энергию. Так возникает город и становится государством.

В известной мере все Средиземноморье всегда обнаруживало стихийную тягу именно к этой форме государства. С большей или меньшей отчетливостью в Северной Африке происходит то же самое («Карфаген» означает «Город»). Италия вплоть до XX века не изжила город-государство, да и наш Левант из всех сил держится за свой кантониальный сепаратизм — отрывку все той же тысячелетней приверженности**.

Город-государство ввиду относительной малочисленности его основ позволяет уловить специфику государственного начала. С одной стороны, понятие «государство» — держава — свидетельствует, что исторические силы пришли к равновесию и сдерживают друг друга. В этом смысле государство — противоположность историческому движению, сосуществование устойчивое, организованное, статичное. Но это впечатление неподвижности, покоя и завершенности заслоняет, как и всякое равновесие, ту динамику, которой государство рождено и держится. В итоге забывается, что созданное государство — всего лишь результат усилий, его создавших, исход долгой борьбы. Государству предшествует строитель-

* жилище (*греч.*).

** Было бы интересно проследить, как в Каталонии действуют заодно два враждебных начала — европейский национализм и полисный дух Барселоны, в которой вечно оживает душа древнего обитателя Средиземноморья. Я уже писал однажды, что левантинец — последний реликт *homo antiquus* / здесь: человека античного (*лат.*) / на нашем полуострове. — *Примеч. автора.*

ство государства, и вот они-то и есть источник и залог движения.

Этим я хочу сказать, что государство как общественную форму человек не получает готовым и без усилий, но должен ковать его, не щадя сил. Это не орда или племя и прочие сообщества, основанные на кровном родстве, о сплочении которых заботится сама природа, не нуждаясь в человеческих усилиях. Напротив, государство возникает, когда человек стремится выйти из того природного общества, в котором его держат узы крови. Говоря о крови, мы говорим и о прочих природных связях — например, о языке. С самого начала государство держится смешением кровей и наречий. Государство — преодоление всякой природной общности. Это метис и полиглот.

Следовательно, государство строится для объединения племен. Над зоологическим многообразием оно воздвигает абстрактное единообразие закона*. Разумеется, не юридическим единством вдохновляются творческие силы государства. Стимул у них иной, поважнее всяких законов, — воплощение жизненных замыслов, непосильных для крохотных племенных образований. В основании любого государства мы видим или угадываем силуэт великого предпринимателя.

Если взглянуть в историческую обстановку накануне рождения государства, картина всегда одна и та же: многообразие крохотных сообществ, организованных так, чтобы каждое могло жить само по себе и для себя, лишь иногда вступая в редкие, случайные контакты. Но несомненная внутренняя связь так же несомненно уступа-

* Юридическое единообразие не ведет к неизбежному централизму. — *Примеч. автора.*

ла место связям внешним, прежде всего торговым. Член каждой общины уже не жил лишь ее жизнью, но становился причастным к жизни иноплеменников, с которыми обменивался товаром и мыслями. Возникает расхождение между двумя видами общения, внутренним и внешним. Утвердившаяся общественная форма — право, «обычай», вера — служит внутреннему и затрудняет внешнее, новое и более обширное. В этих условиях государственное начало — путь к упразднению общественной структуры внутренних связей и к ее замене структурой, адекватной новым, внешним связям. Приложите это к современной европейской действительности, и абстрактные рассуждения разом обретут плоть и кровь.

Строительство государства невозможно, если народное сознание не способно отвергнуть привычную форму общежития и, мало того, вообразить новую, еще невиданную.

Такое строительство — это подлинное творчество. Первоначально государство возникает как чистый плод воображения. Воображение — освободительное начало в человеке. Народ способен создать государство в той мере, в какой он способен фантазировать. Оттого у всех народов наступал предел их государственного развития — предел, поставленный природой их воображению.

Греки и римляне, сумевшие придумать город, который одолел деревенскую разобщенность, застряли в городских стенах. И тот, кто хотел расковать античное сознание, освободить его от города, не сумел этого. Римская бедность воображения в лице Брута предпочла убить величайшую фантазию античности в лице Цезаря. Европейцам стоит сегодня вспомнить эту историю, ибо наша собственная готова раскрыться на той же странице.

Светлых голов, светлых в полном смысле слова, в античном мире, быть может, было всего две — Фемистокл и Цезарь, два политика. Бесспорно, были и другие, родившие немало светлых мыслей — математических, философских и натурфилософских. Но то был свет науки, то есть абстракций. Все, что говорит наука, абстрактно, а все абстрактное ясно. Так что ясность не столько в голове того, кто занят наукой, сколько в самом предмете занятий. По-настоящему темна и запутанна лишь конкретная, живая действительность, вечно неповторимая. Кто способен уверенно ориентироваться в ней, кто в общем хаосе событий различает их сиюминутную подоплеку, скрытную структуру времени — короче, кто не теряется в жизни, — только у того действительно светлая голова. Взгляните на окружающих — и увидите, насколько заблудились они в собственной жизни; они движутся, как лунатики, по краю своей судьбы, благополучной или злосчастной, и даже не догадываются, что с ними происходит. На словах они точно определяют самих себя и свое окружение, и, казалось бы, это свидетельствует о понимании того и другого. Но если бегло обозреть их понятия, обнаружится, что они несколько не отражают ту действительность, с которой кажутся соотнесенными, а если взглянуть поглубже, выяснится, что они и не претендуют на это. Все наоборот — человек пытается подменить ими свое видение мира, заслониться от собственной жизни. Потому что жизнь на первый взгляд — это хаос, в котором теряешься. Человек об этом догадывается, но боится оказаться лицом к лицу с грозной реальностью и отгораживается фантазмагорической завесой, на которой все изображено про-

сто и понятно. Его нимало не заботит, что его «идеи» неправдоподобны, — для него это окопы, чтобы отсидеться от собственной жизни, или страшные гримасы, чтобы отпугнуть реальность.

Светлые головы — те, кто избавляется от фантасмагорических «идей», смотрит на жизнь в упор и видит, что все в ней спорно и гадательно, и чувствует, что гибнет. А поскольку жить как раз и означает чувствовать себя гибнущим, только признание этой правды приводит к себе самому, помогает обрести свою подлинность, выбраться на твердую почву. Инстинктивно, как утопающий, человек ищет за что ухватиться, и взгляд его — трагический, последний и предельно честный, поскольку речь идет о спасении — упорядочивает сумятицу его жизни. Единственно подлинны мысли — мысли утопающего. Все прочее — риторика, поза, внутреннее фиглярство. Кто не чувствует, что действительно гибнет, тот погибнет обязательно — он никогда не найдет себя, не столкнется со своей подлинной сутью.

Это справедливо для всего, и даже для науки, несмотря на то что сама по себе наука — бегство от жизни (большинство людей науки отдается ей из боязни оказаться лицом к лицу с собственной жизнью; не светлые это головы — отсюда и прославленная их беспомощность в конкретных жизненных обстоятельствах). Наши научные идеи ценны ровно настолько, насколько безнадежной ощущали мы поставленную проблему, насколько хорошо видели ее неразрешимость и понимали, что не можем опереться ни на готовые теории, ни на рецепты, ни на постулаты, ни на словесные ухищрения.

Кто открывает новую научную истину, тому пришлось перелопатить почти все, чему выучился, и новое далось ему в руки, окровавленные от разгребания бесконечных общих мест.

Политика реальней науки, потому что складывается из неповторимых ситуаций, в которые человек, хочет он того или нет, внезапно погружается с головой. Это позволяет легче отличать светлые головы от набитых трухой.

Цезарь — высочайший, высший из всех нам известных, образец умения видеть сердцевину событий в момент общей сумятицы и пугающей смуты, в одну из самых хаотических минут, пережитых человечеством. И, словно не отказав себе в удовольствии получить отменить этот образцовый дар, провидение рядом поместило блистательную голову интеллектуала, Цицерона, призванную до конца дней своих путать все на свете.

Переизбыток удачи утяжелил политическое тело Рима. Город на Тибре, хозяин Италии, Испании, африканских провинций, эллинского и эллинистического Востока, казалось, вот-вот лопнет. Его общественные институты, по сути своей муниципальные, были так же нерасторжимы с городом, как гамадриады под страхом смерти — со своим родным деревом.

Судьба демократии при любой ее форме и развитости зависит от мелкой технической детали — процедуры выборов. Остальное второстепенно. Если избирательная система хороша и отвечает действительности, все идет хорошо; если нет, то как бы ни радовало остальное, все идет плохо. Рим начала I века до Рождества Христова всемогущ, богат и не знает соперников. Тем не менее это начало его конца, потому что упорно сохраняется нелепая избирательная система. Такая система нелепа, когда она лжива. Голосовать надо было в городе. Окрестные граждане уже не могли выбирать. А те, что разбрелись по всему римскому миру, и подавно. Поскольку

выборы были нереальны, приходилось их фальсифицировать, и кандидаты набирали банды из ветеранов и цирковых атлетов, которые с готовностью били урны.

Без опоры на подлинно всеобщее голосование демократические институты повисают в воздухе. Как повисают слова. «Республика не больше, чем слово». Это сказал Цезарь. Ни одна магистратура не пользовалась авторитетом. Вожди левых и правых, марины и суллы, нагтели в бесплодном диктаторстве, которое ни к чему не приводило.

Цезарь не излагал своих политических замыслов, он их просто осуществлял. То был Цезарь, а не учебник цезаризма, который потом из него сделали. Чтобы понять его замыслы, выход один — обратиться к его делам и назвать вещи своими именами. Разгадка в его главном подвиге — завоевании Галлии. Чтобы завершить его, он открыто восстал против законной власти. Во имя чего?

У власти стояли республиканцы — то есть консерваторы, преданные городу-государству. Их программа сводилась к двум пунктам. Первый: все римские неурядицы возникают из-за чрезмерной экспансии. Город не может управлять столькими народами. Всякое новое завоевание — это преступление против республики. Второй: чтобы избежать распада общественных институтов, необходим правитель, принцепс.

В слово «правитель» римляне вкладывали смысл, едва ли не противоположный нашему. Под этим понимался гражданин, точно такой же, как остальные, но наделенный высшими полномочиями с единственной целью — регулировать деятельность республиканских институтов. Цицерон в его труде «О республике» и Салюстий в его жизнеописании Цезаря суммируют упования всех закон-

ников — нужен *princeps civitatis**, нужен *rector rerum publicarum***, нужен *moderator****.

Решение Цезаря полностью противоположно консерваторскому. Ему понятно, что для исцеления недугов, вызванных прежними завоеваниями, нет иного средства, как только продолжать их, до конца принимая столь беспокойную судьбу. Особенно безотлагательно завоевание молодых народов, в недалеком будущем более опасных, чем растленный Восток. Цезарем движет необходимость полной романизации западных варваров.

Существует мнение (Шпенглер), что греки и римляне были неспособны ощущать время, видеть свою жизнь в ее временной протяженности. Они жили в настоящем. Подозреваю, что это ошибка или по крайней мере смешение понятий. Греки и римляне страдают удивительной слепотой по отношению к будущему. Они его не различают, как дальтоник не различает красный цвет. Зато жизнь их во всем опирается на прошлое. Прежде чем что-то совершить, они делают шаг назад, как Лагартихо перед последним ударом; в былом они ищут подобие возникшей ситуации и, отыскав, погружаются в настоящее, защищенные и скованные испытанным скафандром. Поэтому их жизнь — это в известном смысле непрерывное воскрешение. Жизнь архаизирована, и такой она была почти у всех людей древности. Но это все не означает, что они лишены чувства времени. Это лишь однобокий перекосяк его: недоразвитое чувство будущего и преувеличенное — прошлого. Мы, европейцы, всегда тяготели к будущему и верили, что там лежит главное пространство времени, которое для нас начиналось

* глава государства (*лат.*).

** распорядитель общественных благ (*лат.*).

*** управитель (*лат.*).

с того, что «будет», а не с того, что «было». Понятно, почему античная жизнь нам кажется вневременной.

Маниакальная привычка прикасаться к настоящему только в перчатках образцового прошлого перешла от античного человека к современному филологу. Он тоже слеп к будущему. Такой же ретроград, он занят поисками прецедентов, которые красиво именует буколическим словом «источник». Говорю это к тому, что еще античные биографы Цезаря отказались понять исключительность его личности, приписав ему подражание Александру. Схема утвердилась: если Александру не давали спать лавры Мильтиада, Цезарю вменялась бессонница по вине Александра. И так далее. Что ни шаг, то вспять; что ни день, то вчерашний. Современный филолог — отпрыск античного биографа.

Поверить, что Цезарь жаждал совершить нечто подобное тому, что совершил Александр — а в это поверили почти все историки, — значит отказаться от всякой попытки понять его. Цезарь — едва ли не противоположность Александру. Идея всемирного царства — единственное, что их роднит. Но эта идея рождена не Александром, а созрела в Персии. Тень Александра повела бы Цезаря на Восток, заворожила прошлым. Его решительный выбор Запада — лучшее доказательство стремления оспорить македонца. Да и не всемирное царство сулил очертя голову Цезарь. Его замысел был намного глубже. Это Римская империя, которая держится не Римом, а периферией, провинциями, что ведет к окончательному преодолению города-государства. Это — государство, где сотрудничают самые разные народы, где все связаны общими интересами. Не центр, который приказывает, и не периферия, которая подчиняется, а гигантский социальный организм, где каждая клетка — од-

новременно объект и субъект государства. Так выглядит современное государство, и поистине сказочным кажется провидческий дар Цезаря. Но замысел его требовал власти внеримской, антиаристократической, бесконечно вознесенной над республиканскими олигархами и над их принципсом, который был лишь *primus inter pares**. Такой исполнительной и представительной властью всемирной демократии могла стать только монархия с престолом вне Рима.

Республика, монархия! Два слова, что по ходу истории постоянно меняли свой исконный смысл; и, чтобы добраться до возможной их сути, надо всякий раз раскалывать орешек.

Доверенными лицами Цезаря, его непосредственными орудиями были не архаические городские светила, а безродные люди, энергичные и удачливые провинциалы. В роли министра при нем — Корнелий Бальб, гадитанский торговец, сын Атлантики.

Но идея Цезаря слишком опережала время. Неповоротливые латинские мозги были неспособны к такому скачку. Тень города, материалистически осязаемая, мешала римлянам «увидеть» невиданную структуру нового социального организма. Как могут составлять государство люди, не живущие в одном городе? Что это за форма общности, столь мудреная и чуть ли не мистическая?

Еще раз повторяю: реальность, именуемая государством, — не стихийное общежитие, созданное кровным родством. Государство начинается с того, что принуждает сосуществовать группы, природно разобщенные. И принуждение — это не голое насилие, но побудительный призыв, общее дело, предложенное разобщенным. Государство прежде всего — план работ и программа сотрудничества.

* первым среди равных (лат.).

Оно собирает людей для совместного дела. Государство — не общность языка или крови, территории или уклада жизни. В нем нет ничего материального, инертного, предварительного и предельного. Это чистый динамизм — воля к совместному делу — и потому у государственной идеи нет никаких природных ограничений*.

Блистателен известный политический девиз Сааведры Фахардо — стрела и под ней надпись: «Или взлетает, или падает». Это и есть государство. Движение, и только движение. Государство каждый миг — нечто достигнутое и устремленное. Как у всякого движения, у него есть *terminus a quo*** и *terminus ad quem****. Остановите в любое мгновение жизнь государства, но только настоящего, и обнаружится единство, которое кажется основанным на том или ином природном признаке — языке, крови, «естественных границах». Статический взгляд убеждает: это и есть государство. Но вскоре обнаруживается, что весь этот человеческий улей занят чем-то объединяющим — завоевывает народы, основывает колонии, объединяется с соседями. Словом, ежечасно преодолевает то, что казалось естественной основой его единства. В этом *terminus ad quem* и заключается подлинная суть государства, чье единство состоит именно в преодолении всякого предварительного единства. Когда этот порыв, устремление вдаль иссякает, государство гибнет, и единство, уже достигнутое и, казалось бы, настолько материализованное — нация, язык, природные границы, — бессильно помочь: государство разрушается, распадается, рассыпается прахом.

Лишь эта двойственность государственного бытия — единство достигнутое и единство больших масштабов,

* См. мою работу: Спортивная природа государства // Эль Эспектадор. Т. VII. 1930. — *Примеч. автора.*

** исходный пункт, начало (*лат.*).

*** конечный пункт, конец (*лат.*).

которое предстоит достичь — позволяет понять природу национального государства. Известно, что еще не удалось дать определение нации, если брать это слово в его современном значении. Для города-государства то было понятие совершенно четкое, в чем каждый мог убедиться собственными глазами. Но новый тип общности, зародившийся у галлов и германцев, весь политический дух Запада, смутен и неуловим. Филолог и современный историк, по-своему архаичный, так же озадачены этим удивительным явлением, как в свое время Цезарь или Тацит, которые пытались в римских терминах описать зарождающиеся государства за Рейном, Альпами или же за Пиренеями. Они их называли *civitas*, *gens*, *natio*, сознавая, что ни одно из названий не годится*. Это не *civitas* уже по той причине, что это не города**. Но не удастся даже размыть термин и обозначить им определенную территорию. Новые народы с поразительной легкостью меняют место обитания или по крайней мере расширяют или сужают его. Это и не этнические общности — народы, нации. Самый беглый взгляд убеждает в том, что новые государства сложились из общностей природно независимых. Это — смешение, сочетание кровей. Что же тогда нация, если не общность территории, или крови, или чего-то еще в том же роде?

В этом вопросе, как и в любом другом, помочь может только тщательное следование фактам. Что бросается в глаза, если взглянуть на эволюцию какой-либо из современных «великих наций»? Одна общая черта: то, что в какой-то момент казалось национальной принадлежностью, в следующий момент оказывается отвергну-

* Допш. Социальные и экономические основы европейской цивилизации. 1924. 2-е изд. Т. II. — *Примеч. автора.*

** Римляне не решались называть городами варварские поселения ввиду их крайней скученности. *Faute de mieux* (за неимением лучшего) они называли их *sedes ratorum* (становье, стан). — *Примеч. автора.*

тым. Сначала нацией кажется племя, а не-нацией — соседнее племя. Потом это союз двух племен, еще позже — нескольких, и вскоре это уже целое графство, или герцогство, или «королевство». Это Леон, но не Кастилия; потом Леон и Кастилия, но не Арагон. Всегда налицо два начала: одно изменчивое и вечно преодолеваемое — племя, союз племен, герцогство, «королевство», с их языками или диалектами, второе — постоянное, которое беспрепятственно пересекает все эти рубежи и домогается такой общности, какая прежде выглядела своей полной противоположностью.

Филологи — к ним я отношу всех, кто претендует сегодня считаться «историком» — упиваются прописными истинами, исходя из того, чем являются сейчас, в этот краткий миг, эти два или три века европейские нации, и полагая, что Верцингеториксу или Сиду Кампедору грезилась Франция от Сен-Мало до Страсбурга — и ни пядью меньше — или Гишпания от Финистерре до Гибралтара. Эти филологи, как наивные драматурги, почти всех своих героев исправно шлют на Тридцатилетнюю войну. Чтобы растолковать, как получились Испания и Франция, они предполагают, что задолго до того Испания и Франция уже стали едиными в недрах испанских и французских душ. Как будто испанцы и французы появились раньше, чем Испания и Франция! Как будто, чтобы выковать испанца и француза, не потребовался двухтысячелетний труд!

Истина в том, что современные нации выражают собой лишь упомянутое изменчивое начало, обреченное на преодоление. Сегодня это начало — не общность языка или крови, поскольку такая общность в Испании и Франции была результатом, а не причиной государственного объединения; сегодня это начало — «естественные границы».

Дипломату в его фехтовальном искусстве прощительно применять понятие естественной границы как *ultima ratio* своих обоснований. Но историку не следует отставивать его, как последний редут. Он не последний и даже не такой уж важный.

Надо помнить, как именно поставлен вопрос. Следует выяснить, что же такое «национальное государство» — то, которое мы привычно отождествляем с нацией, — сравнительно с другими типами государств, такими, как город-государство или другая крайность — империя, основанная Августом*. Сформулируем вопрос еще точнее и отчетливей: какая сила сделала реальным то существование миллионов людей под эгидой общественной власти, которое зовется Францией, Англией, Испанией, Италией или Германией? Она не была изначальной общностью крови, так как любой из этих людских массивов орошен самой разноплеменной кровью. Не была она и языковой общностью, так как люди, спаянные сегодня в государство, говорили, а иные и по сей день говорят на разных языках. Относительная общность языка и крови, которой сегодня гордятся — полагая, что стоит гордиться, — позднейший результат объединения политического. Следовательно, не кровь и язык создают национальное государство — наоборот, это оно уравнивает состав крови и артикуляцию звуков. И так

* Известно, что созданная Августом империя была противоположностью тому, что приемный отец его Цезарь хотел основать. Август действовал в духе Помпея, противника Цезаря. Лучшее, что на сегодняшний день написано об этом, — книга Эдуарда Мейера «Монархия Цезаря и принципат Помпея» (1918). Однако, будучи лучшей, она мне кажется слишком узкой; неудивительно: историков широкого полета сейчас нет. Книга Мейера направлена против Моммзена, который недостижим как историк, и хотя не трудно упрекнуть его в том, что он идеализирует Цезаря и превращает его в условную и сверхчеловеческую фигуру, суть политики Цезаря он, на мой взгляд, уловил лучше Мейера. Тоже неудивительно: Моммзен был не только великим филологом, но и изрядным футурологом. И прошлое он видит в той мере, в какой провидит будущее. — *Примеч. автора.*

было всегда. Крайне редко государство совпадало, если вообще совпадало, с изначальной общностью крови и языка. Испания сегодня национальное государство не потому, что все в ней говорят по-испански*, как и Арагон и Каталония были государствами не потому, что в один прекрасный день, удачно выбранный, их территориальные границы совпали с языковыми. Признавая всю ту казуистику, с которой сталкивает нас любая действительность, ближе к истине было бы предположение, что всякое языковое единство отстоялось в результате предварительного политического слияния**. Государство всегда было великим толмачом.

Все это старые открытия, и можно лишь удивляться тому упорству, с которым не перестают подпирать национальность языком и кровью. Я нахожу это столь же неблагодарным, сколь и нелепым. Ибо француз существованием своей сегодняшней Франции, как и испанец — своей Испании, обязан тому безымянному началу, чья энергия как раз и преодолевала тесноту кровного и языкового родства. Для того чтобы Испания и Франция сегодня были противоположностью тому, с чего они начинались.

К подобному же передергиванию прибегают, когда пытаются утвердить идею нации на территориальной основе, видя начало единства, несоизмеримого с языком и кровью, в географическом мистицизме «естественных границ». Знакомый обман зрения. Моментальный снимок сегодняшнего дня представляет нам

* Неверно даже и то, что все испанцы говорят по-испански, все англичане — по-английски, а все немцы — на верхненемецком наречии. — *Примеч. автора.*

** Сюда, понятно, не относятся koinon (koinon [греч.] — литературный греческий) и lingua franca (lingua franca [лат.] — язык франков) — языки не национальные, а предназначенные для межнационального общения. — *Примеч. автора.*

упомянутые народы размещенными на широких просторах континента или прилегающих островах. Из сиюминутных рубежей хотят сделать что-то вечное и духовное. Это, как говорят, «естественные границы», и в их «естественности» видится некая магическая предопределенность истории формой земной поверхности. Но миф мгновенно рушится от тех же самых доводов, что отвергли общность языка и крови как исток нации. И здесь тоже, вернувшись на несколько веков назад, застаем Испанию и Францию разобщенными на более мелкие нации со своими собственными, как водится, «естественными границами». Пограничные хребты будут пониже Альп или Пиренеев, а водные рубежи — поуже Рейна, Па-де-Кале или Гибралтарского пролива. Но это говорит лишь о том, что «естественность» границ весьма относительна. Она зависит от экономических и военных возможностей эпохи.

Историческая роль пресловутой «естественной границы» крайне проста: мешать экспансии народа. Народа А против народа В. Поскольку помеха для А — в общении или в завоевании — это защита для В. В понятии «естественная граница», таким образом, открыто обнаруживается куда более естественная, чем сами границы, возможность безграничной экспансии и слияния народов. Очевидно, лишь материальные помехи держат их в узде. Вчерашние и позавчерашние границы кажутся нам сегодня не основами французской или испанской нации, а, напротив, помехами, с которыми национальная идея сталкивалась в процессе объединения. Несмотря на это, мы силимся сделать окончательными и основополагающими границы сегодняшние, хотя для современных военных и транспортных средств они давно уже не помеха.

Если границы никак не могли быть национальной основой, какова же тогда их роль в образовании наций?

Крайне простая и крайне важная для понимания подлинного духа национальных государств по сравнению с городом-государством. Границы служили укреплению уже достигнутого политического единства. Следовательно, они были не основой нации, а, напротив, помехами этой основе и затем, однажды преодоленные, становились естественным средством упрочения единства.

Но точно такую же роль играют язык и кровь. Не природная их общность создала нацию, а, напротив, национальное государство в своем стремлении к единству столкнулось с разноплеменностью и разноязычием в числе прочих помех. Решительно одолев их, оно создало относительное единообразие, расовое и языковое, которое послужило упрочению единства.

Итак, ничего другого не остается, как покончить с давним и привычным передергиванием в вопросах национального государства и привыкнуть смотреть на трех китов, на которых якобы держится нация, как на изначальные помехи ее возникновению. Естественно, разоблачая такое передергивание, я рискую быть заподозренным в том же самом.

Надо отважиться видеть разгадку национального государства в том, что присуще ему именно как государству, в самой его политике, а не в посторонних началах биологического или географического свойства.

Почему на самом деле кажется необходимым обращаться к языку, крови и родной земле, чтобы понять удивительную природу современных наций? Просто потому, что в них мы наблюдаем близость и солидарность индивида с общественной властью, неведомые государству античному. В Афинах и Риме лишь немногие люди составляли государство; большинство — рабы, союзники, провинциалы, колонны — были только подданными. В Англии, Фран-

ции, Испании никто и никогда не был только подданным государства, но всегда — его соучастником, его частью. Форма, особенно правовая, этого единства с государством и внутри его в разное время бывала разной. Сильно различались ступени общественной лестницы, классы относительно привилегированные и классы относительно обездоленные; но если проинтерпретировать политическую ситуацию любой эпохи и воскресить ее дух, неизменно окажется, что каждый человек чувствовал себя субъектом государства, его участником и сотрудником.

Государство, каким бы оно ни было — первобытным, античным, средневековым или современным, — это всегда приглашение группой людей других людских сообществ для совместного осуществления какого-то замысла. Замысел, каковы бы ни были его частности, в конечном счете заключается в организации нового типа общественной жизни. Государство и программа жизни, программа человеческой деятельности и поведения, — понятия неразделимые. Различные классы в государстве рождены теми отношениями, на которых ведущая группа строит сотрудничество с другими. Так, античное государство никогда не достигает слияния с другими. Рим понуждает и воспитывает италиков и жителей провинций, но никогда не возвышает их до единства с собой. В самом городе не достигнуто политического сплочения граждан. Вспомним, что в республиканском Риме было, строго говоря, два Рима — сенат и народ. Государственное объединение так и не добилось достаточного взаимодействия между различными группами населения, по-прежнему посторонними и чуждыми друг другу. Поэтому в минуту опасности Империя не могла рассчитывать на патриотизм других и должна была защищаться исключительно своими административно-бюрократическими и военными средствами.

Эта неспособность любого греческого и римского общества к слиянию с другими обусловлена глубокой причиной, которую здесь не место разбирать подробно и которая в конечном счете сводится к одному: то сотрудничество, что является, хотим мы того или нет, сущностью государства, античный человек понимал просто, примитивно и грубо, а именно как дуализм управителей и управляемых. Риму подобало распоряжаться и не подчиняться, остальным — подчиняться и не распоряжаться*. Так государство воплощалось в *romaeum***, в городское тело, физически ограниченное стенами.

Но у новых народов образ государства утратил вещественность. Раз это программа совместного дела, то и выражается она в чистой динамике — в делании, в общности действия. Поэтому действенной силой государства, политическим субъектом становится всякий, кто годится в дело и предан ему, а кровь, язык, географическая и социальная принадлежность отходят на второй план. Не прежняя общность, давняя, привычная или полузабытая, дает права гражданства, а будущее единство в успешной деятельности. Не то, чем мы были вчера, а то, что мы собираемся сделать завтра, объединяет нас в государство. Отсюда та легкость, с которой политическое объединение на Западе преодолевает рубежи, непреодолимые для государства античного. И европеец

* Подтверждением служит то, что на первый взгляд кажется опровержением, а именно предоставление гражданства всем обитателям Империи. Поскольку предоставлялось оно лишь по мере того, как утрачивало черты политического статуса, превращаясь или просто в повинность и служение государству, или в пустой параграф гражданского права. Другого и не следовало ждать от цивилизации, для которой основополагающим началом было рабство. Для наших «наций» оно было всего лишь пережитком. — *Примеч. автора.*

** Букв.: незастроенная полоса земли по обе стороны городской стены (*лат.*).

рядом с homo antiquus* выглядит как человек, распахнутый будущему, который мысленно переносится в него и оттуда определяет свою позицию в настоящем.

Таким образом, политическая направленность неумолимо ведет ко все более широкому объединению, которому в принципе ничто не может воспрепятствовать. Возможности слияния безграничны. Слияния не только народа с народом, но даже — и в этом главное своеобразие национального государства — слияния социальных классов внутри каждого политического единства. Чем больше территориально и этнически растет государство, тем больше крепнет внутреннее сотрудничество. Национальное государство демократично по самой своей природе, более глубокой и решающей, чем внешние формы правления.

Любопытно, что все, кто полагает нацию изначальной общностью, сходятся на формуле Ренана как наилучшей, и только потому, что в ней к языку, крови и общим традициям добавляется новый компонент, именуемый «повседневным плебисцитом». Но всем ли понятно это выражение? И нельзя ли придать ему сегодня смысл, обратный тому, что вложил Ренан, и тем не менее оказаться ближе к истине?

8

«Общая слава в былом, общее согласие в настоящем, совместные великие свершения, совместная воля к новым свершениям — вот главные условия существования народа... Позади — бремя славы и ошибок, впереди — единая программа действий. Жизнь нации — это повседневный плебисцит».

* человек античный (лат.).

Такова знаменитейшая сентенция Ренана. Чему она обязана редким успехом? Несомненно, удачной концовке. Мысль, что нация — повседневный плебисцит, звучит для нас как весть о свободе. Кровь, язык и общая память статичны, фатальны, инертны и косны. Это оковы. Если бы нация заключалась только в них, она была бы позади и не требовала бы от нас равным счетом ничего. Это было бы то, что дается, а не то, что создается. И даже защищать ее в минуту опасности не имело бы смысла.

Вольно или невольно человеческая жизнь вечно захвачена чем-то грядущим. Ежесекундно мы прикованы к тому, что будет. Поэтому жизнь — поистине непрерывный и неустанный труд. Почему делать, вообще делать, безразлично что, означает осуществлять будущее? Даже если мы просто вспоминаем. Работа памяти в такие минуты спешит приблизить, немедленно обрести что-то новое, хотя новое — лишь радость от воскрешения прошлого. Эта непритязательная и нелюдимая радость только что, мгновение назад, представлялась нам как желанное будущее; на него и работала память. Ясно одно — буквально все обречает для человека смысл только как функция будущего*.

* Согласно сказанному, человек фатально футуристичен — иными словами, он живет преимущественно в будущем и преимущественно будущим. Тем не менее я противопоставляю античного человека европейцу, утверждая, что первый относительно замкнут для будущего, а второй относительно распахнут. Может показаться, что я сам себе противоречу. Но противоречие мнимо, если не упускать из виду, что человек — существо двоякое: с одной стороны, он — то, что есть, а с другой — это его представление о себе, более или менее с ним совпадающее. Разумеется, наши представления, пристрастия и желания могут упразднить нашу подлинную суть, но могут осложнить и преобразить ее. Античный человек и европеец равно озабочены грядущим, но греко-римляне подчиняют его власти прошлого, а мы предоставляем наибольшую автономию будущему, новизне как таковой. Этот антагонизм, обусловленный не природой, а пристрастиями, позволяет называть европейца футуристом, а античного человека — архатом. Знаменательно, что едва европеец пробудился и осознал себя, как тут же назвал свою жизнь новым временем. Новым — значит отрицающим старое. Еще в конце XIV века (притом в самых жгучих вопросах дня, подчеркивается современность и заходит, например, речь о *devotio moderna* (новом богочестии), своего рода авангардизме в «мистическом богословии». — *Примеч. автора.*

Если бы нация держалась лишь настоящим и прошлым, никто бы не стал защищать ее от опасности. Утверждать обратное — это лицемерие или недомыслие. Происходит иное — национальное прошлое отбрасывает отсветы своего обаяния, подлинного или мнимого, в завтрашний день. Нам кажется желанным то будущее, в котором наша нация продолжала бы жить. Потому-то мы и встаем на ее защиту, а не в силу общности языка, крови и памяти. Защищаясь, мы защищаем наше завтра, а не наше вчера.

В словах Ренана сквозит именно это: нация — лучший залог завтрашнего дня. Плебисцит голосует за будущее. И то, что будущее оказывается продлением прошлого, ничуть не меняет сути дела, а единственно лишь доказывает, что и определение Ренана тоже архаично.

Следовательно, государственное начало, воплощенное в национальном государстве, ближе к самой идее государства, чем античный полис или арабский «род», ограниченный узами крови. Действительно, национальное сознаниеотячено немалым балластом исторических, территориальных и кровных атавизмов, но тем удивительнее видеть, как неизменно побеждает иное начало, объединяющее людей притягательной программой жизни. Больше того, я бы сказал, что этот балласт прошлого и относительное пристрастие к чисто природным основам не изначальны в европейском сознании, а обязаны тому книжному толкованию, которое дал национальной идее романтизм. Если бы подобный взгляд на национальность утвердился в Средние века, то и Франция, и Англия, и Испания, и Германия так и остались бы недоношенными*. Поскольку упомянутый взгляд путает то, что движет и создает нацию, с тем, что укрепляет и сохраняет ее. Отнюдь не патриотизм — и

* Национальный дух чисто хронологически один из симптомов романтизма; оба они появляются в конце XVIII века. — *Примеч. автора.*

скажем это сразу и без обвиняков — создал нации. Утверждать обратное — наивность, о которой я уже упоминал и которую сам Ренан допустил в своей прославленной формуле. Если для существования нации необходимо, чтобы люди держались за свое общее прошлое, позволю себе спросить, как бы мы отнеслись к ним в те самые времена, которые сегодня стали для нас упомянутым прошлым. Очевидно, это общее прошлое должно было прекратиться, бесследно пройти, чтобы они наконец могли сказать: «Мы — нация». Не вредит ли здесь корпоративный грех филолога, архивиста, профессиональный угол зрения, который мешает видеть действительность, если она позавчерашняя? Филолог действительно, чтобы стать филологом, нуждается в прошлом, но нация не нуждается. Напротив: прежде чем занять общее прошлое, надо создать эту общность, а прежде чем создать ее, надо ее вообразить, захотеть, замыслить. И чтобы нация была, достаточно одного помысла, даже если она не сумеет осуществить его и потерпит крах, как не однажды случалось. Такие нации — например бургундцев, можно было бы назвать неудавшимися.

У жителей Центральной и Южной Америки общее прошлое с испанцами, общий язык, общая кровь, и тем не менее они не образуют единой нации. Почему? Не хватает одного и, видимо, самого главного — общего будущего. Испания не сумела создать такую программу коллективного будущего, которая увлекла бы эти близкие народы. И зоологическое родство не помогло. Плебисцит отклонил Испанию, и не выручили ни архивы, ни предки, ни память, ни «отчий край». Все это сплывает, когда есть главное, и только тогда*.

* Сегодня мы свидетели эксперимента, грандиозного и четкого, как лабораторный опыт, — нам предстоит увидеть, удастся ли Англии удержать в державном единстве различные части своей империи, предложив им притягательную программу будущего сотрудничества. — *Примеч. автора.*

Итак, я вижу в национальном государстве историческую структуру, родственную плебисциту. Все, чем оно представляется помимо этого, недолговечно и изменчиво, ограничивается содержанием, или формой, или мерой сплочения, избранной плебисцитом. Ренан нашел магическое слово, проливающее свет. Как рентгеновский луч, оно высвечивает потаенную суть нации, состоящую из двух ингредиентов: первый — это план совместного участия в общем замысле и второй — сплочение увлеченных замыслом людей. Эта общая увлеченность и создает ту внутреннюю прочность, которая отличает национальное государство от всех существовавших до него: если там единство создавалось и поддерживалось внешним давлением государства на разнородные группировки, то здесь державная мощь рождается из самопроизвольной и глубинной сплоченности «подданных». В действительности подданные и есть государство и не ощущают его — вот в чем небывалая новизна национального сознания — как постороннюю силу.

И все же Ренан сводит на нет или почти на нет свою удачу, придавая плебисциту ретроспективный смысл, относящийся к уже готовой нации, которую надлежит увековечить. Я бы предпочел поменять знак и применить формулу к нации *in statu nascendi**. Это кардинальный угол зрения. Ибо в действительности нация никогда не готова. В этом национальное государство отлично от остальных. Нация всегда или слагается, или разлагается. *Tetrium non datur*** . Сплоченность или обретается, или утрачивается, смотря по тому, насколько жизнеспособен замысел, который воплощает в данную минуту государство.

* в состоянии зарождения (лат.).

** Третьего не дано (лат.).

Поэтому было бы крайне полезно вспомнить целый ряд объединительных замыслов, которыми вдохновлялись человеческие массы Запада. Тогда бы выяснилось, насколько жили этим европейцы — не только в общественном плане, но и в самом житейском, — насколько они «входили в форму» или распускались в зависимости от того, была впереди перспектива или нет.

И еще одно стало бы ясным. Античная государственность именно потому, что она не требовала цементирующего согласия со своими замыслами, сплочения вокруг них, именно потому, что само государство представляло раз навсегда очерченный замкнутый круг — род или город, — была практически безграничной. Персы, македонцы или римляне могли объединить под своей властью часть мира. Поскольку единство не становилось внутренним, подлинным и окончательным, достаточным его условием была военная и административная удачливость завоевателя. Но на Западе национальное объединение неизбежно проходило ряд этапов. Следовало бы больше удивляться тому, что в Европе не возникло ни одной империи, соизмеримой с теми, которые были созданы персами, Александром или Августом.

В Европе процесс формирования наций происходил в такой последовательности. Первый этап. Тот сугубо европейский инстинкт, который побуждает мыслить государство как слияние разных народов для политического и духовного сотрудничества, сначала набирает силу среди племен наиболее близких географически, этнически и лингвистически. Не потому, что эта близость — основа нации, а потому, что близкие различия легче преодолеваются. Второй этап. Период консолидации, когда другие народы, за пределами новорожденного государства, воспринимаются как чужие и более или ме-

нее враждебные. Это период, когда национальное сознание приобретает оттенок нетерпимости, замыкается внутри государства, — в общем, то, что сейчас мы называем национализмом. Но в действительности, политически воспринимая других как чужеземцев и соперников, экономически, интеллектуально и духовно с ними сотрудничают. Националистические войны ведут к уравниванию материальных и духовных различий. Традиционные враги становятся исторически сходными. Мало-помалу на горизонте брезжит сознание того, что эти враги — такие же люди, как и мы. Тем не менее для нас они продолжают оставаться чужими и враждебными. Третий этап. Государство окончательно упрочилось. И возникает новая цель — присоединить народы, с которыми еще вчера враждовали. Растет убеждение, что по духу и складу они родственны нашему собственному народу и что вместе мы составим национальный союз перед лицом народов более отдаленных и все еще чуждых. Так вызревает новая национальная идея.

Поясню примером. Принято думать, что Испания — *Spania* — была национальной идеей еще во времена Сида, и столь долгую беременность удлинляют еще на несколько столетий, ссылаясь на святого Исидора, упоминавшего «мать-Испанию». Налицо, по-моему, грубейшее искажение исторической перспективы. Во времена Сида только Леон и Кастилия готовы были слиться в государство, и в этом леоно-кастильском единении и состояла тогда национальная идея, политически осуществимая. *Spania*, напротив, была плодом учености, понятием преимущественно книжным и, так или иначе, одной из тех плодотворных идей, что заронило в западную почву римское владычество. Под началом Рима «испанцы» привыкли быть административным целым, византийской епархией. Но эта ад-

министративно-географическая общность была не внутренней установкой, а внешним подчинением и стала своего рода неутолимой потребностью.

Как бы ни хотелось датировать испанскую национальную идею одиннадцатым веком, приходится признать, что она не достигала тогда даже той силы и определенности, которой обладало для эллинов четвертого века понятие «Эллада». А ведь Эллада так и не стала подлинно национальной идеей. Реальное историческое сопоставление выглядит так: Эллада для эллинов IV века и *Spania* для «испанцев» XI и даже XIV века была тем же, чем Европа для «европейцев» XIX века.

Отсюда видно, что задачи национального объединения возникают так же своевременно, как звуки мелодии. Вчерашнее сближение должно дождаться завтрашнего дня, чтобы вызвать бурю национальных чувств. Зато дождется оно почти наверняка.

Сейчас для европейцев наступает пора, когда Европа может обернуться национальной идеей. И куда менее утопично верить в это сегодня, чем предрекать в XI веке единую Испанию. Чем ревностней национальное государство Запада хранит свою подлинную сущность, тем неизбежнее оно высвободит ее в едином и грандиозном государстве континентальном.

9

Едва западные нации раздуваются до современных размеров, как вокруг них и под ними, словно фон, возникает Европа. Такова единая панорама, где они движутся с начала Возрождения и сами составляют эту ев-

ропейскую панораму, которую начинают уже безотчетно отделять от своего воинственного многообразия. Франция, Англия, Испания, Италия, Германия сражаются друг с другом, заключают союзы, расторгают их, создают новые. Но и война, и мир — все это, так или иначе, сосуществование, то, чего Рим ни войной, ни миром не сумел добиться от кельтиберов, галлов, бриттов и германцев. История на первый план выдвигает распри и вообще политику, которая приносит поздние плоды единства, но пока на одном клочке земли дерутся, на ста торгуют с неприятелем, обмениваются идеями, художественными формами и религиозными догматами. Кажется, что весь этот воинский чад — лишь дымовая завеса, за которой еще упорней делают свое дело кроткие полипы мира, переплетая судьбы враждебных народов. Сходство душ растет с каждым поколением. Или — говоря иначе, построже и с оглядкой — французская душа, и немецкая, и испанская были, есть и будут сколь угодно разными, но психологически они строятся по одному замыслу, в одном архитектурном стиле и, главное, из одного строительного материала. Религия, наука, право, искусство, общественные и чувственные вкусы становятся общими. Но ведь эта духовная пища — то, чем живут. И родство в итоге оказывается большим, чем если бы все души кроились по одной мерке.

Если ревизовать сегодня наш умственный багаж — взгляды, убеждения, пристрастия, догадки, — нетрудно убедиться, что львиную долю всего этого испанцу дала не Испания, как и француз не Франция, но общий европейский фон. В итоге сегодня в каждом из нас весомей то, что в нас есть европейского, а не наши французские, испанские и тому подобные особенности. Если бы воображаемый экспериментатор заставил нас жить лишь

тем, что в нас «национально», и фантастическим способом ампутировал у рядового француза все те привычки, мысли и чувства, что внушены ему другими народами континента, результат был бы ужасающим. Оказалось бы, что бедняге нечем жить, что все его внутреннее достояние на четыре пятых состоит из бесхозного европейского скарба.

Не нам, обитателям этой части планеты, гадать, нет ли впереди чего позаманчивей, чем исполнение завета, вот уже четыре столетия заключенного в слове «Европа». Но помехой этому старые национально-государственные предрассудки, взгляд на нацию как на прошлое. Неужели европейцы — тоже дети Лотовой жены и твердо намерены творить историю, оглядываясь назад? Пример Рима и вообще античности должны бы предостеречь нас; крайне трудно людям определенного склада избавиться от идеи государства, раз навсегда засевшей в голове. К счастью, идея национального государства, которую сознательно или безотчетно воплощали европейцы, далека от той книжной, филологической идеи, которую им проповедовали.

Подведем итоги сказанному. Мир сегодня глубоко деморализован, и один из симптомов этого — разнузданный бунт масс, а источником недуга стала Европа. Причин тому много, но одна из главных — перераспределение власти, которую прежде осуществлял над собой и остальным миром наш континент. Европа больше не уверена, что правит, и остальной мир тоже. Историческая верховная власть распалась.

Уже нет «полноты времени», поскольку она предполагает ясное, однозначное и предрешенное будущее, как это было в XIX веке. Тогда не сомневались в том, что

произойдет завтра. Но сейчас опять распахнуты неведомые горизонты, ибо неизвестно, кто будет править, какой будет власть над миром. Что означает: какой народ или группа народов, то есть какой этнический тип, а следовательно — какая идеология, какой свод правил, пристрастий и жизненных установок...

Неизвестно, какой новый источник гравитации вскоре рассортирует и упорядочит человеческую взвесь, и потому жизнь во всем мире погрузилась в непристойное безвременье. Все, что сегодня творится в общественной и частной жизни, вплоть до самого личного, буквально все, за исключением отдельных областей знания, все временно, на скорую руку, все только отсрочка. Кто не верит, пусть оглянется на все то, что ставится сейчас во главу угла, провозглашается, внедряется, перевозносится. Все готово исчезнуть еще быстрее, чем возникло. Все, от культа спорта (культа, а не самого спорта) до политического насилия, от «нового искусства» до солнечных ванн на смехотворных модных пляжах. Все это беспочвенно, потому что целиком выдуманно — в худшем смысле слова, низводящем фантазию до пустой причуды. Ничто не вышло из недр самой жизни; ни в чем нет ни подлинной нужды, ни подлинного жара. Короче, все это подделка под жизнь. Все противоречит непритворному складу жизни и одновременно подделывается под него. А жизнь лишь тогда неподдельна, когда все в ней вызвано насущной и непреложной потребностью. Сейчас нет ни одного политика, который ощущал бы свой путь неизбежным, и чем размашистей его жесты, тем они вздорней, тем меньше в них судьбы. Нет жизни подлинней, природней, самопроизвольней, чем

та, что складывается из неотвратимых событий. А все, что в наших руках, все, что мы вольны принять, отвергнуть, заменить чем-то другим, — все это подделки.

Сегодняшняя жизнь — это плод междуцарствия, пустота между двумя формациями исторической власти — той, что была, и той, что назревает. Оттого она временна по самой своей сути. Ни мужчины толком не знают, чему им по-настоящему служить, ни женщины — каких мужчин им по-настоящему любить.

Европейцы не способны жить, если они не захвачены каким-то великим связующим замыслом. Когда его нет, они опускаются, обмякают, поддаются душевной усталости. Нечто подобное уже происходит сейчас. Те единства, что до сих пор именовались нациями, приблизительно век назад достигли своего апогея. С ними нечего больше делать, кроме одного — преодолеть их. Сегодня это уже только прошлое, которое копится под ногами европейца, обступает, угнетая и отравляя его. При большей, чем когда-либо, жизненной свободе особенно ощутимо, как удушлив воздух внутри каждой нации, ибо это воздух тюрьмы. Национальные государства, с их когда-то вольной атмосферой открытости и свежести, обернулись захолустьем и превратились в «интерьер».

Все ощущают необходимость новых основ жизни. Но некоторые, как обычно и происходит при подобных кризисах, пытаются спасти положение, искусственно усугубляя и доводя до крайности именно отжившую основу. В этом объяснение «националистического» взрыва в наши дни. И так, повторяю, происходило всегда. Последний жар дольше гаснет. Последний вздох — самый глубокий. Границы перед отмиранием болезненно воспаляются — и военные, и экономические.

Но всякий национализм — тупик. Метя в завтрашний день, упираются в стену. Здесь путь обрывается и не ведет никуда. Национализм — это шараханье в сторону, противоположную национальному началу. Оно собирательно, а национализм исключителен и лишь отторгает. Однако в пору упрочения нации он в почете и играет положительную роль. Но в Европе все уже слишком упрочено, и сегодня национализм не больше чем мания, способ уклониться от великих замыслов и творческого долга. Та простота, с которой он орудует, и тот сорт людей, которых воспламеняет, с головой выдают его враждебность историческому творчеству.

Только решимость европейских народов сплотиться в одну великую нацию могла бы оживить пульс Европы. К ней вернулась бы вера в себя и попутно — требовательность к себе и дисциплина.

Положение дел намного хуже, чем принято считать. Годы идут, и растет опасность, что европеец смирится с тем минорным существованием, в котором прозябает, что он разучится управлять и другими, и собой. Тогда все его достоинства и дарования развеются прахом.

Но объединению Европы противятся, как и всегда при строительстве государства, консервативные классы. Это грозит им катастрофой, ибо к абстрактной опасности, что Европа деморализуется окончательно и утратит всю свою историческую энергию, добавляется весьма конкретная и неминуемая. Когда в России победил коммунизм, многие уверились, что красная лава затопит весь Запад. Я не разделял этих страхов. Напротив, я в те годы писал, что русский коммунизм — это снадобье, противопоставленное европейцам, человеческой касте, поставившей все свои силы и все свое рвение на карту Индивидуальности. Время прошло, и вчерашние паникеры

обрели спокойствие. Обрели только сейчас, когда самое время его утратить. Потому что сейчас победный вал коммунизма действительно может затопить Европу.

Я исхожу из следующего допущения: сейчас, как и прежде, русский символ коммунистической веры не привлекает европейцев, не убеждает и не рисует им желанного будущего. И не от убогости доводов, которыми его апостолы, упрямые, глухие и недобросовестные, как и все апостолы, привыкли жонглировать. Западные буржуа отлично знают: кто живет только на ренту и передал ее детям, тот и без коммунизма долго не протянет. Европейский иммунитет к большевистской вере обязан не догматам и уж тем более не страху. Сейчас нам кажутся довольно смехотворными те произвольные допущения двадцатилетней давности, на которых Сорель строил свою тактику насилия. Буржуа далеко не так боязливы, как ему думалось, и сегодня склонны к насилию куда больше, чем рабочие. Ни для кого не тайна, что если в России большевизм победил, то победил потому, что в России не было буржуазии*. Фашизм, явление мелкобуржуазное, превзошел насилием все рабочее движение, вместе взятое. В общем, иная причина мешает европейцу на всех парах двинуться к коммунизму. Причина изначальная и простая — ему не кажется, что коммунистическая организация прибавит человеку счастья.

И все же, повторяю, более чем вероятно, что в скором времени Европа станет восторгаться большевизмом. И не благодаря ему, а несмотря на него.

Представим, что исполинский «пятилетний план» осуществит цели, преследуемые правительством, и гигант-

* Одно это уже убеждает раз и навсегда, что социализм Маркса и большевизм — два исторических феномена, у которых едва ли есть общие точки соприкосновения. — *Примеч. автора.*

ская русская экономика будет не только восстановлена, но и расцветет. Какова бы ни была суть большевизма, это грандиозный пример человеческого замысла. Люди взяли на себя судьбу переустройства, и напряженная жизнь их — подвижничество, внушенное верой. Если мировая материя, глухая к порывам человеческого духа, не задушит это начинание, оставив ему хоть какую-то степень свободы, отсвет великого замысла просияет на европейском горизонте, как новорожденная звезда. Неужели Европа, влача свое полурастительное существование, дряблкое и недостойное, без новой жизненной программы, сумеет устоять перед заразительной силой такого вдохновляющего примера? Надо плохо знать европейца, чтобы думать, будто он не загорится, услышав этот призыв к новому делу и не найдя под рукой другого, но столь же высокого знамени, достойного быть поднятым наперекор. Не так уж невероятно, что европеец, с его жадной службой чему-то, что сделает жизнь осмысленной, и уйти от пустоты своего существования, подавит внутренний протест и будет захвачен пусть не самим коммунизмом, но его нравственным порывом.

В строительстве Европы как великого национального государства я вижу единственное, что можно противопоставить победе «пятилетнего плана».

Знатоки политэкономии уверяют, что такая победа маловероятна. Но слишком низко было бы антикоммунистам уповать на материальные трудности противника. Его крах означал бы всеобщее поражение всех и вся, крах современного человека. Коммунизм — это крайне странная нравственность, но это нравственность. Не достойней ли и плодотворней противопоставить его славянской морали обновленную западную, новый жизненный стимул?

XV

ПЕРЕХОДЯ К СУТИ ДЕЛА

Суть такова: Европа утратила нравственность. Прежнюю массовый человек отверг не ради новой, а ради того, чтобы, согласно своему жизненному складу, не придерживаться никакой. Что бы ни твердила молодежь о «новой морали», не верьте ни единому слову. Утверждаю, что на всем континенте ни у кого из знатоков нового *ethos** нет и подобия морали. И если кто-то заговорил о «новой» — значит, замыслил новую пакость и ищет контрабандных путей**.

Так что наивно укорять современного человека в безнравственности. Это не только не заденет, но даже польстит. Безнравственность нынче стала ширпотребом, и кто только не щеголяет ею.

Если отвлечься, как мы и делали, от пережитков прошлого — христиан, идеалистов, старых либералов и т.д., — то среди современных альянсов не найдется ни одного, который не исходил бы из убеждения, что за ним числятся все права и ни единой обязанности. Не важно, рядятся ли при этом в реакционеров или революционеров: под любой личиной и при любом удобном случае решительно отбрасывают обязанности и притязают, сами не ведая почему, на неограниченные права.

Что бы ни одушевляло, все сводится к одному и становится предлогом не считаться ни с кем и ни с чем. Если кто-то играет в реакционера, то наверняка для того, чтобы под видом спасения отечества и государства сров-

* нравы (греч.).

** Не знаю, найдется ли сейчас десяток людей, рассеянных по миру, которые видят воочию ростки того, что со временем действительно может стать новой моралью. И уж, конечно, не эти люди делают погоду. — *Примеч. автора.*

нять с землей все остальное и с полным правом топтать ближнего, особенно если тот чего-то стоит. Но и в революционеров играют с той же целью: наружная одержимость судьбой угнетенных и социальной справедливостью служит маской, освобождающей от досадной обязанности быть правдивым, терпимым и, главное, уважать человеческие достоинства. Я знаю немало людей, которые вступили в ту или иную рабочую партию лишь затем, чтобы обрести внутреннее право презирать интеллигенцию и не смотреть на нее снизу вверх. Что же до диктатур, то мы уже налюбовались, как там льстят толпе и топчут все, что выше ее уровня.

Отвращением к долгу отчасти объясняется и полусмешной-полупостыдный феномен нашего времени — культ «молодежи» как таковой. Все от мала до велика подались в «молодые», прослышав, что у молодых больше прав, чем обязанностей, поскольку последние можно отложить в долгий ящик и приберечь для зрелости. Молодость как таковую всегда освобождали от тяжести свершений. Она жила в долг. По-человечески так и должно быть. Это мнимое право ей снисходительно и ласково дарят старшие. И надо же было настолько одурманить ее, что она и впрямь сочла это своим заслуженным правом, за которым должны последовать и все прочие заслуженные права.

Как ни дико, но молодостью стали шантажировать. Вообще мы живем в эпоху всеобщего шантажа, у которого два облика с дополняющими друг друга гримасами — угрозой насилия и угрозой глумления. Обе служат одной цели и равно пригодны для того, чтобы людская пошлость могла и не считаться ни с кем и ни с чем.

Поэтому не стоит облагораживать нынешний кризис, видя в нем борьбу двух моралей или цивилизаций, обреченной и новорожденной. Массовый человек попросту лишен морали, поскольку суть ее — всегда в подчинении

чему-то, в сознании служения и долга. Но слово «попросту», пожалуй, не годится. Все гораздо сложнее. Попросту взять и избавиться от морали невозможно. То, что грамматически обозначено как чистое отсутствие — безнравственность, — не существует в природе. Если вы не расположены подчиняться нравственным устоям, будьте любезны подчиниться иной необходимости и *velis polis** жить наперекор им, а это уже не безнравственность, но противонравственность. Не просто отрицание, но антимораль, негатив, полный отгиск морали, сохранивший ее форму.

Как же умудрились уверовать в антиморальность жизни? Несомненно, к этому и вела вся современная культура и цивилизация. Европа пожинает горькие плоды своих духовных шатаний. Она стремительно катится вниз по склону своей культуры, достигшей невиданного цветения, но не сумевшей укорениться.

В этой работе я попытался обрисовать определенный тип человека и главным образом его взаимоотношения с той цивилизацией, которой он порожден. Это было необходимо потому, что персонаж моей книги знаменует собой не торжество новой цивилизации, а лишь голое отрицание старой. И не надо путать его психограмму с ответом на главный вопрос: каковы же коренные пороки современной европейской культуры? Ведь очевидно, что ими в конечном счете и обусловлено сегодняшнее преобладание этой человеческой особи.

Но такой ответ ввиду непомерной трудности вопроса выходит за рамки книги. Понадобилось бы развить во всей полноте ту концепцию человеческого существования, которая здесь едва намечена и звучит побочно. Об этом говорится вскользь и вполголоса, а скоро, быть может, придется кричать.

1930

* волей-неволей (лат.).

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ «ВОССТАНИЯ МАСС»

Эта книга — если признать ее книгой — датируется... Публиковаться она начала в 1926 году в мадридской газете, и на содержании, слишком человеческом, не могло не сказаться время. К тому же бывают периоды, когда мир убыстряется и движется с головокружительной скоростью. На нашу долю выпала одна из таких эпох, чересполосица подъемов и падений. Поэтому события обогнали книгу. Немало предвидений, в ней сделанных, вскоре сбылось и уже стало прошлым. Кроме того, за годы хождения этой книги вне Франции многие ее положения дошли до французского читателя в анонимном виде и успели стать общим местом. Словом, налицо прекраснейшая возможность совершить доброе дело, самое гуманное в наши дни, — не печатать лишнюю книгу. Сам я так и поступал — вот уже пять лет, как издательство Stok предложило мне перевести эту вещь. Однако я убедился, что органическое целое изложенных в ней мыслей французскому читателю неведомо, и верно оно или нет, но предложить его для читательских размышлений и критики представляется нелишним.

В последнем я не слишком уверен, но это не столь уж и важно. Важно, однако, чтобы к чтению приступали

без напрасных надежд. Перед вами всего-навсего ряд статей, опубликованных в мадридской газете. Как почти все мной написанное, эти страницы адресованы немногим испанцам, с которыми свела меня судьба. Кто поручится, что мои слова, сменив адресата, донесут до французов то, что собирались? Трудно рассчитывать на удачу, особенно мне, убежденному, что говорить — занятие призрачное, куда призрачней, чем принято думать. Впрочем, как и все или почти все, что делает человек. Речь именуется средством для выражения наших мыслей. Но всякое определение верно, если оно иронично и подразумевает исключения, а воспринятое иначе — ведет к печальным недоразумениям. Так уж повелось.

Не суть важно, что речь — это еще и средство скрывать мысли, то есть попросту лгать. Ложь не могла бы существовать, не будь наша речь изначально и обычно искренней. Фальшивая монета ходит, опираясь на доверие к полноценной; в конце концов обман — лишь убогий прихлебатель честности. Нет, не этим опасно вышеупомянутое определение — опасно то благодушие, с которым мы привыкли его выслушивать. Ведь само по себе это определение не уверяет нас, что с помощью языка мы можем выразить все наши мысли достаточно адекватно. Этого оно нам не обещает, но и не позволяет также взглянуть в лицо истине: люди не понимают друг друга и, обреченные на фатальное одиночество, изнемогают от усилий достучаться к ближнему. Язык — одно из этих усилий, способное иногда с наименьшей приблизительностью выявить то, что творится у нас внутри. Только и всего. Но обычно мы не пользуемся этими исключениями. Наоборот, когда человек раскрывает рот, он делает это потому, что верит, будто может высказать все, что думает. Это иллюзия. Язык не дает нам такой

возможности. Он передает, более или менее, часть того, что мы думаем, и ставит неодолимую преграду перед остальным. Если для математических изложений и доказательств он еще пригоден, то применительно к физике уже неточен и недостаточен. И, соответственно, когда речь заходит о более важном, более человеческом, более «реальном», неточность, неясность и неуклюжесть языка стремительно нарастает. Следуя застарелому предрасудку, мы говорим и слушаем с такой простодушной уверенностью, что нередко понимаем друг друга хуже, и намного хуже, чем в те минуты, когда молча силимся угадать чужие мысли.

Упускается из виду, что говорить — это не просто говорить что-то. Всегда кто-то говорит кому-то, всегда налицо передатчик и приемник, отнюдь не сторонние к значению слов. И значение меняется, когда меняются они. *Duo si dicunt, non est idem**. Слово условно. По сути своей речь — это диалог, и все иные виды речи уступают ему в действенности. Думаю, что книга лишь тогда хороша, когда втягивает нас в потаенный диалог и мы чувствуем, что автор умеет конкретно видеть своего читателя, а последний способен ощутить руку, которая тянется к нему из-за строк, чтобы приласкать либо дать пощечину.

Злоупотребление словом подорвало к нему доверие. Злоупотребление, как водится, состояло в неосторожном употреблении, без знания возможностей инструмента и пределов этих возможностей. Почти два века считалось, что говорить — значит говорить *urbī et orbī***, то есть говорить всем и никому. Я ненавижу эту манеру и страдаю, когда не знаю конкретно, кому я говорю.

* Двое, говоря одно, говорят разное (лат.).

** городу и миру (лат.).

Рассказывают, не настаивая, впрочем, на достоверности, что в юбилей Виктора Гюго были устроены торжества в Елисейском дворце, где соревновались в поздравлениях представители разных стран. Великий Гюго стоял посреди приемного зала в позе статуи, опершись локтем о камин. Посланники представляли перед публикой и вручали торжественный адрес гению Франции. Церемониймейстер голосом Стентора объявлял: «Представитель Англии!» И Виктор Гюго с драматической дрожью в голосе, закатив глаза, восклицал: «Англия! О Шекспир!» Глашатай продолжал: «Представитель Испании!» И Виктор Гюго возводил очи горе: «Испания! О Сервантес!» Герольд: «Представитель Германии!» И Виктор Гюго: «Германия! О Гете!»

И вдруг очередь дошла до невзрачного господина, плюгавого, обрюзгшего и слегка косолапого. Церемониймейстер объявил: «Представитель Месопотамии!» Виктор Гюго, дотоле невозмутимый и неуязвимый, осекся. Его глаза стали тревожно блуждать, словно он искал что-то в недрах мироздания и не находил. Однако нашел и вновь почувствовал себя хозяином положения. Кургузого представителя он почтил с тем же уверенным пафосом: «Месопотамия! О человечество!»

Упоминаю об этом с единственной целью — заверить, без вышесказанной торжественности, что я никогда не писал для Месопотамии и не говорил с человечеством. Апелляция к человечеству, самая величаяя и потому самая низменная черта демократии, вошла в моду где-то к 1750 году благодаря увлекшимся интеллектуалам, которые заблуждались относительно себя и своих размеров и, будучи по роду деятельности ораторами, людьми логоса, употребляли последний без оглядки и почтения, забыв, что слово — таинство и требует особого подхода.

* * *

Утверждение, что у слова слишком ограниченный радиус действия, казалось бы, опровергается тем фактом, что эта книга нашла читателей почти во всех европейских странах. Думаю, однако, что сей факт говорит скорее о другом и крайне серьезном — о пугающе однородном состоянии, к которому скатывается Запад. Со времени появления книги благодаря механизму, в ней же и описанному, однородность обрела уже тревожный масштаб. Говорю «тревожный» потому, что переживаемые какой-либо страной трудности тиражируются и множат свое гнетущее воздействие, поскольку каждый, кто их терпит, убеждается, что вряд ли есть уголок в Европе, где не творится абсолютно то же. Прежде, чтобы проветрить застойный воздух страны, достаточно было распахнуть окна в соседнюю. Сегодня это бесполезная затея, поскольку в смежном помещении так же затхло. Отсюда гнетущее чувство удушья. Иов, этот отчаянный prince-sans-gire*, вопрошал своих доброжелателей, странствующих по миру купцов: «Но где премудрость обретается? И где место разума?».

Тем не менее в этой уравнительности различаются две величины, разнонаправленные и полярные по своей сути.

Рой европейских народов, влетевший в историю с развалин античного мира, всегда жил двойственной жизнью. Сложилось так, что хотя каждый народ обретал свой особый облик, между ними, или скорей над ними, вырастал общий свод идей, пристрастий и стремлений. Больше того. Ход событий, делавший народы все более однородными и одновременно все более разрозненными, может быть понят лишь во всей его парадоксально-

* каверзник (фр.).

сти. Потому что однородность не противилась разнообразию. Напротив, она лишь расцветала всякий раз, как появлялось новое единообразующее начало. Христианская идея рождает национальные церкви, тень Римской империи вызывает к жизни разнообразные формы государства, «возрождение классиков» в XV веке разводит литературные дороги во все концы, унитарный взгляд на человека как на «чистый разум» создает различные стили мышления вплоть до самых крайних математических абстракций. И наконец, в довершение всего, даже сумасбродная идея XVIII века, согласно которой все народы должны иметь одинаковое устройство, приводит к романтическому результату — пробуждению национального самосознания, что ведет каждого из нас к осознанию собственного призвания.

И для всех этих народов, именуемых европейскими, жить означало всегда — по крайней мере начиная с XI века, с Оттона III — двигаться и действовать в общем пространстве. Другими словами, для каждого из них существовать означало сосуществовать с остальными. Безразлично, становилось ли это сосуществование мирным или воинственным. У внутриевропейских войн почти всегда была любопытная черта, делавшая их похожими на домашние скандалы. Они не замыслили стереть врага с лица земли и были скорее войнами состязательными, борьбой соперников, подобной потасовкам парней или спорам наследников. Каждый на свой лад, но все шли к одному. *Eadem sed aliter**. В общем, как говорил Карл V о Франциске I: «Мой кузен Франциск и я полностью единомышленны — оба хотим Милан».

Вовсе не обязательно, чтобы общее историческое пространство, где западный человек чувствует себя как дома,

* То же, да не то (лат.).

совпадало с тем физическим пространством, которое география именует Европой. Историческое пространство измеряется длительностью сосуществования, это пространство общественное. Сосуществование и общество — равнозначные понятия. Общество создается самим фактом сосуществования. Последнее неизбежно и самопроизвольно вырабатывает обычаи, нравы, язык, право и политический строй. Одной из грубейших ошибок «нового» мышления, от которого мы все еще не можем отмыться, было то, что оно путало общество с сообществом. Но общество и объединение — понятия едва ли не полярные. Общество не создается по добровольному согласию. Наоборот, всякое добровольное согласие предполагает существование общества, людей, которые существуют, и согласие лишь уточняет ту или иную форму этого сосуществования, этого общества, которое уже имеется. Полагать общество договорным, то есть юридическим, объединением — нелепейшая попытка поместить телегу впереди лошади. Потому что право, реальность «права», а не соображения на этот счет философа, юриста или демагога — это, выражаясь метафорически, непроизвольная секреция общества, продукт его жизнедеятельности, и не может быть чем-то иным. Прошу прощения за категоричность, но добиваться, чтобы право устанавливало отношения между людьми, еще не составившими общества, значит иметь самое курьезное представление о праве.

Неудивительно, однако, что такое представление господствует, потому что европейцы — и в этом одна из главных бед нашего времени — перед лицом жесточайших потрясений оказались плохо экипированными, с самыми нескладными и устарелыми понятиями об обществе, коллективности, личности, жизнеустройстве,

законах, справедливости, революционности и т.д. Немало смут нашего века — от несоответствия между высочайшим уровнем физических идей и скандальным состоянием наших «гуманитарных знаний». Таковые и у министра, и у профессора, у знаменитого физика и литератора — на уровне местечкового парикмахера. Надо ли удивляться, что последний задает тон везде и во всем?

Но вернемся к сути. Я пытался внушить, что европейские народы — общество в том же смысле слова, какой применяется к каждому из народов, в него входящих. У этого единства все признаки общества: существуют европейские нравы, европейские обычаи, европейское общественное мнение, европейское право, европейская политическая власть. Но все эти общественные признаки существуют на той стадии развития, на которой находится это европейское общество, уступающее в развитии своим составным частям — национальным государствам.

Поясню. Форма социального принуждения, каким является власть, есть в любом обществе, включая самые примитивные, где нет еще специальных институтов такого принуждения. Если подобный, специально выделенный институт именовать государством, можно сказать, что в иных обществах нет государственной власти, но говорить, что там нет власти вообще, нельзя. Может ли не быть ее там, где есть общественное мнение, если власть — всего лишь оружие, им заряженное? Ну а то, что европейское общественное мнение существует не один век и мощь его все растет, равно как и умение манипулировать им, оспаривать не приходится.

Посему советую читателю сдержать ухмылку, когда в последних главах моей книги он натолкнется на крайне смелое, в нынешних обстоятельствах, утверждение о возможном государственном единстве Европы. Не спорю,

что Соединенные Штаты Европы — одна из самых расхожих фантазий, и не приемлю того смысла, который в это словосочетание вкладывается. Но с другой стороны, кажется невероятным, чтобы такое зрелое общество, как общность европейских народов, не двигалось к созданию государственного механизма, который конкретизировал бы уже существующую европейскую общественную власть. Не склонность к фантазиям и не тяга к «идеализму», которого я не терплю и с которым всю жизнь борюсь, заставляют меня так думать. Это исторический реализм помогает мне видеть, что Европа как единое общество — не какой-то «идеал», а данность, давным-давно ставшая повседневной. А раз уж это очевидно, возможность общего государства становится необходимостью. Толчком к завершению этого процесса может послужить что угодно — к примеру, появление за Уралом китайской косички или извержение мусульманской лавы.

Это национальное государство будет, разумеется, выглядеть иначе, чем привычные уже формы, подобно тому, как наши национальные государства отличаются от античных государств-городов. На страницах книги я пытаюсь рассвободить умы, чтобы они сумели остаться верными традиционно европейской идее государства и общества.

Античной мысли всегда было нелегко представить себе мир как динамическое равновесие. Она не могла оторваться от видимого и его подобий, как ребенок от книги, в которой ему понятны только картинки. Все усилия древних философов преодолеть эту ограниченность были тщетными. В их попытках понять неизменно присутствует, как парадигма, материальный объект, который для них «вещь» по преимуществу. Им удавалось представить лишь такое общество, такое государство, в котором единство принимало форму зримого

соприкосновения, соседства, — например, город. Совершенно иначе мыслит европеец. Для него все видимое — именно вследствие своей очевидности — всего лишь внешняя личина скрытой силы, которая непрерывно создает эту видимость и является ее подлинной реальностью. Там, где действующая сила, *dynamis**, объединяет, там реально существует единство, хотя внешние свидетельства этого могут выглядеть чем-то разрозненным.

Было бы по-античному ограниченным видеть общественную власть лишь там, где она носит уже привычную и как бы сросшуюся с обществом личину государственной, то есть в отдельных европейских странах. Решительно не согласен, что реальная власть общества в каждой из них проявляется исключительно во внутренней или национальной политике. Надо сразу сказать, что вот уже много веков европейские народы живут — и по меньшей мере четыре века сознают это — под властью, которая по своей сугубо динамической природе не поддается никакому иному определению, кроме почерпнутого из области механики — «европейское равновесие» или *balance of power***.

Это и есть историческое европейское правительство, которому подчиняется в своем полете рой народов, дружных и неуживчивых, словно пчелы, слетевшие с руин античного мира. Единство Европы — не фантазия, а самая что ни на есть реальность; как раз фантазия — это вера в то, что Франция, Германия, Италия или Испания действительно самостоятельны и независимы.

Понятно, что не для всех европейская реальность очевидна, потому что Европа — не «вещь», а равновесие. Еще в XVIII веке историк Робертсон назвал европейское равновесие «*the great secret of the modern politics*»***.

* сила (*греч.*).

** равновесие сил (*англ.*).

*** великий секрет современной политики (*англ.*).

Секрет великий и, бесспорно, парадоксальный! Ибо равновесие сил — это реальность, основанная на множественности, на плюрализме. Если он исчезнет, это динамическое единство развеется. Европа действительно рой — множество пчел в едином полете.

Эту единую природу великолепного европейского разнообразия я бы назвал здоровой общностью, плодотворной и желанной, заставившей еще Монтескье сказать: «Европа — единая нация, состоящая из многих», а Бальзака — повторить в более романтическом ключе: «Великая континентальная семья, все силы которой отданы бог ведает какому таинству цивилизации».

Это европейское разноцветье, которое коренится в изначальном единстве и, выплескиваясь наружу, питает его, — драгоценнейшее достояние Запада. Столь акробатическая идея общности, при которой надо без устали кувыркаться, перескакивая от утверждения плюрализма к осознанию единства и наоборот, не для тупых мозгов. Темные головы природа фабрикует для восточных деспотий.

Однако сейчас на всем континенте утверждается форма общности, грозящая уничтожить наше достояние. Повсеместно воцаряется массовый человек, предмет моей книги, человеческий тип, изготовленный на скорую руку из немногих и немудреных абстракций и потому по всей Европе, из конца в конец, одинаковый. Это ему европейская жизнь обязана сегодня своим растущим удушливым однообразием. У этого массового человека заблаговременно отбита историческая память, выхолощено прошлое, и потому он податлив для всяческих нападений, именуемых «интернациональными». Это не столько человек, сколько оболочка, муляж человека, подобие

пустотелых идолов, которому недостает «нутра»; в нем нет личностного начала, непреклонного и неотчуждаемого, нет того «я», которое нельзя упразднить. Поэтому он вечно кого-то изображает и полагает, что у него есть одни права, не подозревая, что существуют обязанности и что вообще «благородство обязывает». Его-то оно не обязывает ввиду полного отсутствия: это человек *sine nobilitate* — snob*.

Этот вселенский снобизм, характерный и для рабочей среды, закупорил души, уже не способные понять, что если мы хотим преобразить весь сегодняшний строй европейской жизни, то делать это надо без непоправимой утраты ее внутреннего многообразия. Поскольку у сноба нет предназначения, нет собственной судьбы, которую некому поручить, нет дела, для которого он рожден, он совершенно не способен представить, что существуют призвание и служение, самые разные. Поэтому к либерализму он питает такую же неприязнь, как глухой к словам. Свобода всегда означала для европейца возможность стать тем, кто ты есть на самом деле. Понятно, что она отвращает тех, кто лишен и своего дела, и самого себя.

Сегодня всем миром ниспровергают и поносят старый либерализм с удивительным единодушием. Это подозрительно. Людей, как правило, спланивает агрессивность и неразумие. Я не утверждаю, что старый либерализм единственно прав. Да и как ему быть таковым, если он старый и он «изм»? Но я утверждаю, что его общественные воззрения глубже и ценнее, чем коллективизм его хулителей, основанный на невежестве.

* В Англии при переписи населения указывалась профессия и сословие. Рядом с фамилиями простых горожан ставилась аббревиатура *s.nob.*, то есть *sine nobilitate* (неблагородный, чернь). Так произошло слово «сноб». — *Примеч. автора.*

Либерализм был дальновидней и проницательней в отношении Европы и обладал завидной интуицией.

Когда, например, Гизо, противопоставляя европейскую цивилизацию иным, отмечает, что она никогда не знала абсолютного господства какой-либо одной идеи, принципа, сословия или класса, слух невольно настораживается. Этот человек знает, что говорит. Фраза недостаточна, поскольку негативна, но доносит до нас увиденное в упор. От него, как от всплывшего водолаза, исходит запах глубин, и чувствуется, что этот человек действительно вернулся из недр европейского прошлого, куда сумел погрузиться. Просто невероятно, что в самом начале XIX века, во времена сумятицы и риторики, возникает такая книга, как «История цивилизации в Европе». Она и сегодня учит видеть, как нераздельны свобода и плюрализм и как неизменно они были душой Европы.

Я предложил бы читателю несколько тезисов — не для того чтобы он с ними согласился, но чтобы взвесил «за» и «против» и сделал выводы.

I. Персоналистский либерализм — плод XVII века; отчасти он воплотился в законодательстве Французской революции и угас вместе с нею.

II. Детищем XIX века стал коллективизм. Идея коллективизма была первым открытием новорожденного века, и на протяжении ста лет она лишь росла и развивалась, пока не заслонила горизонт.

III. Эта идея — французского происхождения. Впервые она появляется у архиреакционеров Луи де Бональда и Жозефа де Местра. Ее суть немедленно подхвачена всеми, кроме разве что Бенжамена Констана, этого «пережитка» прошлого. Но апогея она достигает у Сен-Симо-

на, Баянша, Конта и пускает ростки повсюду. Например, лионский врач М. Амар еще в 1821 году персонализму противопоставил коллективизм.

Но куда важнее другое. Когда по ходу века мы приближаемся к великим теоретикам либерализма — Стюарту Миллю и Спенсеру, — то с удивлением обнаруживаем, что предполагаемая защита личности строится не на запросах личности и ее заинтересованности в свободе, а совершенно противоположным образом — на запросах и интересах общества. Воинственное название, которое Спенсер выбрал для своей книги «Личность против государства», превратно понято теми, кто читает одни названия. Поскольку «личность» и «государство» в этом названии — всего лишь органы единственного персонажа книги — общества. И обсуждается лишь одно — какой из этих органов лучше служит определенным общественным интересам. Только и всего. Пресловутый «индивидуализм» Спенсера постоянно боксирует в коллективистской среде спенсеровской социологии. В конечном счете он, как и Стюарт Милль, обращается к личности с той же общинной безжалостностью, с какой термиты обходятся с иными своими собратьями, которых откармливают, дабы потом высосать. Таков был примат коллективизма, общий фон, очевидный сам по себе, что бы там ни выплясывали его простодушные идеи.

Отсюда понятно, почему моему лозэнгринову порыву встать на защиту старого либерализма недостает убежденности и убедительности. Причина в том, что я не «старый либерал». Открытие коллективного было бесспорно значительным и фундаментальным, но слишком недавним. Люди не столько увидели, сколько ошупью натолкнулись на ту истину, что коллектив не сводится к простой сумме индивидов, и толком не разобрались, что он такое и каковы его свойства. Кроме того, социальные

условия времени затемняли подлинную экономику коллектива, поскольку тогда ей вменялось в обязанность хорошо питать индивидов. Не настал еще час обезлички, расхищения и дележа на всех уровнях.

Поэтому «старые либералы» слепо доверились коллективизму, едва вдохнув его воздух. Но когда непредвзятому взгляду ясно, что этот социальный феномен таит в себе не только преимущества, но и опасности, необходим радикально новый либерализм, не столь наивный и порядком искушенный в ратном деле, либерализм, который уже дает ростки и вот-вот возникнет на горизонте.

Эти люди отнюдь не страдали близорукостью, и было бы странно, если бы время от времени они не догадывались о тех мытарствах, которые готовил им их век. Вопреки общепринятому мнению, угадывать будущее — для истории обычная вещь. У Маколея, Токвиля, Конта мы находим эскизы сегодняшнего дня. Перечтите написанное Стюартом Миллем больше восьмидесяти лет тому назад: «Исключая особые взгляды отдельных мыслителей, в мире растет и все усиливается стремление утвердить в самых крайних формах власть общества над индивидуумом, посредством как общественного мнения, так и законодательства. Поскольку все перемены, происходящие в жизни, ведут к росту общественных сил и подавлению индивидуальных, это половодье зла не спадет само по себе, а, напротив, будет становиться все более угрожающим. Стремление людей, будь то правители или сограждане, навязать другим как норму поведения свои мнения и вкусы, находит такую решительную поддержку со стороны как наилучших, так и наихудших свойств человеческой природы, что не довольствуется ничем, кроме полноты власти. И поскольку эта власть

явно не клонится к упадку, а, напротив, растет, следует ожидать, если только мощная преграда нравственности не встанет на пути зла, следует ожидать, повторяю, что при современном состоянии мира упомянутое стремление будет лишь возрастать».

Но особенно близка нам в Стюарте Милле его обеспокоенность «дурной однородностью», в которую на его глазах погружалась Европа. Поэтому он так ухватился за великую мысль, высказанную в молодости Гумбольдтом. Чтобы человеческая природа расцветала, крепла и совершенствовалась, необходимо, согласно Гумбольдту, «многообразие ситуаций». Внутри одного народа или в сообществе народов необходима разнообразная среда, самые различные обстоятельства и возможности. Тогда, если один выход закроется наглухо, останутся распахнутыми другие. Безрассудно ставить европейскую жизнь на одну-единственную карту, делать ставку на один и тот же человеческий тип, на одну и ту же «ситуацию». Стремление избежать этого — секрет европейских успехов, и все, что звучало, внятно или невнятно, из уст неистребимого европейского либерализма, рождено сознанием упомянутого секрета. В этом сознании распознавал себя как безусловную ценность, как благо, а не как зло, европейский плюрализм. Я должен был все это прояснить, чтобы выдвинутая в моей книге идея европейского сверхгосударства не толковалась превратно. Пока все идет так как есть и «многообразие ситуаций» упорно сокращается, мы движемся прямой дорогой к византийщине. Тогда ведь тоже было время масс и зловещей однородности.

Еще при Антонинах с имперским населением начало твориться нечто странное, историками едва замеченное и не исследованное как должно, — люди стали глу-

петь. Процесс шел уже давно. Считается, и не без основания, что стоик Посидоний, учитель Цицерона, был последним человеком античности, способным подойти к явлениям пытливо и деятельно, с готовностью их исследовать. После него началась закупорка мозгов, и все, кроме александрийцев, лишь повторяли и тиражировали старое.

Но самый зловещий симптом и результат того состояния, одновременно однородного и отупелого — одно с другим связано, — в которое впала жизнь на всем имперском пространстве, обнаруживается там, где меньше всего можно его ждать и где, насколько я знаю, никто еще не искал его, — в языке. Каждому в отдельности язык не позволяет выразить то, что хотелось бы высказать, но он разоблачает и помимо нашей воли доводит до слуха скрытое самочувствие общества, на нем говорящего. Исключая эллинизированную часть населения, живым языком империи была так называемая «вульгарная латынь», прародительница наших романских языков. Мы о ней мало знаем и большей частью приходится ее реконструировать. Но и скудных знаний хватает с лихвой, чтобы ужаснуться. Во-первых, немыслимому упрощению грамматики по сравнению с классической латынью. Сочная индоевропейская сложность, которую сохранял язык верхов, была вытеснена плебейским говором, упрощенным и легким, но при этом, или скорее поэтому, грубо механическим, как рабочий инструмент, с невнятной и приблизительной грамматикой — наугад и невпопад, как у детей. В общем, младенческий язык, детский лепет, неспособный ни гранить мысли, ни расцвечивать чувства. Язык, лишенный светотени, лишенный яркости и душевного жара, убогий язык, бредущий на ощупь. Слова — словно старые медяки, захватанные

и бесформенные от бесконечного блуждания по средиземноморским кабакам. Сколько жизней, не ведающих себя, оскопленных, обреченных на прозябание, угадывается за этим языковым суррогатом!

Вторая пугающая черта вульгарной латыни — это как раз однородность. Лингвистов, которые, возможно, после авиаторов наименее склонны чего-либо пугаться, похоже, не смущает то обстоятельство, что так одинаково говорили в таких неодинаковых странах, как Ливия и Галлия, Тингитания и Далмация, Паннония, Испания и Дакия. Я, напротив, довольно боязлив и не в силах унять дрожь перед таким фактом. Мне он кажется просто чудовищным. Правда, я стараюсь представить себе, чем было изнутри то, что снаружи нам кажется невозмутимой однородностью, стараюсь под этим мертвым слепком обнаружить живую действительность. Разумеется, были африканизмы, испанизмы, галлицизмы. Но это лишь подтверждает, что корпус языка был общим и одинаковым, несмотря на расстояния, на разобщенность, на отсутствие связей и неучастие литературы в упрочении языка. Что же могло так уравнивать кельтибера и белга, жителя Карфагена и Лютеции, ливийца и дака, если не общий пресс, который придавил и расплющил их жизни. Вульгарная латынь пылится в архивах, как леденящая окаменелость, мертвый свидетель того, как под пятой вульгарной однородности агонизировала история, утратив животворное «многообразие ситуаций».

Я не политик, и книга моя далека от политики. Ее тема — то, что предваряет политику. Мой труд — это подземный шахтерский труд впотьмах. Задача так называемых «интеллектуалов», в какой-то степени, противоположна задачам политиков. Труд интеллектуала, часто напрасный, — как-то прояснить положение вещей, дело

политика — затемнить его как можно больше. Быть левым, равно как и правым, — один из бесчисленных человеческих способов быть глупым; и то, и другое — в конечном счете, разновидность одностороннего нравственного паралича. К тому же привычность этих определений еще более фальсифицирует нашу «действительность», и без того фальшивую, поскольку политическое экспериментаторство завершило мертвую петлю и сегодня мы наблюдаем, как правые козыряют революцией, а левые — тиранией.

Наболевшие вопросы надо решать. Это наш долг. И я делаю это всю жизнь. Я всегда был на линии огня. Но сегодня требуют — такова «тенденция», — чтобы все поголовно, даже ценой умственного помрачения, занялись политикой *sensu stricto**. Требуют, разумеется, те, кому заняться больше нечем. И даже подкрепляют это цитатами из Паскаля, рекомендующими *abetissement***.

Но я давно уже приучил себя настораживаться, когда цитируют Паскаля. Чисто гигиеническая предосторожность.

Всеобщая политизация, поглощение политикой всех и вся — не что иное, как восстание масс. Мятежная масса утратила малейшую способность к религии и знанию. Она не может вместить ничего, кроме политики — политики раздутой, безудержной, хлынувшей через край, чтобы вытеснить религию, знание, *sagesse****, словом, то единственное, что способно по своей природе завладеть человеческим разумом. Политика отнимает у человека его сокровенное, лишает одиночества, и потому проповедью всеобщей политизации пользуются, чтобы обобществить человеческую личность.

* в строгом смысле слова (*лат.*).

** поглупение (*фр.*).

*** мудрость (*фр.*).

Если кто-то спросит, какой вы партии, или поспешит с уже привычной для всех бесцеремонностью завербовать вас в одну из них, надо не объясняться с насильником, а на вопрос ответить вопросом, что такое, по его разумению, человек, что такое природа, история, личность и общество, что такое коллективизм и государство, обычай и право. Европейская мысль обязана внести полную ясность в эти вопросы. Затем она и существует, а не для того, чтобы распускать павлиний хвост на академических конференциях.

При виде городского скопища человеческих существ, которые снуют по улицам и теснятся на представлениях и митингах, меня преследует одна мысль. Может ли сегодня двадцатилетний юноша наметить личную жизненную программу, требующую собственных усилий и независимых решений? Мысленно развивая ее, не убедится ли он, что задуманное если не безнадежно, то маловероятно, потому что нет в его распоряжении пространства, где он мог бы осуществляться и действовать по собственной воле? Он быстро увидит, что его программа упирается в ближнего, и жизнь ближнего стесняет его собственную. Разочарование и свойство молодости легко приспособляться заставят его отказаться не только от самостоятельных поступков, но даже от собственных желаний, и скорее всего он найдет иной выход — представит себе стандартную жизнь с ее общими для всех запросами и поймет, что удовлетворить их сможет лишь в коллективе, среди себе подобных. Отсюда общая установка — действовать массой.

Судьба незавидная, но, думается, я не утрирую картину того, что ждет европейцев. В переполненной тюремной камере никто не может шевельнуть рукой по своему желанию. В такой обстановке любое движение должно совершаться сообща, и даже дыхание подчиня-

ется общему ритму. Такой была бы Европа, превращенная в муравейник. Но даже эта зловещая картина — еще не развязка. Человеческий муравейник невозможен, потому что существовал так называемый индивидуализм, который обогатил всех и каждого — и это богатство дало сказочный рост человеческой поросли. Если бы последние остатки этого индивидуализма исчезли, Европу охватила бы чудовищная византийская дистрофия и муравейник бы рассыпался, словно от дыхания грозного и мстительного бога. Перевелись бы все те, кто чуть выше остальных.

Перед грозной патетикой подобной перспективы, которая, помимо нашей воли, уже приоткрывается, вопросы «социальной справедливости», столь превозносимой, тускнеют и становятся такими мелкими, что кажутся притворными романтическими вздохами. Но в то же время они направляют на верный путь, позволяющий достичь того, что достижимо из этой «социальной справедливости», и осуществить то, что справедливо, — на путь, ведущий не к унылой социализации, а к достойной солидарности. Впрочем, это слово малоупотребительно, потому что все еще не сконцентрировало в себе мощный сгусток исторических и социальных идей, а напротив — отдает туманной филантропией.

Для улучшения нынешнего положения дел прежде всего необходимо понимание его непомерной тяжести. Лишь это поможет атаковать зло в тех глубинных тайниках, где оно в действительности зарождается. По правде говоря, действительно трудно спасти цивилизацию, когда она во власти демагогов. Демагоги всегда были душами цивилизаций. Греческая и римская задохнулись в лапах этих омерзительных двуногих, заставивших Макколея воскликнуть: «В любом веке худшие образчики

человеческой породы представлены демагогами». Но демагог — не просто человек, взывающий к толпе. Иногда это священный долг. Сущность демагога — в его мышлении и в полной безответственности по отношению к тем мыслям, которыми он манипулирует и которые он не вынашивал, а взял напрокат у людей действительно мыслящих. Демагогия — это форма интеллектуального вырождения, и как массовое явление европейской истории она возникла во Франции к середине XVIII века. Почему именно тогда? Почему именно во Франции? Это один из самых болезненных моментов в судьбе Запада и особенно в судьбе Франции.

С этого момента Франция, а под ее воздействием — и весь континент уверовали, что способ разрешения огромных человеческих проблем — революция, под которой понималось то, что еще Лейбниц назвал «всеобщей революцией»^{*}; стремление одним махом изменить все и во всех сферах^{**}. Именно поэтому такая чудесная страна сегодня так неблагополучна. У нее революционные традиции или по крайней мере вера в то, что они есть. И если нелегко быть просто революционером, насколько тяжелей и парадоксальней быть революционером наследственным! Да, во Франции была одна великая революция и еще несколько, грозных или смехотворных, но

^{*} «Я нахожу, что подобные взгляды понемногу проникают в высшее общество, в умы людей, которые управляют другими и от которых зависит состояние дел, и проскальзывают в книги, предуготовляя все и вся ко всеобщей революции, которая грозит Европе» («Новые опыты о человеческом мышлении». Т. IV, гл. XVI). Из этого следуют два вывода. Первый — в 1700 году (приблизительно тогда Лейбниц написал эти строки) человек был способен предвидеть то, что произошло век спустя. Второй — истоки сегодняшних бед Европы хронологически и потенциально глубже, чем принято думать. — *Примеч. автора.*

^{**} «...Наш век, который видит себя призванным изменить законы во всех сферах...» (Д'Аламбер. Вступительное слово к Энциклопедии // Сочинения. Т. I. С. 56. 1821). — *Примеч. автора.*

если обратимся к беспристрастным анналам, то убедимся, что благодаря всем этим революциям во Франции, как нигде, все столетие, кроме считанных недель или даже дней, держался в той или иной мере авторитарный или контрреволюционный режим. А такая моральная рытвина французской истории, какой стали два десятилетия Второй Империи, всецело обязана своим появлением сумасбродству революционеров 48-го года, большинство которых, по признанию самого Распая, были его пациентами.

В революциях абстрактное пытается восстать против конкретного, поэтому революция обречена на провал, она с ним единосущна. Человеческие проблемы в отличие от астрономических или химических не абстрактны. Они предельно конкретны, потому что они историчны. И единственный способ мыслить, дающий какие-то шансы на успех в разрешении таких проблем, — это «исторический разум». Если обозреть общественную жизнь Франции за последние полтора века, бросится в глаза, что ее геометры, ее физики и ее медики почти всегда ошибались в своих политических выкладках, а вот историки, напротив, умудрялись попадать в цель. Но физико-математический рационализм во Франции слишком гордился собой, чтобы не властвовать в общественном сознании. Мальбранш порвал со своим другом, увидев у него на столе Фукидида.

Месяц назад, разгоняя одиночество на парижских улицах, я вдруг понял, что у меня в огромном городе нет знакомых, кроме статуй. А вот они, напротив, мои старые друзья, давние вдохновители или вечные наставники. И поскольку мне больше не с кем было перекинуться словом, с ними и беседовал я о делах человеческих. Не знаю,

увидят ли когда свет мои «Беседы с памятниками», скрасившие мне горький и бесплодный отрезок жизни.

И, естественно, больше всего мне хотелось выслушать нашего общего учителя Декарта, человека, которому Европа обязана как никому. По воле случая, который не раз перетряхивал мою жизнь, я пишу эти строки в том уголке Голландии по имени Эндегест, где обитал в 1642 году новый провозвестник разума, и деревья над его домом затевают мое окно. Сейчас это дом сумасшедших. Дважды в день, предостерегающе близко, я вижу, как безумные и слабоумные выгуливают на свежем воздухе свою человеческую несостоятельность.

Три столетия «рационализма» заставляют освежить в памяти чудесный картезианский *raison**, его блеск и ограниченность. *Raison* — это математика, физика, биология. Его торжество над природой, превзошедшее самые смелые мечты, лишь подчеркивает его беспомощность в делах сугубо человеческих и требует его включения в более всесторонний «исторический разум».

Тогда выявляется бесплодность любой «всеобщей» революции, любой попытки разом изменить общество и начать историю заново, как замыслили смутьяны 89-го года. Революционному методу противостоит единственно достойный нашего векового опыта. Революции, безоглядные в своей нетерпеливой спешке, лицемерно щедрые на обещания всевозможных прав, попирают первейшее право человека, настолько первейшее, что оно определяет человеческую сущность, — право на непрерывность, на преемственность. Единственное коренное отличие «естественной истории» от человеческой в том, что последняя не может начинаться заново. Кёлер и дру-

* разум (*фр.*).

гие показали, что орангутанг и шимпанзе отличаются от человека не тем, что принято называть умственным развитием, а короткой памятью. Бедные животные начинают новый день, не помня почти ничего из пережитого вчера, и потому их интеллект вынужден обходиться жалкими крохами опыта. Современный тигр таков же, как и шесть тысяч лет назад, потому что каждый тигр должен заново становиться тигром, словно у него и не было предшественников. Напротив, человек благодаря своей способности помнить копит собственное прошлое, владеет им и извлекает из него пользу. Он никогда не окажется первым на Земле человеком — его существование начинается на определенной высоте, на вершине накопленного. Это единственное богатство человека, его привилегия и его родовой признак. И наименее ценно в этом богатстве то, что кажется удавшимся и достойным памяти: главное и самое важное — это память об ошибках, позволяющая избегать их. Подлинное богатство человека — это богатство человеческих ошибок, накопленный тысячелетиями жизненный опыт. Поэтому высший человеческий тип Ницше определил как существо «с самой долгой памятью».

Попытка порвать с прошлым, начать все с нуля — это попытка стать или притвориться орангутангом. Мне отрадно, что нашелся француз, Дюпон-Уайт, который в 1860 году отважился воскликнуть: «Преемственность — это право человека, это дань уважения всему, что отличает его от животного».

Передо мной журнал с описанием празднеств, которыми Англия отметила коронацию нового короля. Всем известно, что английская монархия давно уже существует лишь номинально. Это верно, но главное в другом. Действительно, монархия не играет в Британской импе-

рии никакой видимой роли. Не правит, не вершит правосудие, не распоряжается войсками. Но она не бесплотна и не кажется фиктивной. У монархии в Англии весьма определенное и крайне действенное назначение — она символизирует. Поэтому английский народ с нарочитой торжественностью празднует сегодня коронацию.

Это народ, который всегда первым достигал будущее, опережая других почти во всем. Практически слово «почти» можно опустить. И вот он, с несколько вызывающим дендизмом, заставляет нас присутствовать при старинном ритуале и видеть, как вступают в силу — ибо они никогда ее не утрачивали — самые древние и магические символы его истории, корона и скипетр, которые у нас правят лишь карточной игрой. Англичанин вынуждает нас убедиться, что его прошлое именно потому, что оно прошло, а значит — было, продолжает для него существовать. Из будущего, до которого мы еще не добрались, он свидетельствует о живом присутствии и полноправии своего прошлого. Этот народ на короткое время, он действительно хозяин своих столетий и толково ведет хозяйство. Это и значит быть людьми — следуя прошлому, жить будущим, то есть действительно пребывать в настоящем, ибо настоящее — лишь наличие прошлого и будущего, то единственное место, где они реально существуют.

Символическим ритуалом коронации Англия в очередной раз противопоставляет революционности преемственность, единственное, что позволяет избежать того патологического крена, который превращает историю в вечный бой паралитиков с эпилептиками.

Не без насилия над собой я в своей книге выделил из той проблемы, которую представляет для человека, и в особенности — для западного человека, его ближай-

шее будущее, лишь одну-единственную линию — характеристику заурядности, которая начинает сегодня господствовать. Это потребовало от меня сурового аскетизма, обета молчания по поводу многого, затронутого походя. Более того, это часто вынуждало представлять вещи в таком ракурсе, который был наилучшим для освещения упомянутой темы и наихудшим для выражения моих взглядов на этот предмет. Приходилось лишь обозначать проблему, пусть и фундаментальную. Я мерил сегодняшнего среднего человека мерой его способности продолжать современную цивилизацию и его причастности к культуре. Возможно, кто-то скажет, что то и другое — цивилизация и культура — не моя тема. Но что бы ни говорили, в действительности именно о них все написанное мною, начиная с самых первых страниц. Однако я не мог усложнять вопрос. Каковы бы ни были наши взгляды на цивилизацию и культуру, есть нечто первостепенное, с чем нельзя не считаться, — аномалия в лице массового человека. И грубо обрисовать его было делом безотлагательным.

Большого французский читатель не должен ждать от этой как бы книги, а в сущности — попытки просвета в гуще грозы.

1937

ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВА

La deshumanizacion del arte
Перевод. © Воробьев С. Л., 1991

СОДЕРЖАНИЕ

Непопулярность нового искусства	213
Художественное искусство	218
Немного феноменологии	225
Начинается дегуманизация искусства	231
Призыв к пониманию	235
Дегуманизация искусства продолжается	238
Табу и метафора	245
Супрареализм и инфрареализм	247
Поворот на 180 градусов	249
Иконоборчество	253
Отрицательное влияние прошлого	254
Ироническая судьба	259
Нетрансцендентность искусства	262
Заключение	226

*...Пусть донна Берта или сэръ
Мартино не судят...*

Божественная комедия. Рай. XIII

НЕПОПУЛЯРНОСТЬ НОВОГО ИСКУССТВА

Среди многих гениальных, хотя и не получивших должного развития идей великого француза Гюйо следует отметить его попытку изучать искусство с социологической точки зрения. Сначала может показаться, что подобная затея бесплодна. Рассматривать искусство со стороны социального эффекта — это как бы разговор не по существу дела, что-то вроде попытки изучать человека по его тени. Социальная сторона искусства на первый взгляд вещь настолько внешняя, случайная, столь далекая от эстетического существа, что неясно, как, начав с нее, можно проникнуть внутрь стиля. Гюйо, конечно, не извлек из своей гениальной попытки «лучшего сока». Краткость жизни и трагическая скоропостижная смерть помешали его вдохновению отстояться, чтобы, освободившись от всего тривиального и поверхностного, оно могло бы дерзать в сфере глубинного и существенного. Можно сказать, что из его книги «Искусство с социологической точки зрения» осуществилось только название, все остальное еще должно быть написано.

Живая сила социологии искусства открылась мне неожиданно, когда несколько лет назад довелось писать о

новой музыкальной эпохе, начавшейся с Дебюсси. Я стремился определить с возможно большей точностью разницу в стиле новой и традиционной музыки. Проблема моя была чисто эстетическая, и тем не менее я нашел, что наиболее короткий путь к ее разрешению — это изучение феномена сугубо социологического, а именно непопулярности новой музыки. Сегодня я хотел бы высказаться в общем, предварительном плане, имея в виду все искусства, которые сохраняют еще в Европе какую-то жизненность: наряду с новой музыкой — новую живопись, новую поэзию, новый театр. Воистину поразительно и таинственно то тесное внутреннее единство, которое каждая историческая эпоха сохраняет во всех своих проявлениях. Единое вдохновение, один и тот же жизненный стиль пульсируют в искусствах, столь несходных между собою. Не отдавая себе в том отчета, молодой музыкант стремится воспроизвести в звуках в точности те же самые эстетические ценности, что и художник, поэт и драматург — его современники. И эта общность художественного чувства поневоле должна привести к одинаковым социологическим последствиям. В самом деле, непопулярности новой музыки соответствует такая же непопулярность и остальных муз. Все молодое искусство непопулярно — и не случайно, но в силу его внутренней судьбы.

Мне могут возразить, что всякий только что появившийся стиль переживает «период карантина», и напомнить баталию вокруг «Эрнани», а также и другие распри, начавшиеся на заре романтизма. И все-таки непопулярность нового искусства — явление совершенно иной природы. Полезно видеть разницу между тем, что непопулярно, и тем, что не народно.

Стиль, который вводит нечто новое, в течение какого-то времени просто не успевает стать народным; он

непопулярен, но также и не народен. Вторжение романтизма, на которое можно сослаться в качестве примера, как социологический феномен совершенно противоположно тому, что являет искусство сегодня. Романтизму весьма скоро удалось завоевать «народ», никогда не воспринимавший старое классическое искусство как свое. Враг, с которым романтизму пришлось сражаться, представлял собой как раз избранное меньшинство, закостеневшее в архаических «старорежимных» формах поэзии. С тех пор как изобрели книгопечатание, романтические произведения стали первыми, получившими большие тиражи. Романтизм был народным стилем *par excellence**.

Первенец демократии, он был баловнем толпы.

Напротив, новое искусство встречает массу, настроенную к нему враждебно, и будет сталкиваться с этим всегда. Оно не народно по самому своему существу; более того, оно антинародно. Любая вещь, рожденная им, автоматически вызывает в публике курьезный социологический эффект. Публика разделяется на две части; одна часть, меньшая, состоит из людей, настроенных благосклонно; другая, гораздо большая, бесчисленная, держится враждебно. (Оставим в стороне капризную породу «снобов».) Значит, произведения искусства действуют подобно социальной силе, которая создает две антагонистические группы, разделяет бесформенную массу на два различных стана людей.

По какому же признаку различаются эти две касты? Каждое произведение искусства вызывает расхождения: одним нравится, другим — нет; одним нравится меньше, другим — больше. У такого разделения неорганический характер, оно непринципиально. Слепая прихоть нашего индивидуального вкуса может поместить нас и среди тех, и среди других. Но в случае нового искусства

* по преимуществу (фр.).

размежевание это происходит на уровне более глубоком, чем прихоти нашего индивидуального вкуса. Дело здесь не в том, что большинству публики *не нравится* новая вещь, а меньшинству — *нравится*. Дело в том, что большинство, масса, просто *не понимает ее*. Старые хрычи, которые присутствовали на представлении «Эрнани», весьма хорошо понимали драму Виктора Гюго, и именно потому что понимали, драма не нравилась им. Верные определенному типу эстетического восприятия, они испытывали отвращение к новым художественным ценностям, которые предлагал им романтик.

«С социологической точки зрения» для нового искусства, как мне думается, характерно именно то, что оно делит публику на два класса людей: тех, которые его понимают, и тех, которые не способны его понять. Как будто существуют две разновидности рода человеческого, из которых одна обладает неким органом восприятия, а другая его лишена. Новое искусство, очевидно, не есть искусство для всех, как, например, искусство романтическое: новое искусство обращается к особо одаренному меньшинству. Отсюда — раздражение в массе. Когда кому-то не нравится произведение искусства, именно поскольку оно понятно, этот человек чувствует свое «превосходство» над ним, и тогда раздражению нет места. Но когда вещь не нравится потому, что не все понятно, человек ощущает себя униженным, начинает смутно подозревать свою несостоятельность, неполноценность, которую стремится компенсировать возмущенным, яростным самоутверждением перед лицом произведения. Едва появившись на свет, молодое искусство заставляет доброго буржуа чувствовать себя именно таким образом; добрый буржуа, существо, неспособное к восприятию тайн искусства, слеп и глух к любой бес-

корыстный красоте. И это не может пройти без последствий после сотни лет всеобщего заискивания перед массой и возвеличивания «народа». Привыкшая во всем господствовать, теперь масса почувствовала себя оскорбленной этим новым искусством в своих человеческих «правах», ибо это искусство привилегированных, искусство утонченной нервной организации, искусство аристократического инстинкта. Повсюду, где появляются юные музы, масса преследует их.

В течение полутора веков «народ», масса претендовали на то, чтобы представлять «все общество». Музыка Стравинского или драма Пиранделло производят социологический эффект, заставляющий задуматься над этим и постараться понять, что же такое «народ», не является ли он просто одним из элементов социальной структуры, косной материей исторического процесса, второстепенным компонентом бытия. Со своей стороны новое искусство содействует тому, чтобы «лучшие» познавали самих себя, узнавали друг друга среди серой толпы и учились понимать свое предназначение: быть в меньшинстве и сражаться с большинством.

Близится время, когда общество, от политики и до искусства, вновь начнет складываться, как должно, в два ордена, или ранга, — орден людей выдающихся и орден людей заурядных. Все недуги Европы будут исцелены и устранены благодаря этому новому спасительному разделению. Неопределенная общность, бесформенное, хаотическое, лишенное внутреннего строя объединение без какого-либо направляющего начала — то, что существовало на протяжении последних полутора столетий, — не может существовать далее. Под поверхностью всей современной жизни кроется глубочайшая и возмутительнейшая неправда — ложный постулат реального равен-

ства людей. В общении с людьми на каждом шагу убеждаешься в противоположном, ибо каждый этот шаг оказывается прискорбным промахом.

Когда вопрос о неравенстве людей поднимается в политике, то при виде разгоревшихся страстей приходит в голову, что вряд ли уже наступил благоприятный момент для его постановки. К счастью, единство духа времени, о котором я говорил выше, позволяет спокойно, со всей ясностью констатировать в зарождающемся искусстве нашей эпохи те же самые симптомы и те же предвестия моральной реформы, которые в политике омрачены низменными страстями.

Евангелист пишет: «*Nolite fieri sicut aquus et mulus quibus non est intellectus*» — «Не будьте как конь, как лошак несмысленный»*. Масса брыкается и не понимает. Попробуем поступать наоборот. Извлечем из молодого искусства его сущностный принцип и посмотрим, в каком глубинном смысле оно непопулярно.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО

Если новое искусство понятно не всем, это значит, что средства его не являются общечеловеческими. Искусство предназначено не для всех людей вообще, а только для очень немногочисленной категории людей, которые, быть может, и не значительнее других, но явно не похожи на других.

* Псалтырь, 31, 9. — *Примеч. пер.*

Прежде всего есть одна вещь, которую полезно уточнить. Что называет большинство людей эстетическим наслаждением? Что происходит в душе человека, когда произведение искусства, например театральная постановка, «нравится» ему? Ответ не вызывает сомнений: людям нравится драма, если она смогла увлечь их изображением человеческих судеб. Их сердца волнуют любовь, ненависть, беды и радости героев: зрители участвуют в событиях, как если бы они были реальными, происходили в жизни. И зритель говорит, что пьеса «хорошая», когда ей удалось вызвать иллюзию жизненности, достоверности воображаемых героев. В лирике он будет искать человеческую любовь и печаль, которыми как бы дышат строки поэта. В живописи зрителя привлекут только полотна, изображающие мужчин и женщин, с которыми в известном смысле ему было бы интересно жить. Пейзаж покажется ему «милым», если он достаточно привлекателен как место для прогулки.

Это означает, что для большей части людей эстетическое наслаждение не отличается в принципе от тех переживаний, которые сопутствуют их повседневной жизни. Отличие — только в незначительных, второстепенных деталях: это эстетическое переживание, пожалуй, не так утилитарно, более насыщено и не влечет за собой каких-либо обременительных последствий. Но в конечном счете предмет, объект, на который направлено искусство, а вместе с тем и прочие его черты, для большинства людей суть те же самые, что и в каждодневном существовании, — люди и людские страсти. И искусством назовут они ту совокупность средств, которыми достигается этот их контакт со всем, что есть интересного в человеческом бытии. Такие зрители смогут допустить чистые художественные формы, ирреальность,

фантазию только в той мере, в какой эти формы не нарушают их привычного восприятия человеческих образов и судеб. Как только эти собственно эстетические элементы начинают преобладать и публика не узнает привычной для нее истории Хуана и Марии, она сбита с толку и не знает уже, как быть дальше с пьесой, книгой или картиной. И это понятно: им неведомо иное отношение к предметам, нежели практическое, то есть такое, которое вынуждает нас к переживанию и активному вмешательству в мир предметов. Произведение искусства, не побуждающее к такому вмешательству, оставляет их безучастными.

В этом пункте нужна полная ясность. Скажем сразу, что радоваться или сострадать человеческим судьбам, о которых повествует нам произведение искусства, есть нечто очень отличное от подлинно художественного наслаждения. Более того, в произведении искусства эта озабоченность собственно человеческим принципиально несовместима со строго эстетическим удовольствием.

Речь идет, в сущности, об оптической проблеме. Чтобы видеть предмет, нужно известным образом приспособить наш зрительный аппарат. Если зрительная настройка неадекватна предмету, мы не увидим его или увидим расплывчатым. Пусть читатель вообразит, что в настоящий момент мы смотрим в сад через оконное стекло. Глаза наши должны приспособиться таким образом, чтобы зрительный луч прошел через стекло, не задерживаясь на нем, и остановился на цветах и листьях. Поскольку наш предмет — это сад и зрительный луч устремлен к нему, мы не увидим стекла, пройдя взглядом сквозь него. Чем чище стекло, тем менее оно заметно. Но, сделав усилие, мы сможем отвлечься от сада и пере-

вести взгляд на стекло. Сад исчезнет из поля зрения, и единственное, что остается от него, — это расплывчатые цветные пятна, которые кажутся нанесенными на стекло. Стало быть, видеть сад и видеть оконное стекло — это две несовместимые операции: они исключают друг друга и требуют различной зрительной аккомодации.

Соответственно тот, кто в произведении искусства ищет переживаний за судьбу Хуана и Марии или Тристана и Изольды и приспособливает свое духовное восприятие именно к этому, не увидит художественного произведения как такового. Горе Тристана есть горе только Тристана и, стало быть, может волновать только в той мере, в какой мы принимаем его за реальность. Но все дело в том, что художественное творение является таковым лишь в той степени, в какой оно не реально. Только при одном условии мы можем наслаждаться Тициановым портретом Карла V, изображенного верхом на лошади: мы не должны смотреть на Карла V как на действительную, живую личность — вместо этого мы должны видеть только портрет, ирреальный образ, вымысел. Человек, изображенный на портрете, и сам портрет — вещи совершенно разные: или мы интересуемся одним, или другим. В первом случае мы «живем вместе» с Карлом V; во втором «созерцаем» художественное произведение как таковое.

Однако большинство людей не может приспособить свое зрение так, чтобы, имея перед глазами сад, увидеть стекло, то есть ту прозрачность, которая и составляет произведение искусства: вместо этого люди проходят мимо — или сквозь — не задерживаясь, предпочитая со всей страстью ухватиться за человеческую реальность, которая трепещет в произведении. Если им предложат оставить свою добычу и обратить внимание на само про-

изведение искусства, они скажут, что не видят там ничего, поскольку и в самом деле не видят столь привычного им человеческого материала — ведь перед ними чистая художественность, чистая потенция.

На протяжении XIX века художники работали слишком нечисто. Они сводили к минимуму строго эстетические элементы и стремились почти целиком основывать свои произведения на изображении человеческого бытия. Здесь следует заметить, что в основном искусство прошлого столетия было, так или иначе, реалистическим. Реалистами были Бетховен и Вагнер. Шатобриан — такой же реалист, как и Золя. Романтизм и натурализм, если посмотреть на них с высоты сегодняшнего дня, сближаются друг с другом, обнаруживая общие реалистические корни.

Творения подобного рода лишь отчасти являются произведениями искусства, художественными предметами. Чтобы наслаждаться ими, вовсе не обязательно быть чувствительными к неочевидному и прозрачному, что подразумевает художественная восприимчивость. Достаточно обладать обычной человеческой восприимчивостью и позволить тревогам и радостям ближнего найти отклик в твоей душе. Отсюда понятно, почему искусство XIX века было столь популярным: его подавали массе разбавленным в той пропорции, в какой оно становилось уже не искусством, а частью жизни. Вспомним, что во все времена, когда существовали два различных типа искусства, одно для меньшинства, другое для большинства*, последнее всегда было реалистическим.

* Например, в Средние века. В соответствии с бинарной структурой общества, разделенного на два социальных слоя — знатных и плебеев, — существовало благородное искусство, которое было «условным», «идеалистическим», то есть художественным, и народное — реалистическое и сатирическое искусство. — *Примеч. автора.*

Не будем спорить сейчас, возможно ли чистое искусство. Очень вероятно, что и нет; но ход мысли, который приведет нас к подобному отрицанию, будет весьма длинным и сложным. Поэтому лучше оставим эту тему в покое, тем более что, по существу, она не относится к тому, о чем мы сейчас говорим. Даже если чистое искусство и невозможно, нет сомнения в том, что возможна естественная тенденция к его очищению. Тенденция эта приведет к прогрессивному вытеснению элементов «человеческого, слишком человеческого», которые преобладали в романтической и натуралистической художественной продукции. И в ходе этого процесса наступает такой момент, когда «человеческое» содержание произведения станет настолько скудным, что сделается почти незаметным. Тогда перед нами будет предмет, который может быть воспринят только теми, кто обладает особым даром художественной восприимчивости. Это будет искусство для художников, а не для масс; это будет искусство касты, а не демоса.

Вот почему новое искусство разделяет публику на два класса — тех, кто понимает, и тех, кто не понимает его, то есть на художников и тех, которые художниками не являются. Новое искусство — это чисто художественное искусство.

Я не собираюсь сейчас превозносить эту новую установку и тем более — поносить приемы, которыми пользовался прошлый век. Я ограничусь тем, что отмечу их особенности, как это делает зоолог с двумя отдаленными друг от друга видами фауны. Новое искусство — это универсальный фактор. Вот уже двадцать лет из двух сменяющихся поколений наиболее чуткие молодые люди в Париже, в Берлине, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Риме,

Мадриде неожиданно для себя открыли, что традиционное искусство их совсем не интересует, более того, оно с неизбежностью их отталкивает. С этими молодыми людьми можно сделать одно из двух: расстрелять их или попробовать понять. Я решительным образом предпочел вторую возможность. И вскоре я заметил, что в них зарождается новое восприятие искусства, новое художественное чувство, характеризующееся совершенной чистотой, строгостью и рациональностью. Далекое от того, чтобы быть причудой, это чувство являет собой неизбежный и плодотворный результат всего предыдущего художественного развития. Нечто капризное, необоснованное и в конечном счете бессмысленное заключается, напротив, именно в попытках сопротивляться новому стилю и упорно цепляться за формы уже архаические, бессильные и бесплодные. В искусстве, как и в морали, должное не зависит от нашего произвола; остается подчиниться тому императиву, который диктует нам эпоха. В покорности такому велению времени — единственная для индивида возможность устоять; он потерпит поражение, если будет упрямо изготавливать еще одну оперу в вагнеровском стиле или натуралистический роман.

В искусстве любое повторение бессмысленно. Каждый исторически возникающий стиль может породить определенное число различных форм в пределах одного общего типа. Но проходит время, и некогда великолепный родник иссякает. Это произошло, например, с романтически-натуралистическим романом и драмой. Наивное заблуждение полагать, что бесплодность обоих жанров в наши дни проистекает от отсутствия талантов. Просто наступила такая ситуация, что все возможные комбинации внутри этих жанров исчерпаны. Поэтому можно считать удачей, что одновременно с подобным

оскудением нарождается новое восприятие, способствующее расцвету новых талантов.

Анализируя новый стиль, можно заметить в нем определенные взаимосвязанные тенденции, а именно: 1) тенденцию к дегуманизации искусства; 2) тенденцию избегать живых форм; 3) стремление к тому, чтобы произведение искусства было лишь произведением искусства; 4) стремление понимать искусство как игру, и только; 5) тяготение к глубокой иронии, 6) тенденцию избегать всякой фальши и в этой связи тщательное исполнительское мастерство; наконец, 7) искусство, согласно мнению молодых художников, безусловно, чуждо какой-либо трансценденции.

Обрисует кратко каждую из этих черт нового искусства.

НЕМНОГО ФЕНОМЕНОЛОГИИ

Умирает знаменитый человек. У его постели жена. Врач считает пульс умирающего. В глубине комнаты два других человека: газетчик, которого к этому смертному ложу привел долг службы, и художник, который оказался здесь случайно. Супруга, врач, газетчик и художник присутствуют при одном и том же событии. Однако это одно и то же событие — агония человека — для каждого из этих людей видится со своей точки зрения. И эти точки зрения столь различны, что едва ли у них есть что-нибудь общее. Разница между тем, как воспринимает происходящее убитая горем женщина и художник,

бесстрастно наблюдающий эту сцену, такова, что они, можно сказать, присутствуют при двух совершенно различных событиях.

Выходит, стало быть, что одна и та же реальность, рассматриваемая с разных точек зрения, расщепляется на множество отличных друг от друга реальностей. И приходится задаваться вопросом: какая же из этих многочисленных реальностей истинная, подлинная? Любое наше суждение будет произвольным. Наше предпочтение той или другой реальности может основываться только на личном вкусе. Все эти реальности равноценны, каждая подлинна с соответствующей точки зрения. Единственное, что мы можем сделать, — это классифицировать точки зрения и выбрать среди них ту, которая покажется нам более достоверной или более близкой. Так мы приходим к пониманию, хотя и не сулящему нам абсолютной истины, но по крайней мере практически удобному, упорядочивающему действительность.

Наиболее верное средство разграничить точки зрения четырех лиц, присутствующих при сцене смерти, — это сопоставить их по одному признаку, а именно рассмотреть ту духовную дистанцию, которая отделяет каждого из присутствующих от единого для всех события, то есть агонии больного. Для жены умирающего этой дистанции почти не существует, она минимальна. Печальное событие так терзает сердце, так захватывает все существо, что она сливается с этим событием, образно говоря, жена включается в сцену, становясь частью ее. Чтобы увидеть событие в качестве созерцаемого объекта, необходимо отдалиться от него. Нужно, чтобы оно перестало задевать нас за живое. Жена присутствует при этой сцене не как свидетель, поскольку находится внутри нее; она не созерцает ее, но живет в ней.

Врач отстоит уже несколько дальше. Для него это — профессиональный случай. Он не переживает ситуацию с той мучительной и ослепляющей скорбью, которая переполняет душу несчастной женщины. Однако профессия обязывает со всей серьезностью отнестись к тому, что происходит; он несет определенную ответственность, и, быть может, на карту поставлен его престиж.

Поэтому, хотя и менее бескорыстно и интимно, нежели женщина, он тоже принимает участие в происходящем и сцена захватывает его, втягивает в свое драматическое содержание, затрагивая если не сердце, то профессиональную сторону личности. Он тоже переживает это печальное событие, хотя переживания его исходят не из самого сердца, а из периферии чувств, связанных с профессионализмом.

Встав теперь на точку зрения репортера, мы замечаем, что весьма удалились от скорбной ситуации. Мы отошли от нее настолько, что наши чувства потеряли с нею всякий контакт. Газетчик присутствует здесь, как и доктор, по долгу службы, а не в силу непосредственного и человеческого побуждения. Но если профессия врача обязывает вмешиваться в происходящее, профессия газетчика совершенно определенно предписывает не вмешиваться; репортер должен ограничиться наблюдением. Происходящее является для него, собственно говоря, просто сценой, отвлеченным зрелищем, которое он потом опишет на страницах своей газеты. Его чувства не участвуют в том, что происходит, дух не занят событием, находится вне его; он не живет происходящим, но созерцает его. Однако созерцает, озабоченный тем, как рассказать обо всем этом читателям. Он хотел бы заинтересовать, взволновать их и по возможности добиться того, чтобы подписчи-

ки зарыдали, как бы на минуту став родственниками умирающего. Еще в школе он узнал рецепт Горация: «*Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tit*»*.

Послушный Горацию, газетчик пытается вызвать в своей душе сообразную случаю скорбь, чтобы потом пропитать ею свое сочинение. Таким образом, хотя он и не «живет» сценой, но «прикидывается» живущим ею.

Наконец, у художника, безучастного ко всему, одна забота — заглядывать «за кулисы». То, что здесь происходит, не затрагивает его; он, как говорится, где-то за сотни миль. Его позиция чисто созерцательная, и мало того, можно сказать, что происходящего он не созерцает во всей полноте; печальный внутренний смысл события остается за пределами его восприятия. Он уделяет внимание только внешнему — свету и тени, хроматическим нюансам. В лице художника мы имеем максимальную удаленность от события и минимальное участие в нем чувств.

Неизбежная пространность данного анализа оправдана, если в результате нам удастся с определенной ясностью установить шкалу духовных дистанций между реальностью и нами. В этой шкале степень близости к нам того или иного события соответствует степени затронутости наших чувств этим событием, степень же отдаленности от него, напротив, указывает на степень нашей независимости от реального события; утверждая эту свободу, мы объективируем реальность, превращая ее в предмет чистого созерцания. Находясь в одной из крайних точек этой шкалы, мы имеем дело с определенными явлениями действительного мира — с людьми, вещами,

* «...И если слезы моей хочешь добиться, Должен ты сам горевать неподдельно!»

(Гораций. Искусство поэзии. Пер. Дмитриева). — *Примеч. пер.*

ситуациями, — они суть «живая» реальность; наоборот, находясь в другой, мы получаем возможность воспринимать все как «созерцаемую» реальность.

Дойдя до этого момента, мы должны сделать одно важное для эстетики замечание, без которого нелегко проникнуть в суть искусства — как нового, так и старого. Среди разнообразных аспектов реальности, соответствующих различным точкам зрения, существует один, из которого проистекают все остальные и который во всех остальных предполагается. Это аспект «живой» реальности. Если бы не было никого, кто по-настоящему, обезумев от горя, переживал агонию умирающего, если, на худой конец, ею бы не был озабочен даже врач, читатели не восприняли бы патетических жестов газетчика, описавшего событие, или картины, на которой художник изобразил лежащего в постели человека, окруженного скорбными фигурами, — событие это осталось бы им непонятно.

То же самое можно сказать о любом другом объекте, будь то человек или вещь. Изначальная форма яблока — та, которой яблоко обладает в момент, когда мы намереваемся его съесть. Во всех остальных формах, которые оно может принять, — например, в той, какую ему придал художник 1600 года, скомбинировавший его с орнаментом в стиле барокко; либо в той, какую мы видим в натюрморте Сезанна; или в простой метафоре, где оно сравнивается с девичьей щечкой, — везде сохраняется в большей или меньшей степени этот первоначальный образ. Живопись, поэзия, лишённые «живых» форм, были бы невразумительны, то есть обратились бы в ничто, как ничего не могла бы передать речь, где каждое слово было бы лишено своего обычного значения.

Это означает, что в шкале реальностей своеобразное первенство отводится «живой» реальности, которая обязывает нас оценить ее как «ту самую» реальность по преимуществу. Вместо «живой» реальности можно говорить о человеческой реальности. Художник, который бесстрастно наблюдает сцену смерти, выглядит «бесчеловечным». Поэтому скажем, что «человеческая» точка зрения — это та, стоя на которой мы «переживаем» ситуации, людей или предметы. И обратно, «человеческими», гуманизированными окажутся любые реальности — женщина, пейзаж, судьба, — когда они предстанут в перспективе, в которой они обыкновенно «переживаются».

Вот пример, все значение которого читатель уяснит позже. Помимо вещей мир состоит еще из наших идей.

Мы употребляем их «по-человечески», когда при их посредстве мыслим о предметах; скажем, думая о Наполеоне, мы, само собой, имеем в виду великого человека, носящего это имя, и только. Напротив, психолог-теоретик, становясь на точку зрения неестественную, «бесчеловечную», мысленно отвлекается, отворачивается от Наполеона и, вглядываясь в свой внутренний мир, стремится проанализировать имеющуюся у него идею Наполеона как таковую. Речь идет, стало быть, о направлении зрения, противоположном тому, которому мы стихийно следуем в повседневной жизни. Идея здесь, вместо того чтобы быть инструментом, с помощью которого мы мыслим вещи, сама превращается в предмет и цель нашего мышления. Позднее мы увидим, какое неожиданное употребление делает из этого поворота к «бесчеловечному» новое искусство.

НАЧИНАЕТСЯ ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВА

С головокружительной быстротой новое искусство разделилось на множество направлений и разнообразных устремлений. Нет ничего более легкого, нежели подмечать различия между отдельными произведениями. Но подобное акцентирование различий и специфики ни к чему не приведет, если сначала не определить то общее, которое разнообразно, а порою и противоречиво утверждается во всех них. Еще старик Аристотель учил, что вещи различаются между собою в том, в чем они походят друг на друга, в том, что у них есть общего. Поскольку все тела обладают цветом, мы замечаем, что одни тела отличаются по цвету от других. Собственно говоря, виды — это специфика рода, и мы различаем их только тогда, когда можем увидеть в многообразии изменчивых форм их общий корень.

Отдельные направления нового искусства меня интересуют мало, и, за немногими исключениями, еще меньше меня интересует каждое произведение в отдельности. Да, впрочем, и мои оценки новой художественной продукции вовсе не обязательно должны кого-то интересовать. Авторы, ограничивающие свой пафос одобрением или неодобрением того или иного творения, не должны были бы вовсе братья за перо. Они не годятся для своей трудной профессии. Как говаривал Кларин о некоторых незадачливых драматургах, им лучше бы направить усилия на что-нибудь другое, например завести семью. — Уже есть? Пусть заведут другую.

Вот что важно: в мире существует бесспорный факт нового эстетического чувства*. При всей множественности нынешних направлений и индивидуальных творений это чувство воплощает общее, родовое начало, будучи их первоисточником. Небезынтересно разобраться в этом явлении.

Пытаясь определить общеродовую и наиболее характерную черту нового творчества, я обнаруживаю тенденцию к дегуманизации искусства. Предыдущий раздел помогает уточнить эту формулу.

При сопоставлении полотна, написанного в новой манере, с другим, 1860 года, проще всего идти путем сравнения предметов, изображенных на том и другом, — скажем, человека, здания или горы. Скоро станет очевидным, что в 1860 году художник в первую очередь добивался, чтобы предметы на его картине сохраняли тот же облик и вид, что и вне картины, когда они составляют часть «живой», или «человеческой», реальности. Возможно, что художник 1860 года ставит нас перед лицом многих других эстетических проблем; но тут важно одно: он начинал с того, что обеспечивал такое сходство. Человек, дом или гора узнаются здесь с первого взгляда — это наши старые знакомые. Напротив, узнать их на современной картине стоит усилий; зритель думает, что художнику, вероятно, не удалось добиться сходства. Картина 1860 года тоже может быть плохо написана, то есть между предметами, изображенными на картине, и теми же самыми предметами вне ее существует большая разница, заметное расхождение. И все же, сколь ни была

* Эта новая восприимчивость присуща не только творцам искусства, но также и публике. Если сказано, что новое искусство есть искусство для художников и понятное художникам, ясно, что речь идет не только о тех, кто его создает, но и о тех, кто способен воспринимать чисто художественные ценности. — *Примеч. автора.*

бы велика дистанция между объектом и картиной, дистанция, которая свидетельствует об ошибках художника-традиционалиста, его промахи на пути к реальности равноценны той ошибке, из-за которой Орбанеха у Сервантеса должен был ориентировать своих зрителей словами: «Это петух». В новой картине наблюдается обратное: художник не ошибается и не случайно отклоняется от «натуры», от жизненно-человеческого, от сходства с ним, — отклонения указывают, что он избрал путь, противоположный тому, который приводит к «гуманизированному» объекту.

Далекий от того, чтобы по мере сил приближаться к реальности, художник решается пойти против нее. Он ставит целью дерзко деформировать реальность, разбить ее человеческий аспект, дегуманизировать ее. С тем, что изображено на традиционных полотнах, мы могли бы мысленно сжиться. В Джоконду влюблялись многие англичане, а вот с вещами, изображенными на современных полотнах, невозможно ужиться: лишив их «живой» реальности, художник разрушил мосты и сжег корабли, которые могли бы перенести нас в наш обычный мир, вынуждая иметь дело с предметами, с которыми невозможно обходиться «по-человечески». Поэтому нам остается поскорее подыскать или сымпровизировать иную форму взаимоотношений с вещами, совершенно отличную от нашей обычной жизни; мы должны найти, изобрести новый, небывалый тип поведения, который соответствовал бы столь непривычным изображениям. Эта новая жизнь, эта жизнь изобретенная предполагает упразднение жизни непосредственной, и она-то и есть художественное понимание и художественное наслаждение. Она не лишена чувств и страстей, но эти чувства и страсти, очевидно, принадлежат к иной психической

флоре, чем та, которая присуща ландшафтам нашей первозданной «человеческой» жизни. Это вторичные эмоции; ультраобъекты* пробуждают их в живущем внутри нас художнике. Это специфически эстетические чувства.

Могут сказать, что подобного результата всего проще достичь, полностью избавившись от «человеческих» форм — от человека, здания, горы — и создав не похожее ни на что изображение. Но, во-первых, это нерационально**. Быть может, даже в наиболее абстрактной линии орнамента скрыто пульсирует смутное воспоминание об определенных «природных» формах. Во-вторых, и это самое важное соображение, искусство, о котором мы говорим, «бесчеловечно» не только потому, что не включает в себе «человеческих» реалий, но и потому, что оно принципиально ориентировано на дегуманизацию. В бегстве от «человеческого» ему не столь важен термин *ad quem*, сколько термин *a que****, тот человеческий аспект, который оно разрушает. Дело не в том, чтобы нарисовать что-нибудь совсем непохожее на человека — дом или гору, — но в том, чтобы нарисовать человека, который как можно менее походил бы на человека; дом, который сохранил бы лишь безусловно необходимое для того, чтобы мы могли разгадать его метаморфозу; конус, который чудесным образом появился бы из того, что прежде было горной вершиной, подобно тому как змея выползает из старой кожи. Эстетическая радость для нового художника проистекает из этого триумфа над человеческим; поэтому надо конкретизировать победу и в каждом случае предъявлять удушенную жертву.

* Ультраизм, пожалуй, одно из наиболее подходящих обозначений для нового типа восприимчивости. — *Примеч. автора.*

** Одна попытка была сделана в этом крайнем духе — некоторые работы Пикассо, но с поучительным неуспехом. — *Примеч. автора.*

*** к кому; от кого (*лат.*).

Толпа полагает, что это легко — оторваться от реальности, тогда как на самом деле это самая трудная вещь на свете. Легко произнести или нарисовать нечто начисто лишенное смысла, невразумительное, никчемное: достаточно пробормотать слова без всякой связи* или провести наудачу несколько линий. Но создать нечто, что не копировало бы «натуры» и, однако, обладало бы определенным содержанием, — это предполагает дар более высокий.

«Реальность» постоянно караулит художника, дабы помешать его бегству. Сколько хитрости предполагает гениальный побег! Нужно быть «Улиссом наоборот» — Улиссом, который освобождается от своей повседневной Пенелопы и плывет среди рифов навстречу чарам Цирцеи. Когда же при случае художнику удастся ускользнуть из-под вечного надзора — да не обидит нас его гордая поза, скупой жест святого Георгия с поверженным у ног драконом!

ПРИЗЫВ К ПОНИМАНИЮ

В произведениях искусства, предпочитавшегося в прошедшем столетии, всегда содержится ядро «живой» реальности, и как раз она выступает в качестве субстанции эстетического предмета. Именно этой реальностью

* Эксперименты дадаистов. Подобные экстравагантные и неудачные попытки нового искусства с известной логикой вытекают из самой его природы. Это доказывает ех *abundantia* (с лихвой [*лат.*]), что речь на самом деле идет о едином и созидательном движении.

занято искусство, которое свои операции над нею сводит порой к тому, чтобы отшлифовать это «человеческое» ядро, придать ему внешний лоск, блеск — украсить его. Для большинства людей такой строй произведения искусства представляется наиболее естественным, единственно возможным. Искусство — это отражение жизни, натура, увиденная сквозь индивидуальную призму, воплощение «человеческого» и т. д. и т. п. Однако ситуация такова, что молодые художники с не меньшей убежденностью придерживаются противоположного взгляда. Почему старики непременно должны быть сегодня правы, если завтрашний день сделает молодежь более правой, нежели стариков? Прежде всего не стоит ни возмущаться, ни кричать. «Dove si srida non è vera scienza»*, — говорил Леонардо да Винчи; «Neque lugere, neque indignari, sed intelligere»**, — советовал Спиноза. Самые укоренившиеся, самые бесспорные наши убеждения всегда и самые сомнительные. Они ограничивают и сковывают нас, втискивают в узкие рамки. Ничтожна та жизнь, в которой не клокочет великая страсть к расширению своих границ. Жизнь существует постольку, поскольку существует жажда жить еще и еще. Упрямое стремление сохранить самих себя в границах привычного, каждодневного — это всегда слабость, упадок жизненных сил. Эти границы, этот горизонт есть биологическая черта, живая часть нашего бытия; до тех пор, пока мы способны наслаждаться цельностью и полнотой, горизонт перемещается, плавно расширяется и колеблется почти в такт нашему дыханию. Напротив, когда горизонт застывает, это значит, что наша жизнь окостенела и мы начали стареть.

* «Где окрик, там нет истинной науки» (*ит.*).

** «Не плакать, не возмущаться, но понимать» (*лат.*).

Вовсе не само собой разумеется, что произведение искусства, как обычно полагают академики, должно содержать «человеческое» ядро, на которое музы наводят лоск. Это прежде всего значило бы сводить искусство к одной только косметике. Ранее уже было сказано, что восприятие «живой» реальности и восприятия художественной формы несовместимы в принципе, так как требуют различной настройки нашего аппарата восприятия. Искусство, которое предложило бы нам подобное двойное видение, заставило бы нас окосеть. Деятнадцатый век чрезмерно окосел; поэтому его художественное творчество, далекое от того, чтобы представлять нормальный тип искусства, является, пожалуй, величайшей аномалией в истории вкуса. Все великие эпохи искусства стремились избежать того, чтобы «человеческое» было центром тяжести произведения. И императив исключительного реализма, который управлял восприятием в прошлом веке, является беспримерным в истории эстетики безобразием. Новое вдохновение, внешне столь экстравагантное, вновь нащупывает, по крайней мере в одном пункте, реальный путь искусства, и путь этот называется «воля к стилю».

Итак, стилизовать — значит деформировать реальное, дереализовать. Стилизация предполагает дегуманизацию. И наоборот, нет иного способа дегуманизации, чем стилизация. Между тем реализм призывает художника покорно придерживаться формы вещей и тем самым не иметь стиля. Поэтому поклонник Сурбарана, не зная, что сказать, говорит, что у его полотен есть характер — точно так же характер, а не стиль присущ Лукасу или Соролье, Диккенсу или Гальдосу. Зато XVIII век, у которого так мало характера, весь насыщен стилем.

ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новые художники наложили табу на любые попытки привить искусству «человеческое». «Человеческое», комплекс элементов, составляющих наш привычный мир, предполагает иерархию трех уровней. Высший — это ранг личности, далее — живых существ и, наконец, неорганических вещей. Ну что же, вето нового искусства осуществляется с энергией, пропорциональной иерархической высоте предмета. Личность, будучи самым человеческим, отвергается новым искусством решительнее всего. Это особенно ясно на примере музыки и поэзии.

От Бетховена до Вагнера основной темой музыки было выражение личных чувств. Лирический художник возводил великие музыкальные здания, с тем чтобы заселить их своим жизнеописанием. В большей или меньшей степени искусство было исповедью. Поэтому эстетическое наслаждение было неочищенным. В музыке, говорил еще Ницше, страсти наслаждаются самими собою. Вагнер привносит в «Тристана» свой адюльтер с Везендонк, и, если мы хотим получить удовольствие от его творения, у нас нет другого средства, как самим, на пару часов, превратиться в любовников. Эта музыка потрясает нас, и, чтобы наслаждаться ею, нам нужно плакать, тосковать или таять в неге. Вся музыка от Бетховена до Вагнера — это мелодрама.

Это нечестно, сказал бы нынешний художник. Это значит пользоваться благородной человеческой слабостью, благодаря которой мы способны заражаться скорбью или радостью ближнего. Однако способность заражаться вовсе не духовного порядка, это механический отклик, наподобие того, как царапанье ножом по стеклу

механически вызывает в нас неприятное, судорожное ощущение. Дело тут в автоматическом эффекте, не больше. Не следует смех от щекотки путать с подлинным весельем. Романтик охотится с манком: он бесчестно пользуется ревностью птицы, чтобы всадить в нее дробинки своих звуков. Искусство не может основываться на психическом заражении — это инстинктивный бессознательный феномен, а искусство должно быть абсолютной проясненностью, полуднем разума. Смех и слезы эстетически суть обман, надувательство. Выражение прекрасного не должно переходить границы улыбки или грусти. А еще лучше — не доходить до этих границ. «Toute maitrise jette le froid»* (Малларме).

Подобные рассуждения молодого художника представляются мне достаточно основательными. Эстетическое удовольствие должно быть удовольствием разумным. Так же как бывают наслаждения слепые, бывают и зрячие. Радость пьяницы слепа; хотя, как все на свете, она имеет свою причину — алкоголь, — но повода для нее нет. Выигравший в лотерею тоже радуется, но радуется иначе — чему-то определенному. Веселость пьянчужки закупорена, замкнута в себе самой — это веселость, неизвестно откуда взявшаяся, для нее, как говорится, нет оснований. Выигравший, напротив, ликует именно оттого, что отдает отчет в вызвавшем радость событии, его радость оправданна. Он знает, отчего он веселится — это зрячая радость, она живет своей мотивировкой; кажется, что она излучается от предмета к человеку**.

* «Всякое мастерство леденит» (фр.).

** Причинность и мотивация суть, стало быть, два совершенно различных комплекса. Причины состояний нашего сознания не составляют с нами единого целого — их выявляет наука. Напротив, мотивы чувств, волевых актов и убеждений нерасторжимы с последними. — *Примеч. автора.*

Все, что стремится быть духовным, а не механическим, должно обладать разумным и глубоко обоснованным характером. Романтическое творение вызывает удовольствие, которое едва ли связано с его сущностью. Что общего у музыкальной красоты, которая должна находиться как бы вне меня, там, где рождаются звуки, с тем блаженным томлением, которое, быть может, она во мне вызовет и от которого млеет романтическая публика? Нет ли здесь идеального *quid pro quo**? Вместо того чтобы наслаждаться художественным произведением, субъект наслаждается самим собой: произведение искусства было только возбудителем, тем алкоголем, который вызвал чувство удовольствия. И так будет всегда, пока искусство будет сводиться главным образом к демонстрации жизненных реальностей. Эти реальности неизбежно застают нас врасплох, провоцируя на сочувствие, которое мешает созерцать их в объективной чистоте.

Видение — это акт, связанный с отдаленностью, с дистанцией. Каждое из искусств обладает проекционным аппаратом, который отдаляет предметы и преобразует их. На магическом экране мы созерцаем их как представителей недоступных звездных миров, предельно далеких от нас. Когда же подобной дереализации не хватает, мы роковым образом приходим в состояние нерешительности, не зная, переживать нам вещи или созерцать их.

Рассматривая восковые фигуры, все мы чувствуем какое-то внутреннее беспокойство. Это происходит из-за некой тревожной двусмысленности, живущей в них и мешающей нам в их присутствии чувствовать себя уверенно и спокойно. Если мы пытаемся видеть в них жи-

* одно вместо другого (*лат.*).

вые существа, они насмеваются над нами, обнаруживая мертвенность манекена; но если мы смотрим на них как на фикции, они словно содрогаются от негодования. Невозможно свести их к предметам реальности. Когда мы смотрим на них, нам начинает чудиться, что это они рассматривают нас. В итоге мы испытываем отвращение к этой разновидности взятых напрокат трупов. Восковая фигура — это чистая мелодрама.

Мне думается, что новое художественное восприятие руководится чувством отвращения к «человеческому» в искусстве — чувством весьма сходным с тем, которое ощущает человек наедине с восковыми фигурами. В противовес этому мрачный юмор восковых фигур всегда приводил в восторг простонародье. В данной связи зададимся дерзким вопросом, не надеясь сразу на него ответить: что означает это отвращение к «человеческому» в искусстве? Отвращение ли это к «человеческому» в жизни, к самой действительности или же как раз обратное — уважение к жизни и раздражение при виде того, как она смешивается с искусством, с вещью столь второстепенной, как искусство? Но что значит приписать «второстепенную» роль искусству — божественному искусству, славе цивилизации, гордости культуры и т.д.? Я уже сказал, читатель, — слишком дерзко об этом спрашивать, и пока что оставим это.

У Вагнера мелодрама достигает безмерной экзальтации. И, как всегда, форма, достигнув высшей точки, начинает превращаться в свою противоположность. Уже у Вагнера человеческий голос перестает быть центром внимания и тонет в космическом. Однако на этом пути неизбежной была еще более радикальная реформа. Необходимо было изгнать из музыки личные пе-

реживания, очистить ее, довести до образцовой объективности. Этот подвиг совершил Дебюсси. Только после него стало возможно слушать музыку невозмутимо, не упиваясь и не рыдая. Все программные изменения, которые произошли в музыке за последние десятилетия, выросли в этом новом, надмирном мире, гениально завоеванном Дебюсси. Это превращение субъективного в объективное настолько важно, что перед ним бледнеют последующие дифференциации*. Дебюсси дегуманизировал музыку, и поэтому с него начинается новая эра звукового искусства.

То же самое произошло и в лирике. Следовало освободить поэзию, которая под грузом человеческой материи превратилась в нечто неподъемное и тащилась по земле, цепляясь за деревья и задевая за крыши, подобно поврежденному воздушному шару. Здесь освободителем стал Малларме, который вернул поэзии способность летать и возвышающую силу. Сам он, может быть, и не осуществил того, что хотел, но он был капитаном новых исследовательских полетов в эфире, именно он отдал приказ к решающему маневру — сбросить балласт.

Вспомним, какова была тема романтического века. Поэт с возможной изысканностью посвящал нас в приватные чувства доброго буржуа, в свои беды, большие и малые, открывая нам свою тоску, политические и религиозные симпатии, а если он англичанин — то и грезы за трубкой табака. Поэт всячески стремился растрогать нас своим повседневным существованием. Правда, гений, который время от времени появлялся, допускал,

* С более тщательным анализом того, что значит Дебюсси на фоне романтической музыки, можно познакомиться в моем эссе «Musicalia». — *Примеч. автора.*

чтобы вокруг «человеческого» ядра поэмы воссияла фотосфера, состоящая из более тонко организованной материи, — таков, например, Бодлер. Однако подобный ореол возникал непреднамеренно. Поэт же всегда хотел быть человеком.

И это представляется молодежи скверным, спросит, сдерживая возмущение, некто к ней не принадлежащий. Чего же они хотят? Чтобы поэт был птахой, ихтиозавром, додекаэдром?

Не знаю, не знаю; но мне думается, что поэт нового поколения, когда он пишет стихи, стремится быть только поэтом. Мы еще увидим, каким образом все новое искусство, совпадая в этом с новой наукой, политикой, новой жизнью, ликвидирует наконец расплывчатость границ. Желать, чтобы границы между вещами были строго определены, есть признак мыслительной опрятности. Жизнь — это одно. Поэзия — нечто другое, так теперь думают или по крайней мере чувствуют. Не будем смешивать эти две вещи. Поэт начинается там, где кончается человек. Судьба одного — идти своим «человеческим» путем; миссия другого — создавать несуществующее. Этим оправдывается ремесло поэта. Поэт умножает, расширяет мир, прибавляя к тому реальному, что уже существует само по себе, новый, ирреальный материк. Слово «автор» происходит от «auctor» — тот, кто расширяет. Римляне называли так полководца, который добывал для родины новую территорию.

Малларме был первым человеком прошлого века, который захотел быть поэтом; по его собственным словам, он «отверг естественные материалы» и сочинял маленькие лирические вещицы, отличные от «человеческой»

флоры и фауны. Эта поэзия не нуждается в том, чтобы быть «прочувствованной», так как в ней нет ничего «человеческого», а потому и нет ничего трогательного. Если речь идет о женщине, то — о «никакой», а если он говорит «пробил час», то этого часа не найти на циферблате. В силу этих отрицаний стихи Малларме изгоняют всякое созвучие с жизнью и представляют нам образы столь внеземные, что простое созерцание их уже есть величайшее наслаждение. Среди этих образов что делать со своим бедным «человеческим» лицом тому, кто взял на себя должность поэта? Только одно: заставить его исчезнуть, испариться, превратиться в чистый, безымянный голос, который поддерживает парящие в воздухе слова — истинные персонажи лирического замысла. Этот чистый, безымянный голос, подлинный акустический субстрат стиха, есть голос поэта, который умеет освобождаться от «человеческой» материи.

Со всех сторон мы приходим к одному и тому же — к бегству от человека. Есть много способов дегуманизации. Возможно, сегодня преобладают совсем другие способы, весьма отличные от тех, которыми пользовался Малларме, и я вовсе не закрываю глаза на то, что у Малларме все же имеют место романтические колебания и рецидивы. Но так же, как вся современная музыка началась с Дебюсси, вся новая поэзия развивается в направлении, указанном Малларме. И то, и другое имя представляется мне существенным — если, отвлекаясь от частных деталей, попытаться определить главную линию нового стиля.

Нашего современника моложе тридцати лет весьма трудно заинтересовать книгами, где под видом искусства излагаются идеи или пересказываются житейские

похождения каких-то мужчин и женщин. Все это отдает социологией, психологией и было бы охотно принято этим молодым человеком, если бы, без всяких претензий на искусство, об этом говорилось от имени социологии или психологии. Но искусство для него — нечто совсем другое.

Поэзия сегодня — это высшая алгебра метафор.

ТАБУ И МЕТАФОРА

Метафора — это, вероятно, наиболее богатая из тех потенциальных возможностей, которыми располагает человек. Ее действенность граничит с чудотворством и представляется орудием творения, которое Бог забыл внутри одного из созданий, когда творил его, — подобно тому как рассеянный хирург порой оставляет инструмент в теле пациента.

Все прочие потенции удерживают нас внутри реального, внутри того, что уже есть. Самое большее, что мы можем сделать, — это складывать или вычитать одно из другого. Только метафора облегчает нам выход из этого круга и воздвигает между областями реального воображаемые рифы, цветущие призрачные острова.

Поистине удивительна в человеке эта мыслительная потребность заменять один предмет другим не столько в целях овладения предметом, сколько из желания скрыть его. Метафора ловко прячет предмет, маскируя его другой вещью; метафора вообще не имела бы смысла, если

бы за ней не стоял инстинкт, побуждающий человека избегать всего реального*.

Когда недавно один психолог задался вопросом, в чем первоисточник метафоры, он с удивлением обнаружил, что она отчасти укоренена в духе табу**.

Был период, когда страх вдохновлял человека, являясь главным стимулом его действий, — была эпоха господства космического ужаса. В ту пору человек стремился избегать контактов с определенными реальностями, которые, однако, были неизбежны. Наиболее распространенное в какой-либо местности животное, от которого зависело пропитание, приобретало сакральный статус. Отсюда возникало представление, что к нему нельзя прикасаться руками. Что же тогда предпринимает индеец Лиллоо-эт, чтобы поесть? Он садится на корточки и подсовывает руки под колени. Таким способом есть дозволяется, потому что руки под коленями метафорически те же ноги. Вот троп телесной позы, первичная метафора, предшествующая словесному образу и берущая начало в стремлении избежать фактической реальности.

И поскольку слово для первобытного человека — то же, что и вещь, только наименованная, необходимым оказывается не называть и тот жуткий предмет, на который упало табу. Вот почему этому предмету дают имя другого предмета, упоминая о первом в замаскированной и косвенной форме. Так, полинезиец, которому нельзя называть ничего из того, что относится к коро-

* Подробнее о метафоре см. в эссе «Две главные метафоры», опубликованном в журнале «El Espectador» (см. 463—481 стр. наст. издания. — *Примеч. ред.*), а также в «Эссе на эстетические темы в форме Предисловия».

** См.: Werner H. Die Ursprünge der Metapher, 1919. — *Примеч. автора.*

лю, при виде сияющих в его дворце-хижине факелов должен сказать: «Свет сияет средь небесных туч». Вот пример метафорического уклонения.

Табуистические по природе, метафорические приемы могут использоваться с самыми различными целями. Одна из них, ранее преобладавшая в поэзии, заключалась в том, чтобы облагородить реальный предмет. Образ использовался с декоративной целью, с тем чтобы разукрасить, расшить золотом любимую вещь. Было бы любопытно исследовать следующий феномен: в новом поэтическом творчестве, где метафора является его субстанцией, а не орнаментом, отмечается странное преобладание очернительных образов, которые, вместо того чтобы облагораживать и возвышать, снижают и высмеивают бедную реальность. Недавно я прочел у одного молодого поэта, что молния — это плотницкий аршин и что зима превратила деревья в веники, чтобы подмести небо. Лирическое оружие обращается против естественных вещей, ранит и убивает их.

СУПРАРЕАЛИЗМ И ИНФРАРЕАЛИЗМ

Метафора если и является наиболее радикальным средством дегуманизации, то не единственным. Таких средств множество, и они различны по своему эффекту.

Одно, самое элементарное, состоит в простом изменении привычной перспективы. С человеческой точки зрения вещи обладают определенным порядком и

иерархией. Одни представляются нам более важными, другие менее, третьи — совсем незначительными. Чтобы удовлетворить страстное желание дегуманизации, совсем не обязательно искажать первоначальные формы вещей. Достаточно перевернуть иерархический порядок и создать такое искусство, где на переднем плане окажутся наделенные монументальностью мельчайшие жизненные детали.

Это — узел, связывающий друг с другом внешне столь различные направления нового искусства. Тот же самый инстинкт бегства, ускользания от реальности находит удовлетворение и в «супрареализме» метафоры, и в том, что можно назвать «инфрареализмом». Поэтическое «вознесение» может быть заменено «погружением ниже уровня» естественной перспективы. Лучший способ преодолеть реализм — довести его до крайности, например взять лупу и рассматривать через нее жизнь в микроскопическом плане, как это делали Пруст, Рамон Гомес де ла Серна, Джойс.

Рамон в состоянии написать целую книгу о женской груди (кто-то назвал его «новым Колумбом, плывущим к полушариям»), или о цирке, или о заре, или о Растро, или о Пуэрта дель Соль. Подход состоит в том, чтобы героями экзистенциальной драмы сделать периферийные сферы нашего сознания. В этом смысле Жироду, Моран и некоторые другие используют разные вариации одних и тех же лирических приемов.

Именно поэтому оба они были столь восторженными поклонниками Пруста; по той же, в общем, причине и новое поколение получает от Пруста удовольствие, хотя этот писатель принадлежит совсем другой эпохе. Может быть, самое главное, что сближает многоголосицу его

книг с новым типом восприятия, — это смена перспективы, точки зрения на старые, монументальные формы изображения психологии, которые составляли содержание романа, и нечеловеческая пристальность к микромиру чувств, социальных отношений и характеров.

ПОВОРОТ НА 180 ГРАДУСОВ

По мере того как метафора становится субстанциальной, она превращается в героя поэтического действия. Это, в сущности, означает, что эстетическое чувство в корне изменилось — оно повернулось на 180 градусов. Раньше метафора покрывала реальность как кружево, как плащ. Теперь, напротив, метафора стремится освободиться от внепоэтических, или реальных, покровов — речь идет о том, чтобы реализовать метафору, сделать из нее *res poetica**. Но эта инверсия эстетического процесса связана не только с метафорой, она обнаруживает себя во всех направлениях и всех изобразительных средствах, так что можно сказать: как тенденция она теперь составляет генеральную линию всего современного искусства**.

Связь вашего сознания с предметами состоит в том, что мы мыслим их, создаем о них представления. Стро-

* поэтическую вещь (лат.).

** Было бы досадно повторять в конце каждой страницы, что любая из черт нового искусства, выделенных мною в качестве существенных, не должна абсолютироваться, но рассматриваться только как тенденция. — *Примеч. автора.*

го говоря, мы обладаем не самой реальностью, а лишь идеями, которые нам удалось сформировать относительно нее. Наши идеи как бы смотровая площадка, с которой мы обзираем весь мир. Гете удачно сказал, что каждое новое понятие — это как бы новый орган, который мы приобретаем. Мы видим вещи с помощью идей о вещах, хотя в естественном процессе мыслительной деятельности не отдаем себе в этом отчета, точно так же как глаз в процессе видения не видит самого себя. Иначе говоря, мыслить — значит стремиться охватить реальность посредством идей; стихийное движение мысли идет от понятий к внешнему миру.

Однако между идеей и предметом всегда существует непреодолимый разрыв. Реальность всегда избыточна по сравнению с понятием, которое стремится ограничить ее своими рамками. Предмет всегда больше понятия и не совсем такой, как оно. Последнее всегда только жалкая схема, лесенка, с помощью которой мы стремимся достичь реальности. Тем не менее нам от природы свойственно верить, что реальность — это то, что мы думаем о ней; поэтому мы смешиваем реальный предмет с соответствующим понятием, простодушно принимаем понятие за предмет как таковой. В общем, наш жизненный инстинкт «реализма» ведет нас к наивной идеализации реального. Это врожденная склонность к «человеческому».

И вот если, вместо того чтобы идти в этом направлении, мы решимся повернуться спиной к предполагаемой реальности, принять идеи такими, каковы они суть, просто в качестве субъективных схем, и оставим их самими собой — угловатыми, ломкими, но зато чистыми и прозрачными контурами, — в общем, если

мы поставим себе целью обдуманно, сознательно субстантивировать идеи, поставить их на место вещей, мы их тем самым дегуманизируем, освободим от тождества с вещами. Ибо, в сущности, они ирреальны. Принимать их за реальные вещи — значит «идеализировать», обогащать их, наивно их фальсифицировать. Заставлять же идеи жить в их собственной ирреальности — это значит, скажем так, реализовать ирреальное именно как ирреальное. Здесь мы не идем от сознания к миру — скорее наоборот: мы стремимся *вдохнуть жизнь* в схемы, объективируем эти внутренние и субъективные конструкции.

Художник-традиционалист, пишущий портрет, претендует на то, что он погружен в реальность изображаемого лица, тогда как в действительности живописец самое большее наносит на полотно схематичный набор отдельных черт, произвольно подобранных сознанием, выхватывая их из той бесконечности, каковая есть реальный человек. А что если бы, вместо того чтобы пытаться нарисовать человека, художник решился нарисовать свою идею, схему этого человека? Тогда картина была бы самой правдой и не произошло бы неизбежного поражения. Картина, отказавшись состязаться с реальностью, превратилась бы в то, чем она и является на самом деле, то есть в ирреальность.

Экспрессионизм, кубизм и т. п. в разной мере пытались осуществить на деле такую решимость, создавая в искусстве радикальное направление. От изображения предметов перешли к изображению идей: художник ослеп для внешнего мира и повернул зрачок внутрь, в сторону субъективного ландшафта.

Несмотря на рыхлость, необработанность, неотесанность материала, пьеса Пиранделло «Шесть персонажей

в поисках автора» была, должно быть, единственной за последнее время вещью, которая заставила задуматься каждого поклонника эстетики драматургии. Эта пьеса служит блестящим примером той инверсии эстетического чувства, которую я здесь стараюсь описать. Традиционный театр предлагает нам видеть в его персонажах личности, а в их гримасах — выражение «человеческой» драмы. Пиранделло, напротив, удаётся заинтересовать нас персонажами как таковыми — как идеями или чистыми схемами.

Можно даже утверждать, что это первая «драма идей» в строгом смысле слова. Пьесы, которые прежде назывались так, не были драмами идей, это драмы псевдоличностей, символизировавших идеи. Разыгрываемая в «Шести персонажах» скорбная житейская драма просто предлог — эта драма и воспринимается как неправдоподобная. Зато перед нами — подлинная драма идей как таковых, драма субъективных фантомов, которые живут в сознании автора. Попытка дегуманизации здесь предельно ясна, и возможность ее осуществления показана несомненно. В то же время становится ясно, что для широкой публики весьма трудно приспособить зрение к этой измененной перспективе. Публика стремится отыскать «человеческую» драму, которую художественное произведение все время обесценивает, отодвигает на задний план, над которой оно постоянно иронизирует, на место которой, то есть на первый план, оно ставит саму театральную фикцию. Широкую публику возмущает, что ее надуют, она не умеет находить удовольствие в этом восхитительном обмане искусства, тем более чудесном, чем откровеннее его обманная ткань.

ИКОНОБОРЧЕСТВО

Вероятно, не будет натяжкой утверждать, что пластические искусства нового стиля обнаружили искреннее отвращение к «живым» формам, или к формам «живых существ». Это станет совершенно очевидным, если сравнить искусство нашего времени с искусством той эпохи, когда от готического канона, словно от кошмара, стремились избавиться живопись и скульптура, давшие великий урожай мирского ренессансного искусства. Кисть и резец испытывали тогда сладостный восторг, следуя животным или растительным образцам с их уязвимой плотью, в которой трепещет жизнь. Не важно, какие именно живые существа, лишь бы в них пульсировала жизнь. И от картины или скульптуры органическая форма распространяется на орнамент. Это время рогов изобилия, эпоха потоков бьющей ключом жизни, которая грозит наводнить мир сочными и зрелыми плодами.

Почему же современный художник испытывает ужас перед задачей следовать нежным линиям живой плоти и искажает их геометрической схемой? Все заблуждения и даже мошенничества кубизма не омрачают того факта, что в течение определенного времени мы наслаждались языком чистых евклидовых форм.

Феномен усложнится, если мы вспомним, что через историю периодически проходило подобное неистовство изобразительного геометризма. Уже в эволюции доисторического искусства мы замечаем, что художественное восприятие начинается с поисков живой формы и завершается тем, что уходит от нее, как бы выполненное

страха и отвращения, прячась в абстрактных знаках — в последнем прибежище одушевленных или космических образов! Змея стилизуется как меандр, солнце — как свастика. Иногда отвращение к живой форме доходит до ненависти и вызывает общественные конфликты. Так было в восстании восточного христианства против икон, в семитическом запрете изображать животных. Этот инстинкт, противоположный инстинкту людей, украсивших пещеру Альтамира, несомненно, коренится наряду с религиозной подоплекой в таком типе эстетического сознания, последующее влияние которого на византийское искусство очевидно.

Было бы чрезвычайно любопытно исследовать со всем вниманием внезапные вспышки иконоборчества, которые одна за другой возникают в религии и искусстве. В новом искусстве явно действует это странное иконоборческое сознание; его формулой может стать принятая манихеями заповедь Порфирия, которую так оспаривал св. Августин: «*Omne corpus figiendum est*»*. Ясно, что речь идет о живой плоти. Забавная инверсия греческой культуры, которая на вершине расцвета была столь благосклонна к «живым» формам!

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОШЛОГО

Цель настоящего эссе, как уже говорилось, состоит в том, чтобы описать новое искусство через некоторые его отличительные черты. Однако сама эта цель предпола-

* «Следует бежать плоти» (лат.).

гает в читателе более серьезную любознательность, которая здесь вряд ли будет удовлетворена, — эти страницы оставят его наедине с собственными размышлениями. Я имею в виду вот что.

Как-то я уже отмечал*, что искусство и чистая наука (именно потому, что они — наиболее свободные виды деятельности, менее прямолинейно подчиненные социальным условиям каждой эпохи) таковы, что по ним в первую очередь можно судить о переменах в коллективном типе восприятия. Когда меняется главная жизненная установка, человек тут же начинает выражать новое настроение и в художественном творчестве, в творческих эманациях. Тонкость обеих материй — искусства и науки — делает их бесконечно чувствительными к любому свежему духовному веянию. Подобно тому как в деревне, выходя утром на крыльцо, мы смотрим на поднимающийся из труб дым, чтобы определить, откуда сегодня ветер, — на искусство и науку новых поколений мы можем взглянуть с тем же метеорологическим любопытством.

Но для этого неизбежно начать с определения нового явления, и только потом можно будет задать вопрос, симптомом и предвестником чего является новый всеобщий стиль жизневосприятия. Ответ потребовал бы исследовать причины удивительного поворота, который ныне совершает искусство, но это слишком трудное предприятие, чтобы браться за него здесь. Откуда такой зуд «дегуманизировать», откуда такое отвращение к «живым формам»? Вероятно, у этого исторического явления, как и у всякого другого, сеть бесчисленных корней, иссле-

* См. работу «Тема вашего времени» — *Примеч. автора.*

дование которых потребовало бы более изощренных приемов.

Но все же, каковы бы ни были прочие причины, существует одна в высшей степени очевидная, хотя и не претендующая на верховную роль.

В искусстве трудно преувеличить влияние прошлого на будущее. В душе художника всегда происходит сшибка, или химическая реакция, — между своеобразием его восприятия и тем искусством, которое уже существует. Художник никогда не остается с миром наедине — художественная традиция в качестве посредника всегда вмешивается в его связи с миром. Какова же будет реакция между непосредственным чувством и прекрасными формами прошлого? Она может быть положительной или отрицательной. Художник либо почувствует близость к прошлому и увидит себя его порождением, наследником и совершенствователем — либо в той или иной мере ощутит произвольную неопределенную антипатию к художникам-традиционалистам, признанным и задающим тон. И если в первом случае он испытает немалое удовлетворение, заключив себя в рамки условностей и повторив некоторые из освященных ими художественных жестов, то во втором он создаст произведение, отличное от признанных, и вдобавок получит не меньшее, чем его собрат, удовольствие, придав этому произведению характер агрессивный, обращенный против господствующих норм.

Об этом обычно забывают, когда речь заходит о влиянии прошлого на сегодняшний день. Обычно можно без труда уловить в произведении одной эпохи стремление так или иначе походить на произведения предше-

ствующей. Напротив, гораздо большего труда, видимо, стоит заметить отрицательное влияние прошлого и уразуметь, что новый стиль во многом сформирован сознательным и доставляющим художнику удовольствие отрицанием стилей традиционных.

Траектория искусства от романтизма до наших дней окажется непонятной, если не принимать в расчет — как фактор эстетического удовольствия — это негативное настроение, эту агрессивность и издевку над старым искусством. Бодлеру нравилась черная Венера именно потому, что классическая Венера — белая.

С тех пор стили, последовательно сменявшие друг друга, увеличивали дозу отрицательных и кощунственных ингредиентов; в этом сладострастном нагнетании тоже наметилась некая традиция, и вот сегодня профиль нового искусства почти полностью сложился на основе отрицания старого. Понятно, как это всякий раз происходит. Когда искусство переживает многовековую непрерывную эволюцию без серьезных разрывов или исторических катастроф на своем пути, плоды его как бы громоздятся друг на друга и массивная традиция подавляет сегодняшнее вдохновение. Иными словами, между новоявленным художником и миром накапливается все больше традиционных стилей, прерывая живую и непосредственную коммуникацию. Следовательно, одно из двух: либо традиция наконец задушит живую творческую потенцию, как это было в Египте, Византии и вообще на Востоке, либо давление прошлого на настоящее должно прекратиться и тогда наступит длительный период, в течение которого новое искусство мало-помалу излечится от губительных влияний старого. Именно второе случилось с европейской душой, в которой по-

рыв к будущему взял верх над неизлечимым восточным традиционализмом и *пассеизмом*.

Большая часть того, что здесь названо «дегуманизацией» и отвращением к живым формам, идет от этой неприязни к традиционной интерпретации реальных вещей. Сила атаки находится в непосредственной зависимости от исторической дистанции. Поэтому больше всего современных художников отталкивает именно стиль прошлого века, хотя в нем и присутствует изрядная доза оппозиции более ранним стилям. И напротив, новая восприимчивость проявляет подозрительную симпатию к искусству более отдаленному во времени и пространстве — к искусству первобытному и к варварской экзотике. По сути дела, новому эстетическому сознанию доставляют удовольствие не столько эти произведения сами по себе, сколько их *наивность*, то есть отсутствие традиции, которой тогда еще и не существовало.

Если теперь мы обратимся к вопросу, признаком какого жизнеотношения являются эти нападки на художественное прошлое, нас застанет врасплох проблема весьма драматическая. Ибо нападать на искусство прошлого как таковое — значит в конечном счете восставать против самого Искусства: ведь что такое искусство без всего созданного до сих пор?

Так что же выходит: под маской любви к чистому искусству прячется пресыщение искусством, ненависть к искусству? Мыслимо ли это? Ненависть к искусству может возникнуть только там, где зарождается ненависть и к науке, и к государству — ко всей культуре в целом. Не поднимается ли в сердцах европейцев непостижимая злоба против собственной исторической сущности, не-

что вроде *odium professionis**, которая охватывает монаха, за долгие годы монастырской жизни получающего стойкое отвращение к дисциплине, к тому самому правилу, которое определяет смысл его жизни**.

Вот подходящий момент для того, чтобы перо благо-разумно прервало свой одинокий полет и примкнуло к журавлиному косяку вопросительных знаков.

ИРОНИЧЕСКАЯ СУДЬБА

Выше было сказано, что новый стиль в самом общем своем виде характеризуется вытеснением человеческих, слишком человеческих элементов и сохранением только чисто художественной материи. Это, казалось бы, предполагает необычайный энтузиазм по отношению к искусству. Однако если мы подойдем к тому же факту с другой стороны и рассмотрим его в другом ракурсе, нас поразит как раз противоположное — отвращение к искусству или пренебрежение им. Противоречие налицо, и очень важно обратить на него внимание. В конце кон-

* ненависть к своим занятиям (лат.).

** Было бы любопытно проанализировать психологические механизмы, в силу которых искусство вчерашнего дня негативно влияет на искусство завтрашнего дня. Для начала, один из очень понятных — усталость. Простое повторение стиля притупляет и утомляет восприимчивость. Вёльфлин в «Основных принципах истории искусства» показал на разных примерах, с какой силой усталость вынуждала искусство к движению, заставляла его видоизмениться. То же и в литературе. Для Цицерона «говорить на латыни» еще звучало как *«latine loqui»*, но в V веке у Сидония Аполлинария уже возникает потребность в выражении *«latialiter insusurgere»*. С тех пор слишком уж много веков одно и то же говорилось в одной и той же форме. — *Примеч. автора.*

цов приходится отметить, что новое искусство — явление весьма двусмысленное, и это, по правде говоря, ничуть не удивительно, поскольку двусмысленны почти все значительные события последних лет. Стоит проанализировать европейские политические реалии, чтобы обнаружить в них ту же двусмысленность.

Однако противоречие между любовью и ненавистью к одному и тому же предмету несколько смягчается при более близком рассмотрении современной художественной продукции.

Первое следствие, к которому приводит уход искусства в самое себя, — это утрата им всяческой патетики. В искусстве, обремененном «человечностью», отразилось специфически «серьезное» отношение к жизни. Искусство было штукой серьезной, почти священной. Иногда оно — например, от имени Шопенгауэра и Вагнера — претендовало на спасение рода человеческого, никак не меньше! Не может не поразить тот факт, что новое вдохновение — всегда непременно комическое по своему характеру. Оно затрагивает именно эту струну, звучит в этой тональности. Оно насыщено комизмом, который простирается от откровенной клоунады до едва заметного иронического подмигивания, но никогда не исчезает вовсе. И не то чтобы содержание произведения было комичным — это значило бы вновь вернуться к формам и категориям «человеческого» стиля, — дело в том, что независимо от содержания само искусство становится игрой. А стремиться, как уже было сказано, к фикции как таковой — подобное намерение может возникнуть только в веселом расположении духа. К искусству стремятся именно потому, что оно рассматривает себя как фарс. Это главным образом и затрудняет серьезным лю-

дям, с менее современной восприимчивостью, понимание новых произведений: эти люди полагают, что новые живопись и музыка — чистый «фарс» в худшем смысле слова, и не допускают возможности, чтобы кто-либо именно в фарсе видел главную миссию искусства и его благотворную роль. Искусство было бы «фарсом» в худшем смысле слова, если бы современный художник стремился соперничать с «серьезным» искусством прошлого и кубистское полотно было рассчитано на то, чтобы вызвать такой же почти религиозный, патетический восторг, как и статуя Микеланджело. Но художник наших дней предлагает нам смотреть на искусство как на игру, как, в сущности, на насмешку над самим собой. Именно здесь источник комизма нового вдохновения. Вместо того чтобы потешаться над кем-то определенным (без жертвы не бывает комедии), новое искусство высмеивает само искусство.

И, пожалуйста, слыша все это, не горячитесь, если вы хотите еще в чем-то разобраться. Нигде искусство так явно не демонстрирует своего магического дара, как в этой насмешке над собой. Потому что в жесте самоуничтожения оно как раз и остается искусством, и в силу удивительной диалектики его отрицание есть его самосохранение и триумф.

Я очень сомневаюсь, что современного молодого человека может заинтересовать стихотворение, мазок кисти или звук, которые не несут в себе иронической рефлексии.

Конечно, как идея или теория все это не так уж ново. В начале XIX века группа немецких романтиков во главе со Шлегелями провозгласила Иронию высшей эстетической категорией — по причинам, которые совпада-

ют с новой направленностью искусства. Ограничиваться воспроизведением реальности, бездумно удваивая ее, не имеет смысла. Миссия искусства — создавать ирреальные горизонты. Чтобы добиться этого, есть только один способ — отрицать нашу реальность, возвышаясь над нею. Быть художником — значит не принимать всерьез серьезных людей, каковыми являемся мы, когда не являемся художниками.

Очевидно, что это предназначение нового искусства — быть непременно ироничным — сообщает ему однообразный колорит, что может привести в отчаяние самых терпеливых ценителей. Однако эта окраска вместе с тем сглаживает противоречие между любовью и ненавистью, о котором говорилось выше. Ибо если ненависть живет в искусстве как серьезность, то любовь в искусстве, добившемся своего триумфа, являет себя как фарс, торжествующий над всем, включая себя самого, подобно тому как в системе зеркал, бесконечное число раз отразившихся друг в друге, ни один образ не бывает окончательным — все перемигиваются, создавая чистую мнимость.

НЕТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ ИСКУССТВА

Все это концентрируется в самом рельефном, самом глубоком признаке нового искусства, в странной черте нового эстетического восприятия, которая требует напряженного размышления. Вопрос этот весьма тонок

помимо всего прочего еще и потому, что его очень трудно точно сформулировать.

Для человека самого нового поколения искусство — это дело, лишенное какой-либо трансцендентности. Написав эту фразу, я испугался своих слов — из-за бесконечного числа значений, заключенных в них. Ибо речь идет не о том, что современному человеку искусство представляется вещью никчемной, менее важной, нежели человеку вчерашнего дня, но о том, что сам художник рассматривает свое искусство как работу, лишенную какого-либо трансцендентного смысла. Однако и это недостаточно точно выражает истинную ситуацию. Ведь дело не в том, что художника мало интересуют его произведение и занятие: они интересуют его постольку, поскольку не имеют серьезного смысла, и именно в той степени, в какой лишены такового. Это обстоятельство трудно понять, не сопоставив нынешнее положение с положением искусства тридцать лет назад и вообще в течение всего прошлого столетия. Поэзия и музыка имели тогда огромный авторитет: от них ждали по меньшей мере спасения рода человеческого на руинах религии и на фоне неумолимого релятивизма науки. Искусство было трансцендентным в двойном смысле. Оно было таковым по теме, которая обычно отражала наиболее серьезные проблемы человеческой жизни, и оно было таковым само по себе, как способность, придающая достоинство всему человеческому роду и оправдывающая его. Нужно видеть торжественную позу, которую принимал перед толпой великий поэт или гениальный музыкант, — позу пророка, основателя новой религии; величественную осанку государственного мужа, ответственного за судьбы мира!

Думаю, что сегодня художника ужаснет возможность быть помазанным на столь великую миссию и вытекающая отсюда необходимость касаться в своем творчестве материй, наводящих на подобные мысли. Для современного художника, напротив, нечто собственно художественное начинается тогда, когда он замечает, что в воздухе больше не пахнет серьезностью и что вещи, утратив всякую степенность, легкомысленно пускаются в пляс. Этот всеобщий пируэт — для него подлинный признак существования муз. Если и можно сказать, что искусство спасает человека, то только в том смысле, что оно спасает его от серьезной жизни и пробуждает в нем мальчишество. Символом искусства вновь становится волшебная флейта Пана, которая заставляет козлят плясать на опушке леса.

Все новое искусство будет понятным и приобретет определенную значительность, если его истолковать как опыт пробуждения мальчишеского духа в одряхлевшем мире. Другие стили претендовали на связь с бурными социальными и политическими движениями или же с глубокими философскими и религиозными течениями. Новый стиль, напротив, рассчитывает на то, чтобы его сближали с праздничностью спортивных игр и развлечений. Это родственные явления, близкие по существу.

За короткое время мы увидели, насколько поднялась на страницах газет волна спортивных игрищ, потопив почти все корабли серьезности. Передовицы вот-вот утонут в глубокомыслии заголовков, а на поверхности победоносно скользят яхты регаты. Культ тела — это всегда признак юности, потому что тело прекрасно и гибко лишь в молодости, тогда как культ духа свидетельствует о воле к старению, ибо дух достигает вершины своего

развития лишь тогда, когда тело вступает в период упадка. Торжество спорта означает победу юношеских ценностей над ценностями старости. Нечто похожее происходит в кинематографе, в этом телесном искусстве *rag excellence**.

В мое время солидные манеры пожилых еще обладали большим престижем. Юноша жаждал как можно скорее перестать быть юношей и стремился подражать усталой походке дряхлого старца. Сегодня мальчики и девочки стараются продлить детство, а юноши — удержать и подчеркнуть свою юность. Несомненно одно: Европа вступает в эпоху ребячества.

Подобный процесс не должен удивлять. История движется в согласии с великими жизненными ритмами. Наиболее крупные перемены в ней не могут происходить по каким-то второстепенным и частным причинам, но — под влиянием стихийных факторов, изначальных сил космического порядка. Мало того, основные и как бы полярные различия, присущие живому существу — пол и возраст, — оказывают в свою очередь властное влияние на профиль времен. В самом деле, легко заметить, что история, подобно маятнику, ритмично раскачивается от одного полюса к другому, в одни периоды допуская преобладание мужских свойств, в другие — женских, по временам возбуждая юношеский дух, а по временам — дух зрелости и старости.

Характер, который во всех сферах приняло европейское бытие, предвещает эпоху торжества мужского начала и юности. Женщина и старец на время должны уступить авансцену юноше, и неудивительно, что мир с течением времени как бы теряет свою степенность.

* по преимуществу (фр.).

Все особенности нового искусства могут быть сведены к его нетрансцендентности, которая в свою очередь заключается не в чем ином, как в необходимости изменить свое место в иерархии человеческих забот и интересов. Последние могут быть представлены в виде ряда концентрических кругов, радиусы которых измеряют дистанцию до центра жизни, где сосредоточены наши высшие стремления. Вещи любого порядка — жизненные или культурные — вращаются по своим орбитам, притягиваемые в той или иной степени гравитационным центром системы. Я сказал бы, что искусство, ранее располагавшееся, как наука или политика, в непосредственной близости от центра тяжести нашей личности, теперь переместилось ближе к периферии. Оно не потеряло ни одного из своих внешних признаков, но удалилось, стало вторичным и менее весомым.

Стремление к чистому искусству отнюдь не является, как обычно думают, высокомерием, но, напротив, — величайшей скромностью. Искусство, освободившись от человеческой патетики, лишилось какой бы то ни было трансценденции, осталось только искусством, без претензии на большее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Исида тысячеименная, Исида о десяти тысячах имен!» — зывали египтяне к своей богине. Всякая реальность в определенном смысле такова. Ее компонен-

ты, ее черты — неисчислимы. Не слишком ли смело пытаться обозначить предмет, пусть даже самый простой, лишь некоторыми из многих имен? Было бы счастливой случайностью, если бы признаки, выделенные нами среди многих других, и в самом деле оказались решающими. Вероятность этого особенно мала, когда речь идет о зарождающейся реальности, которая только начинает свой путь.

К тому же весьма возможно, что моя попытка описать основные признаки нового искусства сплошь ошибочная. Я завершаю свое эссе, и во мне вновь пробуждается интерес к вопросу и надежда на то, что за первым опытом последуют другие, более глубокие.

Но я усугубил бы ошибку, если бы стремился исправить ее, преувеличив один какой-то частный момент в общей картине. Художники обычно впадают в эту ошибку; рассуждая о своем искусстве, они не отходят в сторону, дабы обрести широкий взгляд на вещи. И все же несомненно: самая близкая к истине формула — та, которая в своем наиболее цельном и завершенном виде справедлива для многих частных случаев и, как ткацкий станок, одним движением соединяет тысячу нитей.

Не гнев и не энтузиазм руководили мной, а исключительно только радость понимания. Я стремился понять смысл новых художественных тенденций, что, конечно, предполагает априорно доброжелательное расположение духа. Впрочем, возможно ли иначе подходить к теме, не рискуя выхолостить ее?

Могут сказать: новое искусство до сих пор не создало ничего такого, что стоило бы труда понимания; что же, я весьма близок к тому, чтобы так думать. Из новых произведений я стремился извлечь их интенцию как са-

мое существенное в них, и меня не заботила ее реализация. Кто знает, что может вырасти из этого нарождающегося стиля! Чудесно уже то, за что теперь так рьяно взялись, — творить из ничего. Надеюсь, что позднее будут претендовать на меньшее и достигнут большего.

Но каковы бы ни были крайности новой позиции, она, на мой взгляд, свидетельствует о несомненном — о невозможности возврата к прошлому. Все возражения в адрес творчества новых художников могут быть основательны, и, однако, этого недостаточно для осуждения нового искусства. К возражениям следовало бы присокупить еще кое-что: указать искусству другую дорогу, на которой оно не стало бы искусством дегуманизирующим, но и не повторяло бы вконец заезженных путей.

Легко кричать, что искусство возможно только в рамках традиции. Но эта гладкая фраза ничего не дает художнику, который с кистью или пером в руке ждет конкретного вдохновляющего импульса.

БЕСХРЕБЕТНАЯ ИСПАНИЯ

España invertebrada

Перевод. © Матвеев А.Б., 1994

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Обособленность и прямое действие

I. Сплоченность и распад	273
II. Сила национального единства	279
III. Корни сепаратизма	285
IV. Роль Кастилии	287
V. Стремление обособиться	292
VI. Глухие стены	301
VII. Армия	306
VIII. Прямое действие	310
IX. Перевороты и заговоры	313

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Отсутствие лучших

I. Люди или массы?	319
II. Империя масс	324
III. Эпохи «Китра» и «Кали»	329
IV. Еще одно заклинание, или «Что же должно быть?»	332
V. Пример и покорность	336
VI. Отсутствие «лучших»	342
VII. Неотвратимость отбора	362

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОБОСОБЛЕННОСТЬ И ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ

I

Сплоченность и распад

В «Римской истории» Моммзена есть место, при чтении которого замирает сердце. Я имею в виду момент, когда, кончив несколько вступительных глав, автор приступает к повествованию о героических судьбах Рима. Спору нет, римская история играет исключительную роль во всей исторической науке. На ее примере мы воочию наблюдаем полный цикл жизненного развития великого народа, выступая свидетелями его рождения, зрелости, старости, смерти. История других народов так или иначе остается для нас неполной. Мы либо безнадежно опоздали к рождению этих наций, либо наверняка не доживем до их кончины. Древний Рим, повторяю, представляет собой единственный национальный организм, все стадии которого хорошо изучены. Рим изначальный, *Roma quadrata*, буквально на глазах простирает свое могущество на весь мир, а спустя века превращается в развалины. И их масштабы отнюдь не помешали им иметь имен-

но тот жалкий вид, который присущ любым руинам. Вот почему есть лишь одна подлинно научная история: история Древнего Рима. И честь быть ее первым глубоким исследователем по праву принадлежит Моммзену.

Итак, момент, когда Моммзен приступает к рассказу о сложном и трудном пути, пройденном римским народом, исполнен самого высокого драматизма. Великий историк уже занес перо над листом бумаги, готовясь написать первую фразу, призванную задать тон в этой подлинно героической симфонии. Перед его внутренним взором стремительно проносится величественная процессия важнейших событий. Так умирающий в свой последний час вспоминает мгновенно всю прожитую жизнь. Моммзен, лучше любого римлянина знавший перипетии имперской судьбы, вновь и вновь просматривает эту «историческую киноленту». Богатство интуитивных прозрений готово выпасть золотым дождем в одной лаконичной фразе. И вот, обмокнутое в чернила перо выводит гениальные строки: *История любой нации, и прежде всего римской, представляет собой развитие системы присоединения**.

Приведенная мысль имеет для истории ту же ценность, что для физики известное положение, что физическая реальность сводима к динамическим уравнениям. И свет, и цвет, и сопротивление, короче, все, что и отдаленно не напоминает движение, на деле представляет собой последнее. Только и всего. Любой природ-

* В немецком издании речь идет не о «присоединении», а о «синоизме». Это не важно, ведь «синоизм» означает буквально «сосуществование», соединение жилищ. Просматривая французский перевод, Моммзен избрал более простой термин. — *Примеч. автора.*

ный феномен постижим, если мы нашли его динамическую формулу.

Но коль скоро процессы присоединения (или инкорпорации) играют в истории такую важную роль, то совершенно необходимо иметь о них ясное представление.

Есть мнение, что развитие наций — результат роста некой исходной клетки. Это в корне неправильно. Любопытно, что в основе столь ошибочного и весьма распространенного подхода лежит еще одно, столь же ложное и еще более элементарное заблуждение. Имею в виду обычай усматривать происхождение политического сообщества в связи с развитием семьи. Сама идея, что семья — ячейка общества, непоправимо препятствует выработке подлинно научной социологической и исторической теории*.

Нет, процесс сплочения вовсе не может быть представлен ростом некой первоначальной людской общности. И здесь уместно вспомнить главные этапы исторической эволюции Древнего Рима. Изначальный Рим был небольшим селением на семи холмах, главный из которых назывался Палатином. Это был Палатинский Рим, или *Septimontium*. Позднее к нему присоединилась другая община, издавна селившаяся на холме Квиринал. С

* Один из моих этюдов — «Государство, юность и карнавал» — посвящен последним этнографическим исследованиям истоков гражданского общества. Они позволяют сделать однозначный вывод: семья — отнюдь не зародыш государства, скорее его прямая противоположность в самых разных отношениях. Во-первых, семья возникает уже после того, как сформировано государство. Во-вторых, она представляет собой реакцию на него. (Впоследствии эта статья была опубликована в журнале «Эль Эспектадор» под заглавием «Спортивное происхождение государства». — Примеч. пер.) — Примеч. автора.

тех пор существовало два Рима: Рим Палатина и Рим Квиринала. Как видно, уже первый эпизод формирования римского государства исключает и слабый намек на рост некоего исходного ядра. Единый Рим — результат не палатинской экспансии, а объединения в целое двух самостоятельных частей.

Близ вновь образованного парного Рима проживало множество общин, члены которых принадлежали к той же латинской расе, и тем не менее не имели к недавно созданному государству никакого отношения. Единство крови не служит основой создания одного государства, хотя зачастую может в высокой степени способствовать этому процессу. Известно: Рим подчинил себе кровных братьев — население Лация — теми же методами, с помощью которых несколько веков спустя Империя покорила кельто-иберийцев и галлов, германцев и греков, скифов и сирийцев, не имевших между собой никакого родства. Ошибочно полагать, что национальное единство зиждется на кровном родстве, и столь же неверно обратное. Расовые различия не препятствуют сплочению, а только вносят специфику в формирование любого крупного государства.

Рим сплотил население Лация в единое социальное тело, или *foedus latinum*. Это явилось вторым этапом набиравшего силу процесса присоединения.

Третьим этапом было завоевание этрусков и самнитов, двух пограничных племен, никак не связанных с римлянами кровными узами. С этого момента итальянский мир представляет собой некое историческое, органическое единство. За минимально краткий срок, как бы *crescendo* были завоеваны прочие народы — от Кавказа до Атлантики. Так возводилась колоссальная по-

стройка небывало могучей империи. Последний этап в этом беспрецедентном процессе — колонизация.

Стадии присоединения являют собой некую восходящую линию, которая делима на следующие отрезки: возникновение двойного Рима, римская федерация, итальянское государство, колониальная империя. Итак, мы наблюдаем не рост какого-то исходного ядра, а последовательное учреждение новой структуры, связи социальных единств, которые сложились как самостоятельные образования задолго до начала процесса. «Ядро» нации вовсе не поглощало покоряемые общины или племена, а последние отнюдь не утрачивали своей самобытности, сложившегося жизненного уклада. Рим завоевал галлов; от этого они не перестали быть собой, не растворились в массе, населявшей Империю. Галлы по-прежнему продолжали жить сплоченным сообществом и, вместе с тем, стали органической частью созданного государства. Само присоединяющее «ядро», Рим, теперь тоже стал частью единого, целостного организма, однако, играющей ведущую роль. Ибо именно Рим был инициатором процесса сплочения, или *тотализации*.

Мы никогда не придем к правильному пониманию исторических явлений, если будем по-прежнему игнорировать тот очевидный факт, что при сплочении малых групп в целое они не утрачивают своих отчетливых различий. Ошибочно думать, что после того как Кастилия объединила под своей эгидой Арагон, Каталонию и Басконию, все три нации утратили самобытные черты, которые отличали их не только друг от друга, но и от единого целого. Наоборот: включение в состав одного государства не ставит предела существованию отдельных групп как таковых. Последние так или иначе продолжают изъявлять волю к независимому существованию, хотя она теперь сдержива-

ется центростремительными тенденциями, препятствующими существованию порознь. Стоит ослабеть центральной власти (которая в Империи исходила от Рима, в Испании — от Кастилии, во Франции от Иль де Франс), как сепаратистские настроения разнородных этнических групп проявляются со всей силой.

Но фраза Моммзена неполна. История нации это не только объединение и подъем, но также и упадок. Итак, при изучении первого этапа нужно воссоздать главные моменты сплочения, а исследуя второй, мы обязаны скрупулезно описать обратный процесс. История национального умирания — это история распада единого общественного целого.

Давно настала пора научиться понимать любое национальное единство как динамичную систему. И чтобы она жила, в ней обязательно должны присутствовать как центробежные, так и центростремительные силы. Давление крыши на опору играет не меньшую роль, чем сопротивление фундамента, на котором зиждется постройка. Считается, что усталость органа — симптом болезни. Как будто идеал здоровья исключает понятие об усталости. Но физиология свидетельствует, что без минимума усталости орган атрофируется. Утомление, усталость совершенно необходимы для выполнения жизненных функций. Любая часть тела нуждается в постоянном возбуждении, в небольших «уколах», которые поддерживают ее в рабочем состоянии. Эти «уколы» называются «функциональными стимулами» — без них организм не живет.

Точно так центростремительные тенденции или силы «*тотализации*» (название не важно) нуждаются для своего укрепления в противоположном; в центростремительных импульсах разнородных групп. Без последних спа-

янность слабеет, государство распадается на части, которые снова начинают жить по отдельности.

II

Сила национального единства

Творческая мощь наций — *quid divinum*, гений, или талант, сродни тому, что правит поэзией, музыкой, религиозным экстазом. Народы, умственно одаренные, безусловно, к нему глухи, и, наоборот, те, что не блистали в научном или художественном отношении, проявили необыкновенные способности по этой части. Несмотря на всю свою прозорливость, Афинам так и не удалось завоевать восточное Средиземноморье, а умственно отсталые Рим и Кастилия создали необычайно мощные и сплоченные государства.

Вот почему интересно описать все слагаемые этой воли к единству. Для начала отметим: данная способность носит императивный характер и не имеет отношения к теоретическому знанию, силе воображения, религиозному рвению. Речь идет о простом умении желать и повелевать.

Но повелевать, или властвовать, значит не только убеждать или принуждать кого-то. Подлинное господство предполагает сложнейшее сочетание того и другого. Моральное внушение, как и материальное принуждение, входят составными частями в любое властное действие. К сожалению, я отнюдь не разделяю нынешнего пацифизма, отрицающего любое насилие. Без применения силы были абсолютно невозможны величай-

шие деяния прошлого. А если исключить ее применение в будущем, то смело можно ожидать одного: хаоса во всех сферах жизни. Но ясно и другое: одной силой никто никогда ничего путного не добился.

Насилие как таковое создавало лишь псевдогосударства, которые, просуществовав краткий срок, бесследно исчезли с лица земли. Разница между такими призрачными, эфемерными конгломератами и подлинными национальными образованиями вполне очевидна. И чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить гигантские империи Чингисхана или Тимура с Древним Римом или современной Европой. Если говорить о насилии, то Чингисхан не имел себе равных. Кто такие Александр, Цезарь, Наполеон по сравнению с этим кочующим чудовищем, которое, протащив за собой шатер от Дальнего Востока до Кавказа, покорило полмира? По сравнению с Чингисханом, не умевшим ни читать, ни писать, не исповедовавшим ни одной веры, не знавшим ни одной идеи, Александр, Цезарь, Наполеон — мирные пропагандисты *Salvation Army*. Но срок существования татаро-монгольской империи был равен жизни воина, скрепившей ее бранной сталью меча. Дело рук Цезаря длилось века и нашло отклик в тысячелетиях.

Насилие играет второстепенную роль в процессе подлинной централизации. Живым и созидательным началом, направляющим весь ход сплочения, выступает национальная догма, *проект совместной жизни*. Следует расстаться со статическим пониманием национального сосуществования и научиться рассматривать его динамически. Народы никогда не живут в совместности просто так. *Априорное* единство возможно только в семье. Отдельные группы, образующие государственное целое, всегда проживают вместе *для чего-то*. Мы сталкиваемся

с единством целей, задач, стремлений. Группы сосуществуют не потому, что живут по-соседству, а для свершения какого-то совместного деяния. Рим завоевал окружающих его варваров отнюдь не силой оружия. Варвары подчинились Риму, охваченные одной иллюзией. Ибо слово «Рим» сулило участие в великом жизненном подвиге, где каждый мог найти себе место. Римская цивилизация выступала синонимом порядка, правовой дисциплины, великолепной организации, богатейшего набора воспринятых от греков идей, дающих смысл жизни. Рим обещал варварам участие в новых празднествах, великих наслаждениях*. И только перестав играть эту роль некоего срочного деяния, Империя прекратила существование и распалась.

Итак, нация живет не традицией и не прошлым. Ошибочно полагать, что государство имеет семейные, родовые корни. Все иначе: нации формируются и живут лишь постольку, поскольку воплощают в себе некое стремление осуществить общую программу грядущего.

Что касается насилия, его роль очевидна. Ведь даже когда историческая необходимость национального объ-

* Вот что пишет Блох в своей последней книге по поводу эдикта Каракаллы от 212 года до Р.Х., согласно которому римское гражданство предоставлялось всем жителям Империи: «Указ 212 года со временем обнаружил всю свою действенность, подытоживая важнейшие исторические изменения. Он явился великолепным выражением свободной, дальновидной политики, которая с удивительным постоянством проводилась с первых лет существования Республики. Именно так понимал его Святой Августин и в том же духе писал о нем в прекрасных стихах Рутилий Намациан, воспевая историческое значение Рима в пору, когда Империя рушилась на глазах:

Fecisti patriam *diversis gentibus* unam,
Urbem fecisti quode prius orbis erat».

единения бесспорна, ей непременно будут препятствовать частные интересы, пристрастия, слабости и, главным образом, коллективные предрассудки, образующие верхний пласт народной души, к примеру, убеждение, что родной народ кто-то желает закабалить. Преодолеть эти препятствия одними увещеваниями просто нереально. Здесь требуется применение силы, своего рода историческая хирургия.

Повторяю, насилие имеет прикладной характер, но это не значит, что им можно пренебрегать. Вот уже целый век в Европе не прекращается разнузданная пацифистская пропаганда. Ее корни — поверхностные, ограниченные ценности современной культуры, требующие скорейшего преодоления. А пока в общественное сознание упорно внедряется ложное представление о силе оружия. В глазах большинства все, связанное с войной и армией, предстает как нечто недочеловеческое, как рудимент почти звериного состояния. Здесь сила упорно противопоставляется духу или в лучшем случае рассматривается как низшая форма духовности.

Герберт Спенсер — столь же вульгарное, сколь и верное отражение своей нации и эпохи — взял и противопоставил «воинскому духу» — «предпринимательский». По его глубокому убеждению, последний превосходит первый во всех отношениях. Разумеется, такая формулировка сверх меры льстит правящей буржуазии, потакая ее инстинктам. Тем не менее нам предстоит пересмотреть ее коренным образом. Ибо трудно представить себе большее искажение истины. *Этика* предпринимательства, иными словами, совокупность настроений, норм, принципов, направляющих ход деловой деятельности и в моральном, и в жизненном отношении, уступает *этике* воина. Воротила движим чисто утилитарным

началом, истым воином повелевает энтузиазм. Деловое сообщество объединяет людей, которые связаны договорами, то есть внешними, частными, как бы механическими узами. В военную дружину, наоборот, входят те, кто привержен двум высшим ценностям: чести и верности. Промышленный дух направляется осторожным стремлением избежать риска, воинственный — неутолимой жадой жить в опасности. И даже то, что их роднит, то есть строгая дисциплина, родилась среди бойцов, в военной среде и затем привилась мирному человеку*.

Разумеется, неправомерно сравнивать нынешние формы промышленной деятельности, которые в нашу эпоху достигли апогея, с современными военными образованиями, переживающими небывалый упадок того самого воинского духа. Ибо современный военный, как никто другой, одержим именно духом капитализма.

Однако задумаемся, сколько геройства, доблести, гениальности требуется для создания хорошей армии! Не здесь ли мы воочию наблюдаем одно из высших проявлений творческого, духовного начала? Сила оружия — сила не грубая, не материальная, а именно духовная. Это ясно, хотя частные интересы того или иного пропагандиста сплошь и рядом мешают понять столь тривиальную истину. Конечно, сила оружия не разумна, но и духовность не сводима к одному разуму. Человеческий дух вообще питают истоки, чья мощь не идет ни в какое сравнение с разумом и среди них — стихии, которые повелевают людьми в разгар сра-

* Один из наиболее образованных и беспристрастных людей нашего времени, крупный социолог и экономист Макс Вебер пишет: «Подлинным истоком современного понятия о законе была римская военная дисциплина и особый характер римской военной общины». «Wirtschaft und Gesellschaft, 406: 1922». — *Примеч. автора.*

жений. Сила оружия, как и любое духовное начало, прежде чем покорить, убеждает. И не конкретная победа в сражении приводит к желаемому историческому результату. Очень редко побежденный народ исчерпывает в последнем бою все ресурсы сопротивления. Победа имеет не материальный, а глубоко моральный смысл, она знаменует превосходство победившей армии, в которой, в свою очередь, воплощено историческое превосходство создавшего ее народа*.

Лишь тот, кто обладает искаженным представлением о человеческой природе, станет отрицать то обстоятельство, что римские легионы предотвратили больше сражений, чем дали. Слава, добытая в победе, позволяет избежать бесчисленного количества новых боев и не потому, что внушает неприятелю страх перед физическим уничтожением, а в силу простого факта, что противник признает жизненное превосходство победителей. Состояние непрерывной войны, в котором пребывают дикари, вызвано как раз тем, что ни одно из враждующих племен не способно создать настоящую армию и наряду с ней — авторитетную национальную общность.

Вот почему, а не в силу обыкновенно приводимых иных соображений, народ связывает с армией понятие о национальном достоинстве и чести. То, что армия способна защитить от агрессии, — тщеславная, внешняя сторона представлений о чести.

Важно другое: мера армейской мощи и совершенства — есть мера, которая точно определяет моральную

* Высказанному суждению отнюдь не противоречит тот факт, что какой-то народ может быть умнее, культурнее, утонченнее народа-победителя. Ибо историческая ценность, ранг нации не зависит от упомянутых качеств. Варвар, покоривший упадочный Рим, значительно уступал гражданину Империи по уровню знаний, тем не менее его большая историческая значимость не вызывает сомнений. В любом случае я говорю об исторической норме, которая, как и всякое правило, имеет свои исключения и частные случаи. — *Примеч. автора.*

и жизненную крепость нации. Народ, не испытывающий никакого стыда из-за разложения, дурной организации своих вооруженных сил, не способен удержаться на плаву, или выжить.

Итак, в крупных процессах национального сплочения сила играет второстепенную роль и тем не менее неотделима от того гениального дара, коим, как было сказано, обладают лишь подлинно творческие, имперские народы. Тот же гений, который одухотворяет программу совместных грядущих деяний, созидает могучие военные силы, выступающие символом и гарантом осуществления последней.

Пусть сказанное послужит нам своего рода дозорной башней, с которой на огромном временном расстоянии мы рассмотрим современность Испании.

III

Корни сепаратизма

За последние двадцать лет политическая жизнь Испании ознаменовалась активным проявлением разного рода сепаратистских и националистических настроений. Речь о движениях, которые ставили перед собой задачу добиться территориальной или этнической самостоятельности. Но много ли найдется людей, хоть раз серьезно задумывавшихся о подлинной исторической природе подобных настроений? Боюсь, нет.

Для подавляющего большинства борьба каталонцев и басков за независимость кажется каким-то искусственным явлением, возникшим на пустом месте несколько лет назад. По этой логике и Каталония, и Страна Басков до начала указанных процессов вовсе не представляли собой каких-то отдельных социальных образований, в чем-то отличных, к примеру, от Кастилии или Андалузии. А сама Испания мыслилась как некая однородная масса без качественных отличий и внутренних границ между отдельными географическими районами. Стало быть, рассуждая о провинциях, этническом многообразии, о Каталонии и Стране Басков, мы совершенно неправомерно режем на куски единое целое, терзаем на части страну.

И само собой разумеется, речь идет о жалкой горстке отщепенцев, движимых корыстью, амбициями и завистью... Их деятельность всецело направлена на развал страны, который, конечно, можно предотвратить, положив ей предел. Вот почему правильно поступают те, кто запрещает подобные националистические идеи, разоблачает соответствующие организации, преследует их участников. Здесь нужно действовать решительно, например, так: известно, что в Барселоне и в Бильбао идет ожесточенная борьба между «националистами» и «унитариями». Центральные власти, наделенные полномочиями, бесспорно, должны оказать поддержку одной из сторон, а именно «унитариям». Именно этого требуют баскские и каталонские централисты, то и дело высказываясь в таком духе: «Сепаратисты не могут считаться полноценными гражданами» или: «Только бы назначили нам хорошего губернатора, а уж мы научим его, что делать».

Нет слов, чтобы передать гнев, который вызывают у меня такого рода соображения. На причины, характер сепаратизма и меры, которые к нему применяют, я смот-

рю совершенно иначе. Глубоко убежден: баскские и каталонские «унитарии», противопоставившие себя своим землякам, страдают врожденной неспособностью постичь исторические судьбы Испании. «Я говорю в целом и не имею в виду конкретных лиц». Ибо известно: Испанию объединила Кастилия и есть все основания полагать, что лишь у кастильцев может сложиться правильное представление о проблеме единой Испании. Только в кошмарном сне я могу себе представить, что бы произошло, если бы тысячу лет назад нынешние «унитарии» из Каталонии и Страны Басков вместо кастильцев взяли бы на себя тяжелейшую задачу сплотить разнородный конгломерат государств в единую страну. Сильно подозреваю, что, действуя на свой страх и риск и применяя свои обычные методы, они раскроили бы полуостров на тысячу мелких кусков. Нам еще предстоит убедиться, что их доморощенная критика «национализма» представляет собой тот же национализм или сепаратизм, только с обратным знаком.

IV

Роль Кастилии

Для тех, кто родился и вырос на суровом плоскогорье, простертом от Эбро до Тахо, нет ничего милее сердцу, чем вспоминать славное время, когда Кастилия, выполнив свою историческую роль, объединила Испанию. С самого начала ясно, что Кастилия умела повелевать. И чтобы в этом убедиться, нужно вспомнить о ее

необыкновенном самообладании. Ведь оно и составляет главное условие, чтобы властвовать над другими. Кастилия преодолела провинциальную замкнутость, забыла о своих узких интересах, которые, к сожалению, всецело определяли настроения остальных частей полуострова. Опорой объединения стал замысел грандиозного предприятия, требующего всеобщего участия.

Впервые в нашей истории возникли планы смелой внешней политики: верный симптом того, что нация встала на путь сплочения. Все крупные государства складываются не изнутри, а извне. Лишь правильная внешняя политика, сулящая деяния, предприятия, может обеспечить успех в политике внутренней, неизбежно второстепенной. Наряду с Кастилией подобный внешнеполитический гений проявлялся и в Арагоне, но дело осложнялось неискоренимой сельской привязанностью к этническим традициям, угрюмой подозрительностью, недоверием ко всему чужому и новому. Постоянные стычки кастильцев со страной Полумесяца, с иной цивилизацией позволили им осознать свою кровную связь с другими иберийскими королевствами, преодолеть ощутимые различия, связанные с языком, нравами, обликом земли. «Одна Испания» возникла в кастильском уме вовсе не в ходе постижения некой реальности (на деле Испания не была единой). Нет, речь шла об *осуществимом* идеале, о проекте действия, о грядущем дне, который требовал усилий в настоящем. Так, цель притягивает стрелу и напрягает лук. Так, облокотившись на рабочий стол в своем кабинете, Сесил Родс создал идею Родезии — Империи, которую предстояло основать в дебрях Африки. И вот невозможное стало возможным, когда политические традиции Кастилии пришлось по душе умному и дальновидному Фернандо-Католику. Гениальный

арагонский лис внезапно учуял, что правда — за Кастилией, что нужно преодолеть домашнее угрюмство земляков и влиться в Большую Испанию. Его честолюбивые, дальновидные планы были осуществимы только с помощью Кастилии, ибо лишь там нашли живой отклик. Наконец желанное единство достигнуто. Но сразу возникает вопрос: а зачем, во имя каких идей, способных собрать людей под знамя? Неужто испанцы просто решили жить как добрые соседи, греться возле одного камелька, уподобившись мирно беседующим старушкам? Нет и нет! Союз потребовался, чтобы собрать раздробленные силы, чтобы завоевать планету, чтобы создать великую, несокрушимую Империю. Какой-либо иной цели не было и не могло быть. Лишь предвкушение грядущих подвигов спланивало разных людей, соединяло противоположности, обещая всем застать долгую зарю на историческом горизонте. Для всех, кто обладает живой исторической интуицией, ясно: *союз полуостровных королевств устанавливал тесную зависимость между двумя главными направлениями внешней политики*. Имея в виду, во-первых, политику Кастилии в Африке и в Центральной Европе, а во-вторых, политику Арагона в Средиземноморье, мы имеем дело с первой попыткой осуществить подлинную *Weltpolitik*. Именно в этом и состояло значение испанского единства.

В предыдущей главе говорилось, что национальная сплоченность, или сосуществование народов и социальных групп, подразумевает общий связующий замысел. История Испании подтверждает правильность этого положения, которое нам подсказал весь ход Римской истории. Испанцы объединились пять веков тому назад, чтобы провести в жизнь *Weltpolitik* и свершить другие героические деяния.

Здесь нет и доли выдумки. По правде сказать, мне претит сделать какой-то вычурный вывод из пятивековой эпохи, исполненной надежд и скорбей. Вот почему из тысячи свидетельств я выбрал два, которые представляются мне вполне достоверными и вдобавок удачно дополняют друг друга. Один из них принадлежит перу юного флорентийского посла в Испании Франческо Гвичардини. В своей *Relazione di Spagna* он передает беседу с королем Фернандо: «Осмеливаюсь задать Вашему Величеству вопрос. Я желал бы знать, почему Ваш храбрый и воинственный народ столь часто попадал под иго чужеземцев, то есть галлов, римлян, карфагенян, вандалов, мавров?» На это король ответил так: «Испанцы и вправду сильны в военном деле, но не приучены к порядку. *Лишь тот, кто сможет держать их в узде и объединит, свершит с их помощью великие дела*». «Это, — добавляет Гвичардини, — как раз удалось Фернандо и Исабели. Вот почему Испания одержала много военных побед»*.

Гвичардини хочет сказать, что единство послужило причиной и условием свершений. Это правда. Но куда интересней и важней заметить обратную зависимость: великие, крупные деяния лежат в основе национального сплочения.

Гвичардини умом не блистал. Его соплеменник, Макиавелли, был куда прозорливей. В его время ему не было равных в знании политической игры, тех тайных пружин, которые управляют государственной жизнью. Фигура Дона Фернандо была объектом самого пристального внимания хитроумного секретаря Синьории. «Го-

* Opere inedite, vol. VI. — *Примеч. автора.*

сударь», в сущности, это не что иное, как размышление о политике Фернандо-Католика и о деятельности Цезаря Борджиа. Макиавеллизм, по сути, — своеобразный итальянский комментарий к деяниям двух испанцев.

В этой связи любопытно письмо, которое Макиавелли написал своему приятелю — Франческо Веттори, другому флорентийскому послу. Оно посвящено достаточно неожиданному перемирию 1513 года, заключенному Фернандо-Католиком с французским монархом. Веттори не мог постичь замысла «*astuto Re*». Макиавелли тут же дает тонкое и верное разъяснение, которое смело можно назвать пророческим. Давайте вчитаемся в его замечательную характеристику мудрой тактики Фернандо: «Если Вы как следует поразмыслите, чего добивается этот католический король, то не найдете в данном перемирии ровно ничего удивительного. Ведь он с изначала был бедным и слабым государем, а ныне могуч и славен. Если помните, ему пришлось вести борьбу с молодыми королевствами и подбирать себе союзников среди людей, ему неподвластных*. Но ясно: чтобы крепить державу и найти верных сторонников, нужно *dare di se grande spettazione*. Ибо люди должны быть сплочены пониманием важности цели и величия предприятия. Испанский монарх никогда об этом не забывал. Поэтому он предпринял походы в Африку, раздел Королевства** и многое другое. Каким оказывается итог того или иного свершения, не слишком его волнует, *perche il fine suo non e tanto quello o questo, o quella vittoria, quanto e darsi reputaziope ne 'popoli*.

*Это значит: Фернандо объединял страну, народы которой были по традиции независимы, объединял тех, кто не был его вассалом или давним подданным. — *Примеч. автора.*

** Имеется в виду Неаполь. — *Примеч. автора.*

Ему важно, чтобы люди проявили рвение и участвовали в деяниях. *Fu sempre animoso datore di principi*, призывая людей принять участие в трудных предприятиях, которые старался довести до конца так, как подсказывали случай и необходимость»*.

Трудно ожидать от современника большей проницательности и остроты ума. Последующие события только подтвердили правоту великого флорентийца. Пока перед Испанией стояли высокие цели и народы по-прежнему находили смысл в том, чтобы жить сообща, процесс национального объединения набирал силу.

В последние годы в стране непрерывно нарастает гул всякого рода национальных, региональных и сепаратистских движений.

И здесь уместно вновь вернуться к началу и вновь спросить себя: почему?

V

Стремление обособиться

В числе новых ощущений, вызванных к жизни кинематографом, есть одно, которое непременно восхитило бы Гете. Имею в виду ускоренный показ развития растений. В действительности промежуток между прорастанием семени и цветением занимает достаточно большой отрезок времени. Простым глазом нельзя заметить,

* Machiavelli, Opere, V. VIII. Существует и другой текст письма. И некоторые его звучащие чуть по-другому места еще сильнее подчеркивают ту же мысль. Например: «Cosi fece il Re nelle imprese di Granata, di Africa e di Napoli, giacche il suo vero scopo non fumai questa o quella vittoria». — *Примеч. автора.*

как одно происходит от другого. Стадии роста предстают взору рядом недвижимых форм, каждая из которых как бы застыла в развитии, лишившись связи с предыдущим или последующим этапом. И все же мы знаем: реально — иначе. Каждая «застывшая» форма таит в себе некое подспудное развитие, подчинена процессу изменения. Природа дирижирует развитием растений в более медленном темпе, чем тот, что доступен сетчатке, не позволяя нам слить два законченных образа в динамичное единство и увидеть сам переход. Иногда, точнее, очень редко, *tempo* растений и зрительные возможности совпадают, и тайна жизни предстает во всей красе. Когда Гете приехал в Италию, его северный взгляд хищника, привыкший к биоритму германской флоры, широко и восторженно распахнулся от *allegro* южной растительности. И тогда, во власти немыслимой интуиции, поэт внезапно открыл ботанический закон метаморфозы — гениальный вклад художника в естественные науки.

Чтобы понять явление, нужно уловить его внутренний ритм. Иначе мелодия чужого существования никак не отзовется у нас в душе, распавшись на какие-то несвязные, бессмысленные фрагменты. Когда собеседник говорит слишком медленно или быстро, слоги не складываются в слова, а слова — во фразы. Разве мы можем понять собеседника, если обладаем разным мелодическим *tempo*? Повторяю, если хочешь понять другого, первым делом вслушайся в его жизненный ритм, в мелодию жизни, настрой сердце, чтобы оно билось с ним в такт.

Кинематограф приспособливает наше видение к неторопливому развитию растений, и оно приобретает в наших глазах плавную непрерывность единого жеста. Лишь тогда нам наконец удастся постичь растение, по-

родниться с ним; и лопнувшая почка становится логичным концом одного движения.

С моей точки зрения, такой кинематографический подход вполне применим к истории. И если предпринять такую попытку, четыре последних столетия испанской жизни промелькнут как один миг. События сольются одно с другим, образуя плавную кривую; жизнь нации обретет выразительную ясность жеста, а современность, венчающая столь размашистое движение, станет говорить сама за себя, как складки измученного невыносимым страданием рта или рука, бессильно упавшая во мрак поражения.

Будь так, мы бы узрели воочию, что все произошедшее, начиная с 1580 года и по сей день, было чудовищным кризисом и упадком. И, напротив, вплоть до эпохи Филиппа II процесс сплочения неуклонно набирал силу. Двадцатый год его правления, бесспорно, может считаться роковым рубежом иберийской судьбы. До этого момента, подлинной вершины, Испания шла только вперед и вверх. После него и поныне страна переживает свой закат и рассеяние. Процесс разложения шел от окраин к центру. Сначала отпали Нидерланды и Милан, позднее — Неаполь. В начале XIX века добиваются независимости обширные заморские владения, в конце — малые колонии Америки и Дальнего Востока. К 1900-му тело нации вернулось к той полуостровной наготе, которая была присуща ей от рождения. Но можно ли считать, что распад прекратился? Как бы то ни было, отделение последних заморских владений послужило толчком к разгулу центробежных тенденций внутри страны. К 1900 году в Испании впервые зазвучал набатный гул разного рода сепаратизмов и национализмов. Печальный конец затянувшейся на много веков осени, сопровождаемой порывами холодного ветра, сдувавшего с безнадежно больного дерева целые охапки пожухлой листвы.

Сплочение подразумевает *тотализацию*. Отдельные социальные группы включались в единое целое. Распад ведет к противоположному: части целого приобретают самостоятельность. Этот феномен я называю стремлением обособиться, или партикуляризмом. И если бы меня спросили, в чем самая главная беда Испании, я бы употребил этот термин.

Вот почему, повторяю, не могу согласиться, что национальные движения в Каталонии и Стране Басков — результат искусно подогреваемой политики каких-то безответственных элементов. Ничего подобного. Эти движения — обыкновенные симптомы того же распада, который вот уже много веков переживает вся нация. В них обрел свое продолжение размашистый центробежный жест, начавшийся три века тому назад. Только и всего. Спору нет, националистические программы, региональные доктрины, высказывания их инициаторов — все это безумно скучно и неинтересно. Вне сомнения, слова, произнесенные по ходу дела, по ходу вовлечения в процесс разных масс, — суть нечто, имеющее мнимый, символический смысл, который искаженно выражает темные, иррациональные, подспудные чувства, кипящие в подземных глубинах народных душ. Тот, кто в политике и истории руководствуется словами, падет жертвой удручающего самообмана. Программа Тиволи столь же верно отражает националистические стремления каталонцев, в какой отсутствие аналогичной программы гарантирует от наличия подобных настроений в Галисии, Астурии, Арагоне, Валенсии.

То, что люди говорят или думают — общественное мнение, — бесспорно, заслуживает всяческого внимания, с той оговоркой, что никогда не выражает подлинных человеческих чувств. Жалобы больного — еще не

диагноз. Так, пациент кардиолога обычно жалуется на все что угодно, но не на сердце. У вас болит голова, а нуждается в лечении — печень. Чем ближе медицина и политика стоят к своим идеалам, тем больше напоминают о необходимости применять метод Одлендорфа.

Суть стремления обособиться в том, что каждая отдельно взятая группа перестает считать себя частью общества и потому уже не в состоянии разделять настроения остальных. Ее больше не волнуют нужды или чаяния других, она отказывает им в солидарности и никак не помогает. Поскольку никого не волнует беда соседа, тот остается с ней наедине, несчастный и слабый. Наоборот, в этой же ситуации растет и обостряется внимание к собственным проблемам и трудностям. Легко переносимые в эпоху единства напасти и беды невыносимы, когда душа группы покинула тело нации*.

В этом существенном смысле можно утверждать, что стремление к обособленности существует ныне во всей Испании, проявляясь по-особому в разных провинциях. В Вильбао и Барселоне, которые уже давно числят себя движущими силами испанской экономики, желание автономии приобрело агрессивный характер и обросло мощной риторической мускулатурой. В Галисии — земле бедной и населенной людьми с душой робкой и подозрительной, то же чувство принимает вид подспуд-

* Ничто не свидетельствует так живо о характере нынешней ситуации, как непрестанные жалобы басков и каталонцев, что они — самые угнетенные народы Испании. На деле их привилегированное положение столь очевидно, что все эти жалобы носят чуть ли не гротескный характер. Тот, кто стремится не столько судить, сколько понимать людей, безусловно, поймет, что баски и каталонцы искренни в своих чувствах. Ибо речь идет о явлении относительном. Тому, кто живет с нелюбимой женой, ее заботы и ласки — горше муки. Поэтому чувство несвободы — совершенно неоправданное с объективной точки зрения — выступает верным симптомом субъективного настроения каталонского и баскского населения. — *Примеч. автора.*

ный, затаенный, оборачиваясь готовностью вручить себя чужой воле, дабы ценой физического рабства обрести духовную свободу.

Никак не могу понять, почему мы так боимся откровенного и яростного баскского или каталонского национализма и равнодушны к нигилизму Галисии или Севильи. Это означает, что мы так и не осознали всю гибельность положения. Недаром наши безмозглые патриоты считают национальный вопрос решенным, если господа Сото или Камбо провалились на выборах.

Цель моего этюда — до предела обострить политическое видение, которое до сих пор пытается узреть корни каталонского и баскского национализма соответственно в Каталонии и Бискайе, тогда как на самом деле они не там. Так где же?

Несомненно одно: когда общество страдает от стремления составляющих его групп обособиться, источник этих тенденций — центральная власть.

Кастилия породила Испанию и Кастилия ее убила.

В свое время Кастилия явилась центром иберийского объединительного процесса, сумев преодолеть свой частный интерес и сплотить другие народы полуострова для участия в грандиозном проекте совместной жизни. Именно Кастилия предложила тогда всем остальным нациям осуществить великие предприятия, устремиться навстречу высоким правовым, моральным, религиозным идеалам. Она учредила обычай выбирать лучших, предпочитая усердного ленивому, смышленного глупому, честного подлому.

* * *

Обычаи, нормы, идеалы какое-то время сохраняли свою правомочность. Народы были одухотворены ими, верили в них, питали к ним уважение, так или иначе с ними считались. Но уже в годы правления Филиппа III чудовищная перемена налицо. На первый взгляд вроде бы ничего не изменилось, а на самом деле все уже обратилось в пустой звук, химеру, утратило подлинность. Оставаясь у всех на устах, восторженные слова былых дней больше не воспламеняли сердца. Когда-то живые идеи выродились в общее место. Ни в политике, ни в науке, ни в морали не предпринимается нового. Усилия направлены на то, чтобы «ничего не менять», чтобы сохранить прошлое любой ценой, удушив любую инициативу, любую страсть к обновлению. Кастилия превращается в свою противоположность, став подозрительной, мелочной, низкой, подлой.

Утратив интерес к развитию других областей и боясь, она их бросает на произвол судьбы.

Если бы Каталония и Баскония на деле были бы столь могучи, как они ныне о себе думают, они бы попытались отделиться уже тогда, когда Кастилия перестала с ними считаться.

Катастрофа на периферии, быть может, вновь пробудила бы к жизни былые доблести центральной власти, и мы бы не впали в тот идиотизм, эгоизм и спячку, которые составили три века нашей истории.

Любая из политических сил, направлявшая развитие Испании на протяжении последних трех веков, стреми-

лась замкнуться на себе, обособиться. Начиная с монархии и кончая церковью — все власти думали только о своих интересах. Разве сердце хоть одного монарха (в конечном счете — чужеземца) тревожно билось хоть раз, переживая за народные судьбы? Разве церковь пеклась о наших подлинных интересах? Насколько я знаю — нет. Наоборот, и монархия, и церковь неизменно стремились выдать свои судьбы за подлинно национальные*. Под их чутким руководством одно поколение за другим подвергалось поистине противоестественному отбору. С научной точки зрения было бы интересно исследовать историю предпочтений, которые высказывали испанские монархи, назначая на ту или иную должность тех или иных людей. Извращенное представление о ценностях неизменно заставляло их предпочитать тупых умным, малодушных великодушным. Когда предпочитаешь худшее, это значит, что ты ни к чему не стремишься, не хочешь ничего делать. И, наоборот, когда в груди кипят высокие порывы, когда душа стремится осуществить грандиозные замыслы, мы ищем людей, которые способны на подвиги.

Вместо того чтобы периодически обновлять репертуар жизненных идей, типов существования, предприятий, которые могли бы сплотить, воодушевить нацию, власти истощали достигнутое единство, используя силу общества почти исключительно в личных целях.

* Правление Карлоса III, на первый взгляд, кажется исключением, которое в конечном счете лишь подтверждает правило. Культ Карлоса III, процветавший лет тридцать тому назад среди наших «прогрессистов», говорит о превратном понимании его исторической роли. С общекультурной точки зрения отдельные стороны его политики, безусловно, имели положительное значение, но в целом годы его правления составили самый антинациональный, партикуляристский этап в истории монархии. — *Примеч. автора.*

* * *

Как можно после этого удивляться, что по прошествии времени большинство, точнее, лучшая часть испанского общества, то и дело задастся вопросом: а стоит ли нам жить вместе? *Ибо жизнь — движение вперед, активность, направленная от настоящего мига в ближайшее будущее.*

Каких-то бледных отзвуков прошлого, бесспорно, мало для того, чтобы жить и не просто жить, а сосуществовать. Вот почему тысячу раз прав Ренан, назвавший нацию повседневным плебисцитом. В самом деле, в глубине национальной души ежедневно идет обязательное голосование, от которого зависит грядущее нации.

Что нам предложит завтра гражданская власть, каким общим делом воодушевит соотечественников? Века сменяют друг друга, а власти по-прежнему пребывают в уверенности, что мы, испанцы, живем исключительно, чтобы длить и длить их безмятежное существование. Но так как причина мелка и ничтожна, Испания рушится на глазах. Ныне мы сталкиваемся уже не с нацией. Пред нами облако пыли, оставшееся после того, как по великому историческому тракту галопом промчался какой-то неведомый, могучий народ...

И в каталонском, и в баскском национализме я наблюдаю некие важнейшие черты, обыкновенно оставляемые без внимания. С одной стороны, я убежден в глубоком сродстве этих процессов с многовековым развалом государства, в том числе с утратой колонии, с другой — в несомненной связи этих тенденций с всеобщим стремлением к обособлению, партикуляризмом. Все прочее, то есть отчетливо проявляемая этническая самобытность,

попытки достичь языковой автономии, критика исходящей из центра политики, либо не имеет значения, либо преодолимо в самом положительном смысле.

Предложенное истолкование баскского и каталонского сепаратизма как частного случая общих центробежных тенденций, охвативших Испанию, получит дополнительное подтверждение, если мы рассмотрим другое нынешнее бедствие, уже не имеющее отношения к провинциям, а именно разобщенность социальных классов.

VI

Глухие стены

Единство нации прежде всего подразумевает налаживание тесной связи между этническими и политическими группами. Но этого мало. По мере развития государства, усложнения государственных потребностей растет дифференциация социальных функций и, стало быть, соответствующих органов. Внутри единого целого возникает ряд миров, где царит своя, неповторимая атмосфера, то есть имеются свои нормы, интересы, обычаи, идеи и настроения. Это миры военных, политиков, промышленников, ученых и творцов, рабочих и т.д. Словом, процесс объединения, в результате которого образовалось единое крупное государство, уравнивается разделением общества на классы, слои, профессиональные группы.

* * *

Все этнические сообщества, прежде чем войти в государство, существовали отдельно. Каждое из них было самостоятельной единицей. Наоборот, классы и профессиональные группы изначально представляют собой части целого. Первые так или иначе могут вернуться к независимости. Вторые никогда не жили и не смогут жить сами по себе. Вся их суть в том, чтобы быть частями целого, элементами структуры, в которую жестко вписано их существование. Так делец нуждается в поставщиках сырья, в покупателях, в администрации, которая наводит порядок на дорогах, в военных, призванных этот порядок защитить. В свою очередь, мир военных, или «защитников», по выражению Хуана Мануэля, нуждается в предпринимателе, крестьянине, технике.

Нация живет нормальной жизнью, когда каждая из групп понимает, что она — только часть общества. Но всякое дело, которым занимаются непрерывно, таит угрозу инерции. Иначе говоря, люди одной профессии склоняются к тому, чтобы замкнуться в узком круге собственных интересов, забот, и если эта склонность никак не сдерживается, то группа забывает, что нужно поддерживать общественную связь, перестает осязать давление других сосуществующих групп и отказывается соблюдать связанные с этим обстоятельством нормы и дисциплину.

Вот почему люди, сплоченные в один класс, практикующие одно занятие, обязаны считаться с другими классами и слоями, поддерживать с ними сотрудничество. Словом, должны уважать других, помня о том, что и у

них есть свои обычаи, предрассудки и даже мании, которые нужно если не прощать, то учитывать.

Но как поддержать эту солидарность? И здесь возвращаюсь к лейтмотиву всей моей книги: национальное сосуществование не статическая, а динамическая реальность. Общество — это не груда камней на краю дороги. Объединение наций всегда связано с каким-то важным предприятием, с замыслом, требующим всеобщего участия и способным воодушевить людей. Только тогда все начнут стараться, будут соблюдать дисциплину и выручать друг друга. Человек, попавший в опасное положение, сразу же собирает все силы, всю энергию, чтобы как можно скорее отразить угрозу. Сходным образом действует и нация, когда ей предстоит выполнить какое-то серьезное дело, справиться с какой-то жизненно важной проблемой. К примеру, во время войны каждый гражданин покидает узкий мир своих забот и чутко вслушивается в то, что происходит в большом мире. Вновь и вновь продумывая, как поведут себя в такой ситуации другие, он постигает ограниченность мира своих занятий, а также его зависимость от частей целого, с которым раньше он не хотел считаться. Наконец, он вникает в материальные и духовные условия людей другого статуса, в их социальную роль, которая только и позволяет ему на них опереться в трудную минуту*. В таких об-

* Только подумайте о всеобщем энтузиазме, который охватил немецкий народ при известии о достижениях отечественной химии. Ученым Германии ценой упорных усилий удалось наконец преодолеть мрачную заброшенность, в условиях которой так долго прозябала эта наука, и достичь мирового уровня. Вне сомнений, в тот счастливый миг вся нация с благодарностью припомнила, как в свое время не поскупилась на средства, столь необходимые для развития химии. И, напротив, та же Германия сто раз прокляла свое некогда презрительное отношение к внутренней и внешней политике, которое не позволило ей ко времени обзавестись хорошо подготовленным корпусом политиков и дипломатов. — *Примеч. автора.*

стоятельствах каждая профессия, если можно так выразиться, живет жизнью других. Что бы ни случилось с какой-то одной группой, это немедленно находит отклик в остальных. Общество делается компактней, гибче, оживает во всех звеньях. Эту способность передавать импульсы от одной части к другой я назову «социальной эластичностью». Последняя носит обостренный характер в период войны, а в мирное время сохраняет нормальный уровень во всяком здоровом обществе. Ее удачно иллюстрирует пример из физики: бильярдный шар, получив удар в какой-то одной точке, немедленно и без потерь передает импульс во все места сферической поверхности. «Социальная эластичность» как бы умножает жизнь отдельного человека на жизнь остальных людей, безмерно обогащая ее. Благодаря общей психологической атмосфере ни одно усилие не пропадает даром, нация копит энергию, набирает мощь. Такой народ способен в нужную минуту быстро набрать исторический потенциал и успешно решить сложные и большие задачи.

Не только не важно, но и не нужно, чтобы отдельные части социального целого совпадали в своих стремлениях и идеях. Важно и нужно, чтобы каждая группа не забывала об остальных и в определенной степени разделяла их жизнь. Когда этого нет, класс (или группа) перестает осязать другие классы и группы, словно больной заболеванием костного мозга. Он больше не чувствует контакта, не замечает чужого присутствия и мало-помалу приходит к ложному выводу, что на свете, кроме него, больше никого нет. Отныне он — все, притом — самодостаточное. Такова классовая обособленность, гораздо более грозный симптом распада, чем сепаратистские национальные движения и территориальная рознь. Ибо, как уже было

сказано, классы и профессиональные корпорации имеют более частный характер, чем этнические общины или политические образования.

Нам не остается ничего другого, как сделать при-
скорбный вывод: нынешняя общественная жизнь дает
яркий пример немислимой классовой разобщенности.
*Современная Испания — это уже не нация, бывшее един-
ство разбилось на группы, разделенные глухими перегород-
ками.*

Вот говорят: политики замкнулись в себе и не за-
ботятся об остальном населении. Это так и не так,
поскольку равнодушие к ближним свойственно не
только политикам. Истина в том, что если политики
повернулись спиной к остальным членам общества,
то и все члены общества платят им той же, если не
худшей, монетой.

Давайте спросим себя, а что происходит с той час-
тью населения, которая не принадлежит к политичес-
кой группе? Разве военные блюдут интересы промыш-
ленников, интеллигенции, крестьян, рабочих? Точно так
же ведут себя земледельцы, промышленники, рабочие
по отношению к другим социальным классам. Каждый
класс, каждое сословие закурилось. Им не интересно,
что творится в мире других. Каждый социальный слой
обитает в каком-то космическом пространстве. Они мчат-
ся по своим орбитам словно галактики, не подозревая о
существовании друг друга. Сосредоточившись на своем,
они и знать не хотят о том, что творится в душах бли-
жайших соседей. Любые идеи, настроения, ценности,
созданные внутри таких профессиональных миров или
классов, никогда не выходят за их пределы.

* * *

Любые, даже титанические усилия, предпринятые на одном участке социального тела, не находят отклика даже рядом, оборачиваются пустой тратой сил и в конце концов затухают там же, где родились. Трудно представить себе общество менее эластичное. Общество, которое в такой степени было бы разобщенностью. Сейчас мы с полным основанием можем сказать о всей Испании то же, что некогда сказал Кальдерон о Мадриде:

От дома к дому дальний
В столице путь лежит:
Как будто бы из Ганте
Бредешь в Вальядолид.

VII

Армия

Чтобы не впадать в абстрактные рассуждения, рассмотрим хотя бы поверхностно конкретный пример полностью отгороженной группы: нашу армию. Все далее сказанное так или иначе относимо ко всем остальным социальным классам.

После колониальной и испано-американской войн армия разложилась окончательно и бесповоротно. Иначе говоря, превратилась в безликую массу. Дела до нее не было никому. Больше того: никто не удосужился справедливо и компетентно потребовать у военных отчета в том, что же произошло. Вместе с тем страна с удивительным единоду-

шим раз и навсегда постановила, что больше никогда не будет воевать. Сами военные прониклись подобной идеей до глубины души, а Дон Хоакин Коста властно приказал впредь не извлекать из ножен меч Сиды.

Вот вам еще пример, что нация — динамичное, а не статичное образование. Другими словами, лишь замысел грядущего деяния (и не что иное) способен сообщить обществу единство. Перед взором людей, отдавших жизнь военному делу, должен неизменно маячить хотя бы смутный призрак будущей войны. Сама мысль, что некое орудие или средство однажды придется пустить в ход, заставляет держать его наготове, проявляя о нем ежедневную заботу. Если из сознания армии изъять возможность войны, падет боевой дух, рухнет дисциплина, исчезнет надежда на сколько-нибудь эффективное применение военной силы.

Относительно антимилитаристских настроений скажу одно: понимаю, но не сочувствую. Противники войны требуют роспуска армий. При ложной посылке логичный вывод. Но содержать армию, исключив возможность ее участия в боевых операциях, — чудовищное противоречие, в которое (вопреки глубоко лицемерным официальным заявлениям) втайне впали почти все мои соотечественники начиная с 1900 года. Единственная война, в справедливости коей никто бы не сомневался (за независимость), столь мало вероятна, что практически не влияет на общественное мнение. И естественно, как только мы условились, что войны отныне не будет, общественные классы перестали считаться с армией и полностью утратили интерес к жизни военных. В итоге армия перестала чувствовать себя живой частью нации, утратила связь с обществом и внутрен-

ную сплоченность. Этого следовало ожидать. Социальная группа, в чьей судьбе не принимают участия, моментально начинает противопоставлять себя остальным. Военные затаили неискоренимо презрительное отношение к политикам, интеллигенции, рабочим (список можно продолжить) и, питая подобные чувства, замкнулись на себе, прервав связи с социальным целым. И тогда наша армия мало-помалу привыкла жить (в отношении мыслей, чувств, целей) как бы наедине с собой, в отъединении. Она отмежеввалась, накрепко заперла свое сердце, в котором и так уже созрели семена партикуляристских настроений*.

В 1909 году часть армии отправилась в Марокко для проведения операции в этой колонии. Люди толпились на перронах в знак протеста против отправки войск под явным воздействием отмеченных пацифистских настроений. Разумеется, подобная «карательная операция» не была столь значительным предприятием, чтобы пробудить в армии всю мощь ее боевого духа. И все же марокканской войны хватило с лихвой, чтобы военные вновь осознали свои ценности. Иначе сказать, армия сплотилась и пришла к единству с собой. Но не с нацией. Наоборот, упомянутая корпоративная сплоченность питалась теми же горькими и злобными чувствами. Во всяком

* Очень может быть, что предложенная схема развития психологии испанской армии ошибочна. И все же считаю, что ее можно рассматривать как попытку объяснить состояние духа наших военных, предпринятую посторонним наблюдателем. Позволю себе напомнить, что в речи, произнесенной незадолго до начала Мировой войны (в апреле 1914 года), я отметил прискорбный факт отделения армии от нации и, к несчастью, предвосхитил вскоре случившиеся события. Читатели могут обратиться к моей книге 1914 года «Старая и новая политика». Недавно изданная графом Романонесом (вероятно, одним из умнейших испанских политиков), она служит достаточно весомым подтверждением вышеприведенных выводов. — *Примеч. автора.*

случае, Марокко собрало расколотую душу армии в один кулак, готовый нанести сокрушительный удар*.

С тех пор армия стала напоминать заряженную пушку, не знающую, куда стрелять. Утратив взаимодействие с другими классами (подобно тому, как и они потеряли связь между собой), а также всякое уважение к другим, не чувствуя их плечом, армия стала жить в постоянном смятении, с одной стороны, стараясь разрядить накопленный потенциал, а с другой — не находя ему применения. Разве после этого удивительно, что в итоге она обрушила свою мощь на нацию и попыталась ее завоевать? Разве после этого можно было рассчитывать, что в один прекрасный день военные не вздумают захватить как законный трофей какого-нибудь председателя Совета?

Естественно, подобные настроения не могли не вылиться в известные июльские события 1917 года. Тогда военные на миг как бы совсем перестали понимать свою причастность к нации. Стремление обособиться (которым армия была поражена ничуть не более всех остальных слоев и за которое она отнюдь не несла бóльшей ответственности) подвело военных к мысли, что только они одни и существуют, и притом образуя нечто целое.

Эту историю *mutatis mutandis* вполне можно рассказать и о всех прочих слагаемых общества. Каждая группа, безусловно, пережила некую стадию развития, когда, разочаровавшись в национальной сплоченности и утратив контакт с остальными, она внезапно прониклась глубоким убеждением, что ее предназначение — навязывать остальным свою волю. Иными словами, стремление к обособленности привело к тактике прямого действия.

* То, что и технически, и материально армия не была к этому готова, не имеет отношения к приведенному здесь разбору военной психологии. — *Примеч. автора.*

VIII

Прямое действие

Стремление отмежеваться, которое я избрал темой данного этюда, можно охарактеризовать так: оно наблюдается всякий раз, когда какой-либо класс, сословие начинают питать иллюзии, что прочих групп как социальных реальностей не существует вообще или по крайней мере их существование не заслужено. Еще проще: страсть к обособлению — это расположение духа, при котором мы чувствуем себя вправе ни с кем не считаться. Иногда к этому ведет чрезмерное самомнение, иногда — презрение к ближнему. В обоих случаях люди теряют понятие о своей ограниченности и невольно склоняются к мысли, что представляют собой нечто самодовлеющее. Ведь считаться с другими значит признавать если не их превосходство, то по меньшей мере необходимость сотрудничества, без которого немыслимо какое-либо сосуществование. В конечном счете нация — это колоссальное сообщество индивидов, которые друг с другом считаются. Последнее не следует понимать, будто мы питаем друг к другу симпатию. Разве когда мы с кем-то ведем борьбу, этот «кто-то» для нас не существует? Ничто так не напоминает объятие, как рукопашная схватка.

Что ж, в нормальных условиях общественной жизни любой класс, желая добиться каких-либо благ, первым делом старается заручиться согласием остальных. Вместо того чтобы непосредственно приступить к удовлетворению своих потребностей, он считает необходимым достичь целей через механизм всеобщего волеизъявления. Иначе говоря, частное проявление воли проходит

неблизкий путь сквозь волевые слагаемые всей нации и только так получает статус легальности. Подобные усилия убедить и получить от ближних право на частное требование и есть легальное действие.

Функция «считаться с другими» создает органы, обеспечивающие ее выполнение, то есть социальные институты, которые посредничают между людьми и группами, служа амортизаторами, смягчающими общественные отношения, способствуя национальной сплоченности.

Но класс, охваченный страстью отмежеваться, чувствует себя оскорбленным при одной мысли, что для достижения целей нужно прибегнуть к данным институтам и органам. Разве другие существуют? В конечном счете они — никто и ничто. Вот почему наши военные, аристократы, предприниматели, рабочие считают, что их оскорбили, когда приходится просить у парламента разрешения удовлетворить свои нужды. Это чувство в замаскированной форме выступает как презрение к политикам, но внимательный психолог не даст себя обмануть подобной видимости.

Наша история, как никакая другая, дала ярчайшие примеры презрительного отношения почти всех классов к политическим деятелям. Как будто это единственная социальная группа, которая, во-первых, не желает исполнять свой долг, а во-вторых, не обладает нужными для этого качествами. А иначе наши аристократы, Университет, промышленники, военные, инженеры, конечно же, представляют собой уникальные группы и институты, терпящие небывалый урон из-за роковой позиции политиков. Но если так, чем объяснить то странное обстоятельство, что такие исключительные избиратели упорно не желают сместить с постов столь нерадивых депутатов?

Вне сомнений, тут есть лукавство, поскольку ни одна из групп не смеет упрекнуть остальные в чем бы то ни было. Абсолютно все классы и сословия прозябают в немыслимом эгоизме, не говоря уж о бескультурии. И несмотря на это, они беспрестанно предъявляют друг другу претензии. Спору нет, нынешние политики — правдивое отражение пороков Испании. И однако, по мнению дальновидных и проницательных людей, не они — самое болезненное место нашего общества*. Главной причиной (хотя, бесспорно, одной из многих) глубокого отвращения, питаемого обществом к политикам, по-моему, является лишь одно: политики воплощают необходимость считаться с другими для всех общественных классов.

Политиков ненавидят не столько как правителей, сколько как парламентариев, поскольку парламент — орган, обеспечивающий национальное сосуществование, заключая договоры между равными. Вот что приводит в тайное бешенство самые разные классы и группы. Еще бы! Подспудно питая к другим ненависть, глубоко презирая их, мы почему-то должны с ними считаться! Выходит, что единственным типом общественной деятельности, которая в настоящее время устраивает каждый класс, — это навязывание другим своей воли, или — прямое действие.

Термин, как известно, возник для обозначения определенной тактики рабочего класса, но, по правде, применим ко всему, что творится у нас в стране. С оговоркой, что уровень или интенсивность (прямого действия) зависит от силы того или иного класса. Рабочие решили применять эту тактику, просто доведя до логического

* Сейчас мы переживаем чудовищную экономическую катастрофу. И произошла она из-за тупости и непорядочности промышленников и банкиров. Можно ли сомневаться, что, несмотря на некомпетентность и эгоизм политиков, финансисты, коммерсанты и промышленники дадут им сто очков вперед? — *Примеч. автора.*

конца свою страсть к обособлению. Порвав солидарные связи с обществом, они пришли к выводу, что прочие вообще не имеют права на существование. Ведь это — паразитические и, стало быть, антисоциальные элементы. Они же, рабочие, конечно, не просто часть общества, а целый социум, имеющий право на законное политическое существование. И коль скоро именно рабочие — подлинные хозяева общественной жизни, то никто и никогда не в силах помешать им взять свое. Тем самым не прямое действие — это договор с узурпаторами, с теми, кто лишен прав на законное существование.

Если из подобных рассуждений вычесть то, что принадлежит к чистой теории*, и перевести подобные настроения их на алогичный и туманный язык эмоций, мы получим расположение духа, характерное почти для всех классов Испании.

IX

Перевороты и заговоры

Как было сказано, прямое действие — это тактика, обусловленная непреложным стремлением обособиться,

* Обособление рабочего класса берет начало в теории и, стало быть, представляет собой исторический феномен, в корне отличный от стихийного и страстного желания отмежеваться, наблюдаемого у прочих классов и групп в нашей стране. И поскольку мировоззрение рабочих имеет теоретический, или рациональный, характер (подобный геометрии или дарвинизму), то оно способно проявляться у всех народов, независимо от степени их сплоченности. Рабочее «отмежевание», таким образом, не наша национальная беда в отличие от партикуляризма промышленников, военных, аристократов, чиновников. — *Примеч. автора.*

не считаться с другими. В свою очередь последнее, то есть нежелание считаться с кем бы то ни было, — результат утраты интеллектуальной бдительности. Чем хуже зрение, чем уже жизненный горизонт, тем скуднее мир и тем выше готовность забыть о существовании ближнего.

Прямое действие как печальный итог умственной неполноценности дал первые исторические свидетельства уже где-то в XIX веке. Лично я, вспоминая о наших бесчисленных «переворотах и заговорах», постоянно ловлю себя на мысли, что они были подлинным прообразом тех самых процессов, которые ныне приняли столь небывалый размах.

Когда-нибудь обещаю познакомить читателей с моими давними заметками о психологии этих «заговоров». Сейчас назову только пару признаков данного исторического явления.

Все наши генералы и полковники, славные беспримерным мужеством и столь же беспримерным легкомыслием, отличались удивительной и неизлечимой закупоркой мозгов, поскольку исповедовали свою веру не как нормальные люди, а как маньяки или глупцы. Когда ненормальный или болван приходит к какому-то мнению, он непременно считает, что остальные смертные разделяют его убеждения. Подобные люди вообще не задумываются, что нужно приложить усилия и попытаться убедить в своей правоте остальных. А зачем? Довольно «бросить клич», высказать свое непререкаемое суждение, и всякий, кто еще пребывает в здравом уме и твердой памяти, обязан стоять за такую «идею» насмерть. Приблизительно так славные полковники и генералы пришли к изумительному выводу, что и «клич», раздав-

шись в одном гарнизоне, будет немедленно подхвачен всей Испанией.

Прямым следствием этого убеждения было легкомыслие. Заговорщики и не думали обеспечить себе поддержку и даже не подготовили надежные ударные силы. С какой стати? Восставшим и в голову не пришло, что придется всерьез воевать. Считая, что их точку зрения втайне разделяют все нормальные граждане, они, естественно, решили, что «клич» обладает магической силой. Они собрались не сражаться, а просто брать власть.

Не ошибусь, если скажу, что почти все политические движения последних лет отличались этими двумя признаками «переворотов и заговоров».

Предлагаемый разбор современного политического положения Испании будет неполным и даже предвзятым, если читатели решат, что стремление групп отмежеваться от общества породило жестокую классовую борьбу. Неужто в Испании найдется хоть один человек, готовый сражаться? К несчастью, все наоборот. Разобщенность действительно налицо, но и она могла бы сыграть положительную роль, если в один прекрасный день пробудила волю к борьбе и подвигла хоть кого-то достичь нового единения.

Есть избитая истина: чтобы зажечь свечу, нужно, чтобы она до этого погасла. Иначе сказать, чтобы прийти в боевое настроение, необходимо отдавать себе отчет, что сражение не выиграно. Боец смотрит на мир иначе, чем победитель. Кто всерьез собрался сражаться, для начала должен знать, что враг существует. Он силен, а значит — опасен, или же — с ним придется считаться. Вот почему опытный воин всегда старается заручиться широкой поддержкой и, употребив всю силу убеждения, всю диалектику, вложит в грядущее предприятие и жар души, и

хитрость, стремясь собрать под знамя как можно больше верных людей... Тот, кто мнит себя победителем, естественно, поступает наоборот. Бездыханное тело врага осталось позади. Зачем тратить силы на уговоры и убеждения, зачем собирать войска? Наоборот, лучше избавиться от бывших союзников, чтобы увеличить свою долю добычи и преспокойно прибрать все к своим рукам. Итак, прямое действие — тактика не воина, а победителя.

В любом из недавно оформившихся политических движений прослеживается общая черта — они возникли не для битвы, а для веры, что битва давно выиграна.

В 1917 рабочие и республиканцы сделали попытку начать свою ничтожную революцию, или переворотец. Июльское выступление армии подтолкнуло их к мысли, что настал подходящий момент... Для чего? Чтобы сражаться? Нет, просто взять власть, которая, словно никому не нужная вещь, валялась на дороге. Вот почему социалисты и республиканцы ни с кем не посчитались и не обратились с пламенным, свободолюбивым словом к нации. Они решили, что все желают того же, что они, и кликнули «клич» в двух-трех кварталах двух-трех городов.

Чуть раньше возник «мауризм». Дон Антонио Маура наряду со многими удачными начинаниями совершил роковую ошибку — решился на «переворот». Это был «путчист» в штатском, коему взбрело в голову, что в Испании есть широкая масса (значимая и по количеству, и по качеству), отошедшая от общественной жизни из-за отвращения к политической деятельности. Следующим шагом Дона Антонио было умозаключение, что упомянутая «нейтральная масса» разделяет его убеждения и ждет не дождется «твердой руки» вкупе с исконным католицизмом и пристрастием к вычурной прозе XVII сто-

летия. А значит — достаточно было кликнуть «клич» и здоровая часть общества воспряла бы ото сна. Чтобы достичь цели, не было лучшего средства, чем ввести обязательное голосование. Если же кто-то не разделял столь убийственной логики, на него просто можно было махнуть рукой, ибо речь шла о жалкой кучке отщепенцев и грешников! Словом, вместо того чтобы их убедить, привлечь, исправить, следовало как можно быстрее от них избавиться, изолировав от общества. Короче — провести магическую черту, отмежевывающую козлищ от овец. Вот откуда знаменитая фраза: «Мы — это мы». И в лучшую свою пору Дон Антонио Маура даже не пошевелил пальцем, чтобы как-то убедить неубежденных.

Долгие годы одиночества научили этого умного человека, что наихудшее в любом деле — тактика отлучения. Любые замыслы обязательно подразумевают сотрудничество всех граждан, поскольку лишь это поможет обрести им место в совместной жизни нации. Подлинные перемены победоносных революций опирались на самые широкие идеи. Напротив, любая пролетарская революция обречена на провал из-за нелепого стремления торжествовать — отлучая и исключая.

И грустно, и скучно наблюдать, как на протяжении долгих лет (в газетах, в проповедях, на митингах) царит упорное нежелание обращать неверных и идет диалог с уже давно прирученной паствой. Отсюда небывалое измельчание существующих групп мнений. Ведь ни одна не растет, не ширится. Наоборот, все хиреют на глазах. Ливанские «друзы» отвергали идею обращения, поскольку «верный» таков от рождения и пребудет им во веки веков. В этом смысле все мы — немного «друзы».

Нам не хватает высокого пыла бойцов, и, напротив, не занимать угрюмого высокомерия триумфаторов. Не

сражаться, а побеждать — вот наше заветное желание. И коль скоро это невозможно, мы предпочитаем строить воздушные замки и «побеждаем» в беседе с друзьями, в казино, в баре, в офицерском собрании или просто героически наедине с собой, наслаждаясь игрой воображения.

Тот, кто действительно хочет, чтобы прекратился распад, и желает реальной победы, должен научиться считаться с другими и объединять усилия, «исключив всякое исключение», как учил Ренан*.

Нынешняя разобщенность привела к одной любопытной особенности нашей общественной жизни, о которой следует сказать отдельно. Сейчас у всех и у каждого вполне достанет сил, чтобы разрушать и крушить (у военных, у рабочих, у тех или иных политиков) и, напротив, все и каждый бессильны сделать что-либо путное, даже просто обеспечить свои права.

В Испании найдется немало сил, каждая из которых в достаточной мере бессильна. Если их не объединить, нас не хватит и на то, чтобы подать нищему. Мне уже не раз приходилось говорить, что сущность политики сводится к простым пословицам о том, что словами сыт не будешь и что под лежащий камень вода не течет.

Но поскольку мы ничего не делаем и растрачиваем себя на пустую болтовню, можно вполне ожидать, что нас-таки забросают камнями.

* В этой связи мне хочется привести отрывок из моей статьи 1915 года: «Мы не можем отнести себя к какой-либо партии, поскольку все они расходятся только на словах и не отражают реальных различий мнений. Все нынешние партии нужно хорошенько перемешать, чтобы на их основе в будущем действительно возникли мощные политические силы». Журнал «Эспанья», №1. — *Примеч. автора.*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОТСУТСТВИЕ ЛУЧШИХ

I

Люди или массы?

Мне важно, чтобы развитие достаточно сложных излагаемых здесь идей не заслонило от читателей главной темы данного этюда. Как уже говорилось, общественная жизнь современной Испании характеризуется почти повсеместным стремлением различных групп к обособлению и присущей данному феномену тактикой прямого действия. В связи с этим я начал с наболевшего вопроса: каталонского и баскского сепаратизма. По непонятной причине мы привыкли видеть в этих движениях нечто вроде опухолей, неожиданно-негаданно поразившей тело нации, и сразу решили, что нащупали корень нынешних бедствий. На самом деле сепаратизм — внешний симптом куда более серьезной болезни. Сепаратизм каталонцев и басков опасен не позитивным, или националистическим, содержанием, а негативным, поскольку здесь он сходится во всех признаках с процессом распада страны. Вот почему я, во-первых, старался обнаружить глубокую связь сепаратизма с территориальным раздроблением Испании,

которое продолжается вот уже три столетия, и во-вторых, сродство регионалистских тенденций с тягой к обособлению, которая встречается у самых разных слоев, ибо эти настроения, по сути, тождественны. Если понять, что борьба каталонцев за независимость и волнения армии, на первый взгляд, вещи противоположные, имеют одну основу, одни партикуляристские корни, мы перестанем видеть источник кризиса там, где его нет и не было. Историческая реальность прячется не хуже хамелеона, как бы провоцируя на поразительные промахи.

Раз так, давайте незамедлительно обратимся к глубинным и мощным слоям бытия, где таится скорбь нации, прорываясь стенаниями в Бильбао и Барселоне.

Я говорю о затянувшейся атрофии духовных сил, которые призваны преодолеть обособленность, одиночество, ограниченность провинций, групп, индивидов. Я говорю о том, что человек, проживающий в нормальной стране, должен иметь возможность участвовать в великих предприятиях, создавать коллективные ценности, развивать великие идеи.

Любопытным примером надолго затянувшейся атрофии служит с виду безобидное и достаточно распространенное мнение, что в Испании не осталось людей. Если бы воображаемый Кювье от истории нашел кость от этого «мнения», то по ней он с легкостью мог бы восстановить весь духовный костяк нынешнего испанского общества.

Говоря, что в Испании «людей не осталось», по-видимому, считают, что раньше они были. Иначе, сравнивают «вчера» и «сегодня». «Вчера» — это, конечно, золотые времена Реставрации и Регентства, поскольку тогда «были люди».

Но если бы мы являлись наследниками эпохи, которая породила гениев, подобных Бисмарку или Кавуру,

Гюго или Достоевскому, Фарадею или Пастеру, то нам, бесспорно, осталось бы только развести руками: таких личностей уже нет. Но Реставрация и Регентство не только не дали людей такого масштаба, но, вне всяких сомнений, представляли собой время застоя, пагубно отразившегося на наших исторических судьбах. Разве не ясно, что сейчас нация отличается куда большей жизненностью, чем в ту пору. Ведь и наука, и богатство выросли с тех пор в огромной степени.

Тем не менее вчера «люди» были, а сегодня — нет. Это вызывает недоумение. Неужто личные качества упомянутых «людей» были столь высоки, что ныне живущих неизбежно следует причислить к псевдолюдям? Неужели они были умнее, талантливее? Или тогдашние врачи и инженеры лучше нынешних? Иначе говоря, Эчегарай на целую голову был выше Рея Пастора, Руис Соррилья превзошел Лерру энергичностью и проницательностью, Сагаста знал дело глубже, чем граф Романес, а труды Менендеса Пелайо просто нельзя сравнивать с убогими сочинениями Менендеса Пидалья. Если же взять литературу, то по силе вдохновения для Нуньеса де Арсе просто унижительно стоять рядом с Рубеном Дарио, и уж, конечно, Валера писал живее, чем Перес де Айала! Для всякого, кто судит со знанием дела, ясно, что почти во всех областях деятельности мы все же можем насчитать современников, которые не только не уступят лучшим представителям прошлого века, но даже, возможно, их превзойдут. Но верно одно: их так же мало, как прежде.

И все же доля правды в суждении есть. «Величие», по которому мы бессознательно тоскуем, является не способностями или качествами личностей, а состоит из признаков, которыми народ, масса наделяет «избранных». Пос-

ледние представители эпохи «людей» умерли не так уж давно. Мы их знали и видели. Можно ли всерьез утверждать, что это были непревзойденные корифеи науки, культуры? И, однако, они считались «людьми». Значит, их «величие» заключалось не в них, а в общественном мнении. Это был мистический ореол, которым их окружало коллективное представление. Массы в них верили, превозносили до небес, и могучая людская вера придавала четкие грани и внушительный облик их порядочной заурядности.

Пожалуй, ничто так отчетливо не характеризует жизнь нации в каждую эпоху, как отношения, сложившиеся между массой и избранным меньшинством. Любая общественная деятельность (политическая, интеллектуальная, просветительская) по определению не гарантирует успеха отдельному человеку, даже если он — гений. Влияние окружающих или, если угодно, власть социального берет начало в стихиях иного рода, чем те, что отличают воздействие одного человека на другого. Индивид никогда не достигнет значительных результатов, опираясь только на свои силы. Личность сильна количеством социальной энергии, которым ее зарядила масса. Любая одаренность — только повод или предлог, чтобы человек сгустил на себе весь общественный потенциал.

Так политик влияет на общество ровно в той мере, в какой пользуется авторитетом в своей партии. Писатель становится властителем дум, только когда читатель питает перед ним пиетет. Наоборот, ошибочно думать, будто степень влияния зависит от таланта индивида или его способностей. И это понятно. Чем мудрее, проницательнее писатель, чем шире пропасть между его идеями и идеями масс, тем труднее он для всеобщего восприятия. И лишь когда массовый читатель поверит в автора, то есть признает его превосходство, он начнет прилагать

усилия, чтобы возвыситься до его уровня. В стране, где массы не способны преклоняться перед высшим, весьма велика вероятность, что единственными влиятельными писателями будут заурядные, доступные общему пониманию, иначе говоря, идиоты.

То же — в общественной жизни. Масса, которая так и не уверовала в гениальность политика и мнит себя ему равной, подрывает любую его акцию, обрекая на провал всякий его жест. Чем дальновиднее политик, тем больше вероятность, что он будет превратно понят, тем шатче его положение и малочисленные приверженцы. Да неужто способен разбить врага тот, кто изо дня в день завоевывает доверие собственной партии?

Итак, те самые «люди», отсутствие которых оплакивается в упомянутой фразе, суть не что иное, как плод восторженного воображения масс или коллективный миф в полном смысле этого слова.

В эпоху национального подъема, сплочения массы, как и должно, ощущают себя безымянным сообществом, избирая себе «героев», выступающих символом желанного единства, вобравших в себя мощь народного энтузиазма. Естественно, тогда повсеместно считается, что «люди» есть. В эпохи распада и обособленности масса больше не желает быть массой. Каждый мнит себя руководителем и, бунтуя против любого, кто его превосходит, обрушивает на последнего лавину злобы, тупости, зависти. И тогда, пытаясь найти оправдание собственной неспособности и заглушить голос совести, массы считают, что «людей не осталось».

Нет ничего наивнее, чем считать, будто восторженность масс зависит от значимости руководителя. Наоборот: значимость лидеров зависит от способности масс воодушевляться. Бывают эпохи, когда душа народа как бы коченеет, становится распушенной, самодовольной, завистливой и

больше не способна творить социальные мифы. Во времена Сократа тоже были люди, равные по силе Гераклу. Но душа Греции уже заледенела и больше не могла излить себя в великолепный, огненный миф и зажечь вокруг силача ослепительный зодиак двенадцати подвигов.

Присмотритесь к закулисной жизни любой современной партии. Все они, даже правые, являют самое печальное зрелище. Вместо того чтобы следовать за вождем, партийная масса всецело им помыкает, питая плебейскую ненависть к любому потенциальному превосходству. Отказав лучшим в уважении, в социальной покорности, масса поворачивается к ним спиной и презрительно твердит, что «людей не осталось».

Вот любопытный пример обычного несоответствия между «общественным мнением» и нашими тайными чувствами! Итак, когда тебе говорят, что «людей не осталось», то понимай так, что ныне «нет масс».

II

Империя масс

Нация — масса, организованная избранным меньшинством. Эту истину приходится признать независимо от любых политических убеждений, поскольку она относится к такому пласту исторической реальности, который лежит гораздо глубже уровня, где кипят политические страсти. Правовой облик национального сообщества может быть самым демократическим, даже, если хотите, коммунистическим. Но жизненная струк-

тура, существующая до- и сверх- какой-либо законности, неизменно определяется динамическим воздействием меньшинства на массу. Перед нами закон природы, который играет в биологии общества ту же роль, что закон плотности в физике. Известно: погруженные в жидкость твердые тела плавают на глубине, которая однозначно зависит от их плотности. Так и люди в обществе занимают разную высоту, разбиваются на группы, в зависимости от жизненной силы индивидов, как бы от их жизненной плотности. Простейшая форма общения — беседа. Представим себе, что человек пять-шесть собрались для беседы. Через какое-то время такая изначально однородная масса распадается на две части так, что одна из них будет управлять в разговоре другой, оказывать на нее влияние. Эта руководящая часть больше дает, нежели получает. Если этого нет, значит, низшая группа противостоит естественному положительному влиянию, и тогда разговор не клеится. Если масса отказывается быть собой, то есть следовать за избранным меньшинством, грядет социальный хаос, пора исторической бесхребетности.

И тяжелейший случай в этом отношении представляет собой нынешняя Испания.

Каждая строка моего этюда пронизана желанием преодолеть свойственную большинству близорукость в подходе к социальным фактам, когда исторические или человеческие феномены трактуются в чисто политической перспективе. Но политика — только витрина социального, его внешний вид, то, что бросается в глаза. Разумеется, существуют общественные болезни политического плана. Это своего рода сыпь на теле национального организма. Но кожные заболевания легко излечимы. Когда в стране неладно с политикой, можно смело ут-

верждать, что ничего страшного еще не произошло и выздоровление не за горами.

Но наши дела — иного рода. Поражена не только политическая система, но общество, то есть сердце и мозг целой нации.

И все же каков диагноз? Говорят, мы страдаем от «общественной безнравственности», подразумевая несправедливый суд, продажность чиновников, коррупцию государственных органов. И печать, и парламент стараются обратить общественное внимание на эти преступления, усматривая в них главную причину усиливающегося распада. Не сомневаюсь, что общественной безнравственности нам не занимать, и все-таки убежден: нация, не затронутая более серьезным недугом, способна не только выжить, но и достичь могущества. Это ясно любому, кто хоть немного разбирается в истории. Да и за примером ходить далеко не надо. В течение последних пятидесяти лет США были затоплены целой Миссисипи «общественной безнравственности». Однако американская нация выросла и окрепла, и ее гордые звезды озарили мировой небосвод крупнейшим созвездием. Тот, безусловно, возмутительный факт, что «безнравственность» не только не загубила народа, но даже росла по мере его возвышения, вероятно, покоробит наше этическое чувство. Но как бы нас ни коробило, действительность всегда такова, как есть, а не как «должна быть», по нашему убеждению.

Недуг Испании, к несчастью, опасней вышеупомянутой «общественной безнравственности». Не страшно захворать, страшно быть самой болезнью. Плохо, когда общество поражено безнравственностью, хуже, когда оно перестало быть обществом. А именно это и произошло, поскольку мы уже давно переживаем распад и кризис

оттого, что оказался затронут корень социализирующей функции.

Первичный общественный факт это не механическая сумма индивидов, а взаимосвязь. Первичный социальный факт — это разбиение людского множества на две группы: руководителей и руководимых. А значит, одни могут руководить, а другие — повиноваться*. Короче, там, где отсутствует влияющее на массы меньшинство, и нет массы, готовой ему подчиняться, там общество либо отсутствует, либо находится на грани гибели.

Современная Испания — Империя масс. Массы властвуют, господствуют повсеместно. Недальновидные и наивные люди считают иначе; ведь на улицах нет беспорядков, никто не грабит банков, не штурмует министерств. Но уличная революция — лишь одна из политических масок, которую надевает лишь одна разновидность массовой власти: рабочий бунт.

Имею в виду куда более грозную и радикальную форму господства масс, чем неприятные уличные беспорядки. Я имею в виду подспудную, вездесущую, неуловимую власть всех видов масс, и прежде всего масс среднего и высшего классов.

В предыдущей главе уже говорилось, что и в крайне правых политических партиях не вожди руководят массами, а, наоборот, массы помыкают ими как угодно, заставляя занимать ту или иную позицию. Так «мауристская» молодежь отвергла внешнюю политику, которую проводил Дон Антонио Маура в годы войны. Собственному руководителю они навязали свою концепцию внешней политики, какую-то безумную теорию, которая сложилась в их шальных, «массовых» головах. Так же

* Ниже я постараюсь показать, что речь не идет о политическом руководстве, администрировании. Как уже было сказано, политика — это только грань, или фасад, социального. — *Примеч. автора.*

поступали карлисты, которые, навалившись всем скопом на предводителя, принудили его к отставке.

«Хунты обороны» — очередной печальный пример аморального бунта масс против избранного меньшинства. В казармах почему-то решили — окончательно и бесповоротно, — что именно в этих и подобных помещениях понимают в политике больше, чем там, где уже давно решают политические проблемы люди, усматривающие в этой деятельности свое призвание и профессию.

Смертельный недуг духовного непослушания принимает более изощренные формы в далеких от политической области сферах. На спектаклях и концертах публика мнит себя выше любого драматурга или композитора, самозабвенно затаптывая в грязь и того, и другого. Сходная участь постигает критиков. Но ведь любой захудалый критик по знаниям на целую голову выше массы. Почему публика, читатели не желают признать столь очевидное превосходство и, конечно, сохранив право на свою точку зрения, не прислушиваются к мнению сведущего человека? Ответ ясен: малейшее подозрение, что кто-то смыслит больше, выводит самодовольную толпу из себя.

То же в аристократической среде. Законодательницы мод — вовсе не самые одаренные и элегантные дамы. Наоборот, последние неизменно пасуют перед напористой глупостью обуржуазившихся мешанок.

Куда ни глянь — всюду одно унижительное зрелище: худшие, а их большинство, неистово восстают против лучших.

Можно ли навести порядок в испанской политике, если его нет даже в элементарной беседе? Ныне окончательно бесхребетная Испания пресмыкается не только в политике, но, что страшнее, в самом общественном бытии.

В данных условиях никогда не сработает ни один государственный механизм. И если одно учреждение терпит крах за другим, остается ждать только полной исторической катастрофы.

Когда масса отреклась от своего биологического предназначения (следовать примеру лучших, прислушиваться к их мнению), стране не выйти из тупика. А именно туда ее завело господство массовых мнений, глупые, наивные, детские представления бессмысленных людских толп.

III

Эпохи «Китра» и «Кали»

Когда масса вырождается настолько, что опускается до описанного уровня, напрасны какие-либо увещевания или проповеди. Болезнь и состоит в том, что масса уже никого не хочет слушать и никому не желает повиноваться. Чем настойчивей ее поучают, тем плотней она затыкает уши и яростней затаптывает в грязь любых наставников. И пока взбунтовавшаяся масса на собственной шкуре не испытает тяжкие последствия своего морального упадка, она не исправится. Во всяком случае, так показывает опыт.

Эпохи упадка характеризуются тем, что аристократия, то есть правящее меньшинство, утрачивает свои высокие качества, некогда способствовавшие его возвышению. И на такую бездеятельную, распущенную аристократию справедливо ополчается масса. Но, неизбежно путая все на свете, массовый человек уже не терпит

над собой никакой аристократии, в корне отвергая всякое благородное рвение. Отныне считается, что можно обойтись без элиты, и люди создают разнообразные политические и исторические теории, где конечной задачей ставится построение общества без аристократического меньшинства. Поскольку последнее положительно невозможно, нация вырождается не по дням, а по часам. И главным образом вырождение характеризуется тем, что разные социальные группы (буржуазия, пролетариат, военные) поочередно насаждают свое правительство, которое кажется их близорукому взору панацеей от всех бед. Лишь потерпев закономерный крах на этом прискорбном поприще, они приходят к очевидному выводу, что общество отличается сложным устройством и не им дано от природы этим обществом управлять. Тяжкие последствия наступившего развала затрагивают не только политику, они непременно сказываются и на их *частной* жизни. Под угрозой общественное спокойствие и собственность, люди пребывают в смятении и непрерывно взывают о помощи. Такое безысходное умонастроение предвещает начало новой исторической эпохи. Горечь поражения, наконец, возрождает в массах желание повиноваться; социум вновь расстается с антиаристократическими иллюзиями. Зависть и злоба против вышестоящего меньшинства мало-помалу сходят на нет. Необходимость его особой роли в общественной жизни окончательно реабилитирована. Так завершается один исторический цикл и наступает другой, в ходе которого формируется новая элита.

Здесь я в который раз подчеркну, что данный процесс разворачивается не только и не столько в политической сфере. Понятия массы и аристократии относятся ко всем формам межличностных отношений, сказываясь на всех моментах сосуществования. Больше того: сильнее этот со-

циальный факт воздействует именно там, где его роль представляется неочевидной или подспудной. Иначе говоря, когда аморальный бунт против меньшинства приобретает политический характер, можно уже вполне утверждать, что социальный организм разрушен до основания.

Вся история человечества предстает как непрерывное чередование двух эпох: эпохи зарождения аристократии и сплочения и эпохи, когда властвующая элита приходит в упадок, что ведет к социальному расколу и гибели. В индийских *purana* эти эпохи соответственно именуются «Китра» и «Кали». Эпоха «Кали» характеризуется вырождением кастового строя. Возвышаются низшие слои (*sudra*), поскольку Брахма впадает в спячку. Тогда Вишну, приняв зловещий облик Шивы, уничтожает все живое: над горизонтом сгущаются сумерки богов. Но вот Брахма пробуждается и уже в облике доброго Вишну воссоздает разрушенный Космос. Наступает новый рассвет — эпоха «Китра»*.

Людей эпохи «Кали», которая ныне подходит к концу, безумно раздражает идея каст. И все же она плодотворна и глубока, хотя содержит два разных, безусловно, неравноценных момента.

Кастовый строй прежде всего знаменует тот бесспорный факт, что общество обладает структурой, объективно обусловленной иерархией социальных функций. Отрицать иерархию функций, отчетливо наблюдаемую в любом обществе, столь же нелепо, как утверждать, что у человека нет головы и ног, а у пирамиды — вершины и основания, или же думать, что звезды не следуют своим орбитам, а Земля плоска.

Второй элемент, который наряду с первым, отмеченным, составляет понятие касты, задает критерий отбора

* Max Weber: Religionssoziologie, II, 1921. — *Примеч. автора.*

людей, призванных выполнять определенные функции. Индус, пребывающий во власти магии, глубоко убежден, что способность играть ту или иную общественную роль представляет собой врожденный божественный дар. Храбрым воином может стать только сын воина. Хорошим садовником — сын садовника. Иначе говоря, люди принадлежат к разным общественным слоям в силу происхождения.

Если исключить этот магический принцип, определяющий разделение на касты, можно прийти к более серьезному и глубокому представлению об обществе, чем те, что пользуются ныне ничем не заслуженной репутацией. В том-то и дело, что современная политическая идеология движима принципом, который по своему магическому характеру вполне сопоставим с азиатским, хотя и знаменует его противоположность. Речь идет об упорном стремлении построить общество, которое «должно быть». Как будто общественный организм лишен своей неизменной структуры, как будто он ждет не дождется заполучить ее с нашего соизволения! Я уверен: не за горами то время, когда моральная проповедь Канта о том, каким *должно быть* общество, покажется неуклюжей, шаманской бравадой.

IV

Еще одно заклинание, или «Что же должно быть?»

Уже два столетия вопрос об отношении аристократии к массам рассматривается либо в юридической, либо в этической плоскости. Непрерывно обсуждают одну проблему: *должен* ли политический строй *быть* аристок-

ратическим и в какой степени это допустимо с точки зрения морали и закона? Вместо того чтобы выяснить, что уже *есть*, иначе говоря, определить неперменные условия реальности, люди почему-то берутся рассуждать, что и как *должно быть*. Этот порок особенно присущ «прогрессистам» и «радикалам» и вообще всем, кто настроен сколько-нибудь «либерально» или «демократически».

Спору нет, в позиции есть немалые преимущества. Ведь составить схематический проект общества, где люди будут хорошо жить, не трудно. Нужно только вообразить, что желания осуществимы, а затем, пустив в ход диалектику, построить *more geometrico* некое социальное образование, начисто лишенное каких-либо недостатков и, наоборот, наделенное всеми формальными совершенствами вроде тех, что отличают многоугольник или параллелепипед. Но ведь потребность подмены реального некими абстрактными желаниями чаще всего наблюдается у детей*. Во-первых, не всякое желание выполнимо, а во-вторых, что важнее, личное убеждение, что нечто желанно, еще не гарантирует, что оно и впрямь таково. Я сам, обуреваемый модными повериями, долгие годы только и делал, что размышлял, каким должен быть мир. Позже, уйдя с головой в историческое прошлое, я, словно громом, был поражен тем простым фактом, что социальная реальность желанней, богаче и ближе к совершенству, чем все убогие, односторонние системы вместе взятые.

* Особенности детской психологии посвящено мое эссе «Биология и Педагогика», опубликованное в третьем томе журнала «Эль Эспектадор». В нем я стараюсь показать, что детям глубоко свойственно вытеснять все неприятное, порочное, воспринимая лишь светлые и радостные стороны жизни. — *Примеч. автора.*

Вне сомнений, пресловутое «должно быть», кошмарное изобретение прогрессистов XVIII столетия, которое претендует оказывать магическое воздействие на историю, отличается небывалой однобокостью. Даже теперь, ставя вопрос, каким *должно быть* общество, непременно думают лишь об этическом или правовом совершенстве социума. Иными словами, нормативное «*должно быть*» сводится к моральному смыслу, в то время как проблема человека и общества выходит далеко за пределы морали и права.

Тем не менее, вырабатывая общественный идеал, или оптимальное общество, которое *должно* заменить существующие, стремятся только к моральному или юридическому совершенству, полностью забыв остальные существенные моменты. Но, как ни странно, они-то и имеют первостепенное значение, подразумевая свое «*должно быть*», начисто лишенное правового или этического смысла. Разве у пахаря нет идеала плодородного поля, у скотовода — идеала сильной лошади, у врача — здорового тела? Заметьте, такие идеалы чужды морали и праву, хотя и содержат в себе норму, то есть абстрактное представление, каким должно быть поле, лошадь, тело.

Итак, юридическое или моральное «*должно быть*» неполно и однобоко. Да и как этика может задавать норму, не учитывая все стороны реального объекта и вместе с тем стремясь к его совершенству?

То, что «*должно быть*», сводится к тому, что *быть может*, а последнее отвечает условиям реально существующего. Конечно, мы вправе пожелать человеку стать крылатым, как птица. Но раз это не отвечает его природе, то разумнее отказаться от столь глупого желания.

* * *

Итак, идеал, или же то, чем *должна быть* вещь, означает не подмену ее реального содержания мнимым, а только его совершенствование. Всякое истинное суждение о чем бы то ни было зиждется на предварительном коленопреклоненном созерцании действительности. Нельзя построить идеала общества на основе лишь этики и законности. Именно этим грешили XVIII и XIX века. Да и как доказать, только с помощью морали и права, что некая социальная утопия справедлива*? Я уже не говорю о других признаках, стоящих выше любой морали и права и обладающих несомненной значимостью для общественной жизни.

Что я хочу сказать? Лишь одно: неужели вся суть общества сводится к справедливости? Конечно, нет. Прежде всего общество должно быть собой или здоровым социальным организмом. Итак, первое слово опять-таки принадлежит здравому смыслу. Вместо того чтобы говорить о том, что *должно быть* (а так поступают моралисты и правоведы), нужно вникнуть в то, что уже *есть*.

Может ли общество жить без аристократии — вопрос праздный. И кроме того, однозначно решенный с первозданных времен: общество без аристократии, без избранного меньшинства абсолютно невозможно.

Итак, отбросим упомянутую этическую магию и обратимся к единственно приемлемой этике, которую двадцать шесть столетий тому назад сформулировал в великолепном императиве Пиндар: «Будь самим собой». Давайте и в

* Забывая о необходимости со всей внимательностью анализировать реальное, мы очень легко склоняемся к огульному осуждению многих явлений, обладающих глубоким моральным смыслом. Так, многие с поистине необыкновенным легкомыслием объявили несправедливыми иерархические различия, без которых общество вообще не может ни существовать, ни длить свое существование. — *Примеч. автора.*

идеалах, в стремлении к совершенству исходить из собственной несовершенной природы. Если мы как следует в нее взглядем, она неизбежно укажет и на свои изъяны, и на свои нормы, и на свой грех, и на свой долг.

V

Пример и покорность

В стихийно сложившейся и, к несчастью, повсеместно господствующей примитивной социологии бытуют превратные представления о массе и меньшинстве, когда под первой понимается совокупность экономически беспомощных классов, а под второй — вершина социальной пирамиды. Пока мы не исправим *quid pro quo*, нам не продвинуться ни на шаг в понимании социального.

Вне сомнений, любой класс или социальная группа выделяет и вульгарную массу, и избранное меньшинство. Разумеется, в правильно устроенном обществе высшие слои, если они и вправду таковы, порождают более творческое меньшинство по сравнению с элитой нижестоящих классов. Но и в высших слоях есть своя масса. Общество приходит в упадок потому, что вырождаются власть имущие и чуть ли не поголовно делаются чернью.

Итак, говоря об аристократии, я вовсе не употребляю данное слово в общепринятом смысле.

Я хочу, чтобы, преодолев расхожие мнения, читатели пришли к пониманию *динамического взаимодействия масс и избранного меньшинства, которое составляет опору любого общества и направляет его развитие как в положительном, так и в отрицательном смысле.*

Когда люди общаются, у кого-то нет-нет да и проглянет более изящный, выразительный жест, сорвется с уст более остроумное слово, прорежется более яркая, светлая мысль. И тогда окружающим ясно, что душа такого человека тоньше и благородней и живей отзывается на окружающие события. И, естественно, остальные, если они имеют здоровые задатки, захотят воспроизвести столь выразительный жест, изречь это же слово, испытать такой же душевный порыв. Дело не в примитивном желании подражать. Подражая кому-то, мы только острее переживаем собственную ущербность, исподлинность. Все не так. Мы просто понимаем, что другой — выше, и потому, не завидуя ему и не притворяясь перед собой, желаем поступать столь же безупречно, как он. Итак, подражая, мы отрекаемся от своего «я», надеваем личину, а следуя выдающейся личности, наоборот, стремимся к нему всем существом, усваиваем его тип бытия. Выдающийся человек подаст пример, и в своей подлинности мы стремимся ему последовать.

Таково внутреннее устройство всякого общества. Его начало — *пример*, который способны подать немногие, и *покорность* других, то есть большинства.

Способность черпать вдохновение в *совершенстве*, покоряться архитипу есть психическая функция, в корне отличающая человека от животного, ибо она даст возможность развиваться, идти вперед (для животного, напротив, характерна как раз стабильность бытия).

В мою задачу не входит ниспровержение всякого рода материалистических или утилитарных трактовок исторического процесса. Все эти допотопные, громоздкие теории давно пользуются подмоченной репутацией, поскольку не способны предложить для событийных или исторических проблем иных решений, кроме чисто ме-

тафизических. Ясно одно: члены любого, даже первобытного общества прекрасно понимают, что любое дело можно сделать, грубо говоря, двояко: хорошо или плохо. Отсюда берет начало понятие нормы, или примера. Когда люди следуют нормам, общество сохраняет преемственность, а неповиновение образцам оборачивается развалом. Но важно, что когда-то образцовый поступок совершил конкретный человек или же выдающаяся личность.

Вывод: устойчивые социальные группы сплотились не в силу утилитарных соображений и не в результате насилия*. Любое сообщество спаяно властью примера, образцового поступка выдающейся личности. Однако не нам, выросшим в эпоху распада, дано постичь состояние духа, которое привело к возникновению общества. К несчастью, любое творческое мироощущение глубоко чуждо нашему времени.

Древние мифы, легенды об основании этносов представляют собой повествования о великих личностях, социальных основателях. Легкомысленный XIX век истолковал этот факт как идеализацию потомками некогда реальных выдающихся людей. Однако как объяснить подобную идеализацию *a posteriori*, если бы реально герои не проявили своего подлинного характера, не стали живыми идеалами в глазах потомков и современников? Не надо думать, что они послужили примерами, поскольку имели воздействие на других. Наоборот, они обрели влияние и стали социальными основателями, поскольку некогда подали пример.

В семейном кругу отец и мать подают пример детям и, кроме того, являются идеалами друг для друга. Как

* Насилие и соображения выгоды — результаты своеобразной индукции токов, возникающих в социальном «контуре» уже после того, как он получил свое окончательное оформление. — *Примеч. автора.*

только оба теряют авторитет, семья распадается. Если мы желаем постичь движущие силы социализации, то должны учитывать не раз подтвержденный исторический факт, что древнейшие сообщества не имели политического или экономического характера. Власть с ее принудительными методами и выгода с ее игрой интересов возводили каркас общества не на пустом месте, а на фундаменте предварительно достигнутого единства. Первые сообщества имели праздничный, спортивный или религиозный характер. Эстетические, магические или просто жизненные примеры, которые подавали немногие, вызывали у остальных желание покориться. Любое иное влияние (или *Kratias*), не вызывающее в ближних такого эмоционального всплеска, связанного с силой воздействия, можно считать несущественным. История не знала иной аристократии, чем та, что умела привлечь к себе души, порождая своего рода поле духовного тяготения, покоряющего остальных властью примера.

Говорят: общество делится на тех, кто властвует, и тех, кто подчиняется. Но повиновение возможно лишь, когда подчиненные действительно даруют повелителю право на власть.

Выдающийся человек обретает господство над покорной толпой именно потому, что она сама предоставила ему полномочия, поскольку в ее глазах он подал великий пример. Со смертью политического деятеля власть продолжает пребывать в социальной структуре в виде некой пустой ячейки, иначе говоря, анонимно. Позже эту пустую нишу займут другие, иногда достойные, а иногда нет. В последнем счете, престиж власти длится до тех пор, пока не изгладится память об исполнявших ее лицах.

Итак, подчинение предполагает покорность. Но здесь следует различать. Ибо мы подчиняемся приказу, но по-

коряемся примеру. Право на власть — результат способности подавать пример.

Все общества, включая и те, что отличаются сложным устройством, зиждутся на указанном тяготении простых и здравых душ к выдающимся личностям.

Итак, общество есть динамичное единство между теми, кто служит примером, и теми, кто ему следует. *А значит, любое общество изначально — стремление к совершенству.* Покорность открывает путь к сосуществованию с выдающимся человеком, позволяя тем самым следовать примеру, то есть совершенствоваться. Неослабная тяга к образцам — живое начало общества и основа всего социального.

Любая еще окончательно не выродившаяся человеческая раса порождает обычно пропорциональное общему числу членов количество выдающихся людей, в лице которых интеллектуальные, моральные и вообще жизненные свойства выражены с наибольшей силой. В развитых расах это количество представлено явственней и мощней. Иначе говоря, одна нация превосходит другую мощностью избранного меньшинства.

Но люди выделяются из общей среды по-разному. Каждый класс, группа выдвигает из своих рядов только тех, в ком кристаллизовались упомянутые классовые (групповые) свойства. Нация никогда бы не справилась со своей исторической миссией, пестуя лишь один тип великих людей. Наряду с мудрецами и художниками нужен и гениальный полководец, и талантливый промышленник, и хороший рабочий, и даже образцовый бонвиван. Но еще большая нужда общества — прекрасные женщины.

Продолжительный дефицит в каком-то из типов выдающихся людей неизбежно сказывается на истории

нации, и последняя начинает прихрамывать на одну ногу. Результат известен — развал. Ясно: есть минимум высших жизненных функций, который во что бы то ни стало (под страхом полного вырождения) вынужден осуществлять каждый народ. Вот почему любая раса обязана выдвигать лучших людей, призванных осуществлять данные функции. В противном случае уровень выполнения высокого общественного назначения снизится до такой степени, что даже говорить о каком-либо совершенстве будет просто стыдно.

Возьмем к примеру интеллектуальную деятельность. Вне сомнений, раса не может жить в полном смысле этого слова, не располагая мощными компетентными интеллектуальными силами, способными вырабатывать мировоззрение, направляя ход науки, техники, управления. А это требует таланта, знаний, подготовки. Ежели несколько поколений подряд так и не дадут людей, на деле способных к умственному труду, то есть способных служить примером, задавать уровень, отвечающий состоянию насущных задач, то по закону наименьшей траты сил мышление масс захиреет. Иначе говоря, набор идей, влечений, точек зрения начнет истощаться в геометрической прогрессии, пока вообще не перестанет отвечать потребностям эпохи. И тогда народ, безвинно поглупев, окажется обречен полному вырождению.

Механизм *«пример — покорность»*, возведенный в исходный принцип совместного существования, указывает не только на духовную силу общества, но и на угрозу национальной катастрофы. Если какая-либо страна из века в век влачит жалкое существование, то непременно либо из-за отсутствия крупных личностей, либо из-за восстания масс. А когда налицо и то, и другое — пиши пропало.

Итак, вопрос о соотношении аристократии и масс предшествует любым формальным тезисам этического или юридического характера, поскольку в нем — корень любого социального факта.

Если теперь мы обратим взор к Испании, то без труда обнаружим жуткую картину неповиновения образцам и вообще какое-либо отсутствие последних. Утратив способность к оценкам — а это само по себе — трагедия, — испанцы вот уже целый век презирают любого выдающегося человека, по крайней мере остаются глухими к его незаурядным качествам. Испанца способен растрогать лишь окончательно падший, то есть идущий на поводу низменных инстинктов толпы.

О любой расе лучше всего свидетельствуют избираемые ею архитипы. А о мужчине — избранный им тип женщины. Выбирая возлюбленную, мы сами, не отдавая себе отчета, обнажаем самые сокровенные стороны своей души*.

И вновь размышляя о поразившем Испанию смертельном недуге, я вижу, что правильный его диагноз — *аристофобия*, или ненависть к лучшим.

VI

Отсутствие «лучших»

Если историк желает определить характер нации или эпохи, он первым делом должен составить уравнение, в соответствии с которым развивались отношения между

* О выборе в любви см. мои «Этюды о любви». — Примеч. автора.

массаами и избранными меньшинствами. Полученная формула даст потайной ключ от сердца исторического организма.

Есть расы, которые отличаются пугающим изобилием образцовых личностей на фоне убогой, ущербной, непокорной толпы. Типичным примером служит Древняя Греция, и отмеченное обстоятельство как раз явилось причиной ее удивительной исторической нестабильности. Однажды Эллада превратилась в гигантскую фабрику по производству исключительных личностей, вместо того чтобы удовлетворяться несколькими *standards*, наладив по ним массовую штамповку. Обладая гениальной культурой, Греция не состоялась как социальный организм, государство.

Обратный пример дают Испания и Россия — два полюса великой европейской оси. При всех различиях их сближает то, что обе страны оказались населены расой-народом, иначе говоря, они всегда испытывали недостаток в выдающихся личностях. Славяне — это могучее народное тело, над которым едва подрагивает крошечная детская головка. Разумеется, некое избранное меньшинство имело положительное влияние на жизнь русских, но по малочисленности ему так и не удалось справиться с необъятной народной плазмой. Вот откуда аморфность, расплывчатость, закоренелый примитивизм русских людей.

Что касается моей родной Испании, то, как ни странно, никто не заметил главной особенности ее исторического развития. Я подразумеваю очевидное несоответствие между героической ролью народа (этого вспененного моря) и убожеством избранных меньшинств. Дело в том, что у нас редко кому удавалось занять ответственную, сознательную позицию пред жизнью. В Испании все сделал народ, а к чему он не приложил руку, так и осталось. Но

«народ» способен только на самое элементарное. Иначе говоря, не способен заниматься науками, искусством, снабжать цивилизацию сложной, высокоэффективной техникой. Я уж не говорю о государственном строительстве или об основании истинной религии.

Испанское народное творчество — песни, танцы, керамика — достойно восхищения. Напротив, наше индивидуальное, профессиональное искусство безжизненно и убого. Конечно, у нас были свои гении, но их случайные шедевры всегда стояли особняком, так и не подняв достаточно среднего общего уровня. Между талантливыми одиночками и массой не оказалось посредников, и нашим малочисленным одаренным людям было не суждено отделиться от народа и избавиться от пресловутой плебейской ухмылки.

Массовое народное творчество безымянно. Поэтому по контрасту с Испанией Франция и Англия дали блестящие примеры именно личностного искусства.

Судьбы этих стран были ознаменованы высокой ролью избранных меньшинств, тогда как у нас массы постоянно и бестолково вмешивались в церковные, гражданские, политические дела. Испанские церкви и общественные здания не хранят каких-либо следов личности архитекторов. Частное строительство в Испании на редкость уныло. Дворцы и особняки древних городов — ничем не примечательные домишки, кичащиеся своими гербами. Если у имперского Толедо отнять Алькасар и знаменитый собор — останется неказистая деревенька.

В отечестве не было одаренных художественных натур, способных на смелый, индивидуальный стиль. Как равно и политических деятелей, которым бы оказалось под силу стать воплощением социальной энергии и осуществить великие предприятия.

И прошлое, и настоящее Испании поражает противостественным отсутствием лучших. Вот разгадка нашей печальной участи, даже с учетом быстротечного имперского величия.

Однако отечественная история покрыта мраком неизвестности. И, кроме того, практически все представления о национальном прошлом, царящие в массовом сознании, нелепы и смехотворны. Это своего рода груда ложных, чудовищных порождений ущербного разума, стоящая непреодолимой преградой на пути к совершенству.

Ныне я просто не могу взять на себя задачу набросать даже общий очерк нашего прошлого. Мои мысли — чистая ересь, которая столь претит общественному мнению, что иные наверняка скажут, будто я смакую изнанку испанской истории.

Тем не менее есть вопрос, который нельзя обойти стороной. Большинство исследователей почему-то считают, что отсутствие феодализма пошло исключительно нам на пользу. Спору нет, такого общественного строя у нас, можно сказать, не наблюдалось. Но это было не преимущество, а источник всех наших бед.

Испания — общественный организм, или историческое животное известной породы, возникшее как «социум», или нация, на руинах Римской империи. В любом случае она ничем не отличается от других государств Западной или Центральной Европы. Историческая судьба Испании напоминает судьбы Англии, Франции, Италии. Имею в виду наличие трех компонентов: во-первых, племенной субстрат, во-вторых, рост на римских развалинах, в-третьих, влияние германского нашествия*. Итак,

* Исторические перипетии, определившие роль каждой из составляющих, конечно, наложили свой отпечаток на развитие каждой из стран. Но здесь не место обсуждать степень различий. Однако, учитывая повальную историческую безграмотность, все же скажу, что арабское нашествие отнюдь не сыграло сколько-нибудь существенной роли в складывании испанской нации и вообще не способно объяснить несостоятельности отечественного феодализма. — *Примеч. автора.*

эти три фактора общи для упомянутых стран. Если считать римское влияние более или менее однородным, то можно допустить, что несхожесть грядущих судеб европейских стран с ним не связана. Стало быть, главной причиной того, что национальные пути разошлись, выступили племенные субстраты. Иначе говоря, французы — не испанцы, поскольку галлы — не иберы. И все-таки этим выводом никак нельзя ограничиться.

Я вовсе не отрицаю, что коренное население имело влияние на исторические пути Франции и Испании. Но ведь известны случаи, когда народы воздействовали друг на друга равномерно. Об этом, к примеру, свидетельствует опыт Азии. Но анатомия и физиология Европы — иного рода. Наши нации принадлежат к другому биологическому виду. Азиатские общества возникли не в результате завоевания народов чужеземной армией (так было в Римской империи), а в ходе войны одного народа против другого. Германцы смешивались с покоренными нациями не горизонтально, а вертикально. Хотя, разумеется, им тоже не удалось избежать влияния чужих обычаев. Так, у римлян они заимствовали военную дисциплину. Однако в главном завоеватели не делали уступок и просто грубо навязывали покоренным свой стиль жизни. Придав «форму» завоеванной нации, германцы сыграли роль творческого созидательного начала. Таким образом вертикальное нашествие варваров на долгие века определило структуру европейских стран. По-видимому, именно это обстоятельство предопределило дальнейшее развитие их исторической анатомии.

Короче, германские племена сыграли роковую роль в расколе Европы. Как ни странно, разница между Францией и Испанией обусловлена не столько различиями

между галлами и иберами, сколько тем, что эти страны были завоеваны несхожими племенами.

В одном случае — франками, в другом — вестготами.

И, к несчастью, их разделяла целая пропасть. Из всех пришлых племен наибольшей жизненностью обладали именно франки, а наименьшей — вестготы. Была ли эта разница изначальной — праздный вопрос. Важно, что к моменту нашествия (в Галлию и Испанию) указанные народы несли разный энергетический потенциал. Вестготы — древнейшее германское племя, они сосуществовали с Римской империей и в самые гиблые ее времена. И потому, конечно, подверглись влиянию упадочной цивилизации. А ведь любая, внешне воспринятая цивилизация смертельна для тех, кто ее заимствует. Ибо в отличие от культуры цивилизация — набор дегуманизированной техники, совокупность неких искусственных возбудителей и показной роскоши, которые мало-помалу сходят на нет. Будучи привитой к чужому национальному древу, цивилизация не только ядовита, но, прямо сказать, смертельна. Так, алкоголь был преизбытком белой расы, однако не сломивший ее, хотя и причинивший немало вреда. Проникнув в Океанию и Черную Африку, он извел на корню целые этносы.

Вестготы — римские алкоголики. Выродки, которые, преодолев пространство и время, в конце концов вторглись в Испанию, в этот забытый Богом кусок Европы, ставший их последним пристанищем. В Галлию, наоборот, вторгся свежий, могучий народ, оплодотворивший великой жизненностью ее благодатные земли.

Под «жизненностью» я подразумеваю органическую созидательную мощь, составляющую ядро и корень национального существования. Жизненность являет собой способность здоровой клетки породить другую. Итак, она —

творческая сила истории, которая в каждом биологическом виде проявляется по-разному.

Германцы, подобно римлянам и семитам, имели свой жизненный уклад. На всем, что создала культура, лежит узнаваемый отпечаток. На обществе, искусстве, науке. Если народ не обнаруживает своего стиля, то можно смело утверждать: он поражен смертельным недугом. Мы не вольны в выборе собственного облика.

Если он есть — мы живы, если нет — то и нас нет. Бесплезно требовать от неуклюжего страуса, чтоб он взмывал орлом в небо.

Итак, феодализм — отличительная черта германского общественного творчества. Хотя привычка — вторая натура, термин «феодализм» нельзя признать удачным. В строгом смысле слова данный строй есть свод юридических правил, которые регулировали отношения между знатью начиная с XI века. Но важен не схематизм форм, а мироощущение, породившее их и продолжавшее жить и после того, как законы утратили правомочность. Именно это мироощущение я называю феодализмом.

Желая основать свою нацию, движимые присущим им духовным порывом, римляне первым делом создали собственное государство. Индивиды превратились в государственных подданных, то есть членов. Германцы поступили иначе. В сознании этих варваров народ был горсткой отважных, которые сумели сломить чужую волю, или стать «властителями». Римлянин не господствует над своей землей. В некотором отношении он раб своих владений. Римский народ, по сути, земледельцы. Германцы же, наоборот, поздно приохотились к труду пахарей. Пока дремучие леса и дубравы служили им охотничьими угодьями, варвары презирали плуг. Но только лишь население выросло и племенам стало тесно в своих границах, пришлось перековать мечи на орала. Но подобное иго

мирного труда они выдерживали недолго. Едва ослабла мощь имперских легионов, как племена ринулись на юго-восток и захватили плодородные земли, принудив покоренные народы к их возделыванию. «Владение» стало господством над землей, исключавшим ее обработку*.

Если бы мы могли спросить у германского «властителя», по какому праву он владеет своим земельным наделом, его ответ ошеломил бы не только римлянина, но и нынешнего демократа. А ответил бы он приблизительно так: «Я владею этой землей по праву воина, который сам ее завоевал, и, если надо, вновь готов биться за нее в жестоком сражении».

Вот чего не дано понять ни римлянину, ни демократу с их представлениями о жизни, а значит, и праве. В любом германце они узрят лишь злостного нарушителя закона. И однако упомянутый «властитель» изрек бы свои слова с той же убежденностью, с какой римлянин сослался бы на постановление Сената, а современный демократ — на гражданский кодекс. А все дело в том, что германцу кажется донельзя нелепым видеть в труде земледельца основу права собственности. Итак, мы сталкиваемся с двумя разными понятиями законности. Мы не можем приравнивать «справедливость», на коей «властитель» основывал свою собственность, к другой, весьма сомнительной «справедливости», позволяющей трутню капиталисту жить на ренту. Ибо наряду с земледельческим трудом существовало воинское «рвение», иной тип, достойный всяческого уважения, человеческой деятельности. Мозоли пахаря и боевые раны — два принципа права. И оба представляют собой несомненные ценности.

Да вряд ли они и сопоставимы. То, что современный законовед называет собственностью на землю (право

* Историки второй половины XIX века, например, Фюстель де Куланж, с необычайным упорством выводят средневековую власть «господ» из римского права (совета старейшин). Недавние открытия не оставляют от подобного подхода камня на камне. — *Примеч. автора.*

распоряжаться ее дарами), есть экономическое отношение, которое в конечном счете никак не волнует германца. Хозяйственная сторона землевладения для него не существенна, и все подобные вопросы он перепоручает непосредственному работнику. И в то же время обработка земли — дело конкретных индивидов, а это значит, что они вступают в социальные отношения. Другими словами, у этих людей складываются свои обычаи, они любят или ненавидят, затевают ссоры, совершают преступления. Кто их рассудит? Кто будет следить за соблюдением обычаев? Кто сплотит людей в социальное целое? Германцу только это и важно. Его интересует не право, трактуемое экономически, а исключительно власть. Поэтому в строгом смысле слова германский варвар не собственник собственного участка земли, а его «властитель», то есть господин. Повторяю, ему важно и нужно обладать властью, вершить суд и распоряжаться жизнью подданных*.

* Даже нельзя и представить, как несхожи между собой нынешнее понимание экономической жизни и мироощущение Средневековья. Последнее, по сути, — подлинная инверсия современных экономических представлений. Если для капиталиста вопрос о богатстве состоит, главным образом, в том, как упомянутое богатство накопить, то рыцаря Средневековья волнует прежде всего, как его истратить. Таким образом, проблема справедливого экономического распределения решается не только в противоположном, по сравнению с Новым временем, смысле, но также и ставится как бы наоборот. Средневековье озабочено не тем, сколько он обязан истратить. С точки зрения святого Фомы, каждому человеку соответствует столько богатства — *exterioros divitias*, — сколько необходимо для жизни, которая ему свойственна, — *prout sunt necessarial ad vitam eius secundum suam conditionem*. (*Summa Theol*, 2^a, 2^a An. 118, art. I). Итак, мера справедливости вознаграждения — не труд, а статус. Человек знатного рода, властитель, а также чины высшего духовенства обязаны придавать своему образу жизни все признаки и свойства, которые отвечают исполняемым ими функциям и положению. Иначе говоря, денежное содержание зависит от ранга личности, от ее престижа, которые, в свою очередь, выступают симптомом их рвения. Короче говоря, богатство не заработано, а заслужено. Если экономическая этика нашего времени, обожествляя труд, получает свое логическое завершение в «праве получать полный продукт» упомянутого труда, то Средневековье характеризовалось именно «правом соответствовать своему сословию». Всем, кто интересуется данной темой, советую обратиться к книге Вернера Зомбарта «*Der Moderne Kapitalismus*», III изд., т. I, часть I. — *Примеч. автора.*

И все же, кто должен править? Ответ на удивление прост: тот, кто может. Приоритет остался за бесспорным авторитарным могуществом, иначе говоря, за признанием всей правомочности властной личности. Итак, даже самые высокие права оказывались тем самым прямым следствием личной власти. Таким образом, древнеримское и нынешнее представление, что человек от роду наделен всеми правами, — полная противоположность германскому духу. Последний неизбежно нес на себе отпечаток выдающейся личности. Личности, а не какого-то «индивида». Сначала права требовалось завоевать, потом — отстоять. Любой феодал с негодованием отвергнет и самую мысль, что можно обратиться в суд, чтобы кто-то отстоял его личное достоинство. Последнее защищается не с помощью суда, а в честном поединке с оружием в руках*. Как только привилегия утратила силу, «властитель», опять-таки желая избежать безличности судопроизводства, создал особую процедуру, именуемую в средневековых хрониках термином «говорить начистоту».

Говорят, данное выражение, которое наши заскорузлые почвенники переводят как «говорить правду», не содержит второго, подспудного смысла. Однако же речь здесь идет о праве феодала разрешать тяжбы до или помимо суда, в приватной беседе с представителем высшей власти. К примеру, с королем. Тяжелейшей обидой, которую мог нанести вассалу монарх, был отказ его выслушать в беседе с глазу на глаз. В таком случае дворянин имел полное право считать себя свободным. Итак,

* Кто возьмет на себя труд беспристрастно, то есть без демократических благоглупостей, проанализировать современное право, так или иначе обнаружить в нем отчетливые черты малодушия, по счастью, вперемишку с другими, более высокими принципами. Если нынешние революции ставили целью добиться права на безопасность, то средневековые учреждали, наоборот, право на риск. — *Примеч. автора.*

«говорить начистоту» значило право избежать обездушенного судебного разбирательства.

Именно «властителям» было суждено сплотить нацию в государство. Существенно, что такое сплочение оказалось основанным не на коллективном, безличном, административном начале, как в Древнем Риме, а на духовном, личностном. Германское государство явилось системой частных отношений между «властителями». Нынешний европеец не сомневается, что право, да и государство, на котором последнее зиждется, должно существовать до- и сверх- личности. По этой логике изгой, лишенный гражданства, неизбежно лишен и прав. Древние германцы рассуждали по-иному, считая, что право — неотъемлемо от качеств выдающейся личности. Итак, не личность определяется правами, гарантированными государством. Наоборот, она правомочна, поскольку является именно личностью, живым, неповторимым человеком. Иначе говоря, она зависит исключительно от себя, от своих внутренних качеств. Изгнанный из Кастилии Сид не был подданным какого-либо государства и тем не менее все свои права сохранил в неприкосновенности. Единственно, чего он лишился, — возможности беседовать с глазу на глаз с королем и других связанных с этим обстоятельством привилегий.

Под властью германских господ, словно под резцом скульптора, нации Западной Европы обрели свои четкие контуры. Каждый из феодалов организовывал владение, пронизывая его целиком своим влиянием. В огне междоусобиц, в тиши перемирий шло сплочение земель; возникали герцогства, графства. Король — дотоле *primus inter pares* — то и дело старался извести на корню властное меньшинство, прибегая то к помощи «народа», то к римским идеям. Временами казалось, что «властители» сломлены и торжествует союз монарха, плебса и цер-

ковников. И, однако, влияние франков вновь обрело былую мощь, а феодальная структура воссоздавалась.

Тот, кто считает, что залог национальной силы — в единстве, узрит в феодализме великую пагубу. Но единство приносит плоды, лишь когда спланирует заранее мощные силы. Сплоченность безжизненных, изнуренных сторон не имеет исторической перспективы.

Иные считают: отсутствие феодализма — великое благо Испании. Однако придерживаться такой точки зрения значит то же, что считать, что нам не нужны таланты (художники, мыслители, словом, никто). А как же — от них одна склока, неразбериха... Я уверен, что нынешнее интеллектуальное меньшинство играет роль, сходную с ролью средневековых испанских феодалов. Но если взять Францию, то данное меньшинство всегда было в избытке. Историческая миссия феодалов заключалась в том, чтобы идея государственности пронизала собой каждую живую клетку народной массы. Но чтобы это произошло, потребовались века разобщенного существования. Национальный организм, разбитый на множество молекул, постепенно наращивал внутреннюю органическую ткань: крепкую для формирования провинций, графств, герцогств. Сила «властителей» обеспечивала нужный национальный плюрализм и временно препятствовала преждевременному сплочению мелких образований в единое королевство.

В нашу отчизну вторглось обескровленное, изнуренное, лишенное избранных меньшинств племя вестготов. Всего один порыв африканского ветра мигом сдуул их с полуострова. И лишь когда было покончено с нашептанием мусульман, сложились наконец королевства, с монархами, плебсом и немногочисленным меньшинством. Не надо меня уверять, что нам все-таки удалось победоносно завершить Реконкисту! Я не понимаю, как

можно считать растянувшуюся на восемь веков баталию Отвоеванием. Будь у нас подлинный феодализм, мы бы осуществили это предприятие, сравнимое разве что с походами крестоносцев — подлинными примерами жизненного мироощущения, питаемого спортивно-историческим духом!

Отклонения в нашем развитии слишком сильны, чтобы можно было приписать их случайности. Полвека назад серьезно считалось, что наш упадок длился всего-навсего два-три десятилетия. Коста и его поколение стали подозревать, что он продолжался около двух веков. Лет пятнадцать тому назад, когда я впервые начал задумываться над этими вопросами, я попытался доказать, что период упадка охватывал все Новое время. Чисто методологические соображения, о которых сейчас я не буду распространяться, давали все основания ограничиться этим периодом, поскольку речь шла о самом изученном этапе европейской истории. Вот почему я думал, что сумею поставить верный диагноз нашей болезни. Однако по мере дальнейшего изучения материалов я все больше и больше склонялся к мысли, что кризис в эпоху Средневековья был не менее тяжелым, чем кризисы Нового времени и тот, что мы переживаем теперь. Разумеется, были моменты некоторой стабильности. Мы переживали и подъемы, и даже добивались мировой славы. И все же доминанта испанской истории — безнадежная патология национального развития. Итак, испанская история (за исключением непродолжительных периодов относительного здоровья) была и остается историей упадка.

Однако и это не совсем точно. Упадок соотносился со здоровьем, а если Испания была изначально поражена болезнью (а нам еще предстоит в этом убедиться), то об упадке в собственном смысле слова мы говорить не вправе.

И это не фигура речи, а истина. Если рассматривать упадок как болезнь, мы ищем ее причины в жизненных событиях, в неудачах больного. То есть причины болезни ищут вне самого субъекта. Но коль скоро мы убедились, что данный человек вообще никогда не отличался здоровьем, нам придется отказаться от понятия «упадок» и перестать искать причины последнего. Вместо этого придется решать задачу обнаружения конституциональных дефектов, врожденных пороков организма. Таким образом причины примут иной характер, и речь пойдет не о внешних, а о внутренних истоках болезни.

Именно так я понимаю отнесение начал наших бед к Средневековью, к той эпохе, когда Испания сложилась как государство и нация. И имей я хотя бы малейшее влияние на наших молодых историков, я бы настоятельно им рекомендовал оставить изучение бесчисленных частных вопросов и немедленно приступить к исследованию процесса национального сплочения, относящегося к средневековому периоду. Короче говоря, все сделанные до сих пор выводы о причинах упадка не выдерживают ровно никакой критики. И это вполне логично, ибо как можно искать причины упадка, если его не было и не могло быть как такового.

Истоки наших бед — эпоха Средневековья. И внимательно вглядываясь в этот исторический период, мы сразу же обнаруживаем несправедливость того мнения, будто жизненная сила нации истощилась в течение последних веков и что наш народ никогда и ни в чем не уступал остальным европейцам. При желании можно, например, обратиться к сравнительному анализу средневековых французских и испанских хроник. Взяв на себя этот труд, сразу же осознаешь, что судьбы Франции и Испании уже в ту пору разделяла целая пропасть.

Для французского летописца, как и для людей, о которых он рассказывает, весь мир был чудесной и богатой реальностью, имеющей бесчисленные грани. И каждая из сторон бытия находит свой живой отклик в душах французов. Мы видим глубокую веру и сомнение, славные бои и ненасытное честолюбие, пытливость ума и жажду чувственных наслаждений. Эти люди были велики в любви, умели радоваться цветам, лесу, лугу, предаваться воинственным забавам. Напротив того, наши хроники неизменно свидетельствуют, что вся жизнь испанцев была фатально подчинена убогому репертуару стимулов и реакций.

Однако оставим эту частную тему и вновь подчеркнем центральную мысль всей этой книги: отсутствие избранных меньшинств, достаточно мощных по качеству и количеству личностей, явилось хроническим недугом, от которого сильнее всего пострадала нация. Крайняя слабость испанского феодализма была обусловлена изначальным отсутствием лучших. И на заре истории их уже не хватало, поэтому нация была поражена в самом зародыше.

Любая мысль имеет тем больший вес, чем лучше она способна объяснить не только правила, но и исключения. Бессилие наших господ явилось причиной недоразвитого, ущербного характера нашего Средневековья. Оно же выступило причиной великого подъема 1480—1600-х годов, когда страна переживала свою самую славную пору.

У всех нас до сих пор вызывает удивление тот факт, с какой скоростью (за пятьдесят лет) Испания вышла из того жалкого состояния, в котором она пребывала вплоть до середины XV столетия и достигла невиданного могущества, сопоставимого лишь с мировым господством Римской империи. Но как это случилось? Быть может,

страна пережила вдруг небывалый культурный подъем? Или в кратчайшие сроки у нас вдруг сложилась новая цивилизация, характеризовавшаяся высоким техническим уровнем? Ничего подобного. С 1450 по 1500 год произошло лишь одно, но весьма существенное событие: территориальное объединение земель Иберийского полуострова.

Испании выпала честь стать первой страной, которая собрала всю свою мощь в один кулак, иными словами, объединилась под властью одного монарха. Само по себе единство — средство столь эффективное, что позволяет приступить к великим свершениям, даже когда объединены изначально слабые силы. В эпоху, когда феодальная раздробленность Франции, Англии, Германии препятствовала сплочению могучих национальных сил, а независимость итальянских городов воспрепятствовала созданию единой государственной структуры в Италии, Испания внезапно обрела необходимые компактность и эластичность.

Но с той же стремительностью, с какой шел процесс, приведший к невиданному подъему в 1500-х годах, начиная с 1600-х Испания пошла под уклон. Итак, пресловутое объединение явилось лишь искусственным стимулятором роста, а никак не симптомом развития естественных жизненных сил. Мы пришли к единству со столь изумительной быстротой именно по причине собственной слабости. В Испании так и не сложилась могучая атомарная структура, которая опиралась бы на крепкую личную власть феодалов. И наоборот, тот факт, что в XVII веке Францию сотрясли выступления Фронды, был симптомом не слабости, а именно исконной национальной силы. Той, что французы унаследовали от франков.

Следовательно, нужно во что бы то ни стало пересмотреть традиционно сложившуюся точку зрения. Отсутствие феодализма, которое долгое время рассматривали как преимущество, явилось нашей подлинной трагедией. В результате стремительно достигнутое единство, казавшееся счастливым предзнаменованием, было на деле хилым итогом предыдущего захирения.

С достижением единства совпало начало образования наших американских колоний. По сути, нам еще так и не удалось осознать значения этого великого предприятия. Я, признаться, не знаю ни одной сколько-нибудь серьезной попытки описать его отличительные черты. Немногое сказанное относится главным образом к Конкисте, или Завоеванию. Никак не желая принизить роль наших конквистадоров, все же скажу, что Конкиста не значит ровным счетом ничего по сравнению с колонизацией. Несмотря на то что известно о ней немного, вряд ли найдется хоть один человек, который отважится отрицать беспримерное историческое значение колонизации, или освоения новых земель. Вместе с тем не подлежит никакому сомнению: колонизация была единственным масштабным национальным свершением.

Но странно: как только попристальней присмотришься к этому национальному деянию, сразу же видишь, оно было делом народа. И наоборот, основание английской колониальной системы явилось результатом деятельности избранных меньшинств. С начала и до конца английская колонизация направлялась крупными концернами и всякого рода монополиями. А все дело в том, что аристократы Англии первыми в Европе перестали заниматься исключительно войной и не сочли для себя зазорным принять участие в промышленной и коммерческой деятельности. Дерзающая душа английских властителей быстро и умело

перестроилась в направлении более мирных жизненных задач и, как убедительно показал Вернер Зомбарт, внесла существенный вклад в становление современной формы капитализма. Другими словами, у англичан военное предприятие преобразовалось в промышленное, а рыцарь превратился в предпринимателя. Причина метаморфозы проста: средневековая Англия была страной бедной, и чтобы как-то поправить свое убогое положение, британским феодалам то и дело приходилось совершать опустошительные набеги на континент. Как только, однако, взятое с бою богатство иссякало, супруга английского «властителя» во время обеда подавала своему благоверному на подносе шпору. Это означало: кладовая пуста. И доблестный рыцарь вновь пристегивал шпоры и отправлялся во Францию — край изобилия.

Повторяю, создание английской колониальной системы явилось результатом сознательных усилий избранных меньшинств. Процесс направлялся либо концернами, либо группами, которые подыскивали себе пространство, где можно было бы развернуть самостоятельную деятельность. Напротив, в ходе формирования испанских заморских владений массы действовали на свой страх и риск. Не придерживаясь какой-либо определенной техники, не имея над собой никакого руководства, они осваивали территории, основывали новые нации. Этим объясняется блеск и нищета великого предприятия. «Народ» сделал все, что можно было от него ожидать: селился, сеял, пел, страдал, любил. И, конечно, не мог дать больше. То есть оказался неспособен привить нарождающимся нациям дисциплину, культуру, цивилизацию.

Теперь, думаю, читателям стало куда яснее, что я имел в виду, говоря, что у нас все сделал народ, а к чему он не

приложил руку, так и осталось. Но нация не может состоять исключительно из «народа», ибо ей настоятельно требуется избранное меньшинство. Ведь так же и человеку надобны не только мышцы, но и нервная система, и мозг.

Отсутствие лучших (по крайней мере их дефицит) имело глубоко отрицательное влияние на отечественную историю, окончательно воспрепятствовав нашему превращению в более или менее нормальную страну. В том, что я отвожу отсутствию, величине отрицательной, роль активного фактора, — нет ничего удивительного. Еще Ницше с удивительной прозорливостью говорил: несбывшееся бывает куда важнее случившегося.

«Отсутствие лучших» породило в национальных массах многовековую духовную слепоту, которая так и не позволила им научиться отдавать предпочтение лучшему. Поэтому как только у нас появляется выдающийся человек, масса не знает, какой от него прок и зачастую даже стремится как можно быстрее от него избавиться.

Так называемый демократический дух, который, как уже было сказано, столь ярко выражен в древнейших испанских кодексах и который вдохновляет наше обычное право, был, по сути, симптомом той же злобы и зависти, питаемой чернью ко всем, кто хоть сколько-то возвышался над общим уровнем, а значит — претендовал на власть.

Мы — «раса-народ», крестьяне, мужики, деревенщина. Сельский уклад жизни — характерная черта обществ, лишенных избранного меньшинства. Преодолев Пиренеи, путешественник моментально оказывается в стране

землепашцев. И облик земли, и жесты, и неизменный набор мыслей и ощущений, и все связанные с этим достоинства и недостатки жителей — пронизаны сельским духом. Севилья (город, история которого насчитывает три тысячелетия!) служит тому ярким примером. Там никогда не встретишь настоящего горожанина. Кругом — сплошные крестьянские лица. Конечно, можно отличить толстосума от бедняка. Но совершенно невозможно заметить в толпе человека, чей облик отмечен чертами тысячелетней городской культуры, которая подразумевает длительный отбор и приводит к возникновению особого типа людей.

Истории известны народы, навеки застывшие на деревенской, или примитивной, стадии. А деревня — всегда деревня. И прежде всего по духу, складу жизни. Проходит за веком век — селянину нет до того дела. Да и зачем, спрашивается, ему участвовать в каких-то исторических пертурбациях? Подобный индивид — узник неизменного растительного цикла (от сева до урожая), пленник своего крестьянского идеала.

К примеру, в Судане есть города, чье население достигает чуть ли не двухсот тысяч (Кано, Бида). При всем при том эти «граждане» ведут чисто сельский образ жизни на протяжении веков.

Без особого преувеличения можно утверждать, что существуют народы-землепашцы: феллахи, мужики... Поймите меня правильно, я вовсе не хочу сказать, что Испания омужичилась. Как бы там ни было, нам довелось сыграть далеко не последнюю роль в истории, тем самым поставив себя наравне с ведущими нациями Европы. Некогда мы даже заправляли судьбами мира. И

тем не менее нельзя не напомнить о горестной участи несчастных феллахов, ибо все дело в том, что закоренелые расовые дефекты все время склоняют нас к тому, чтобы взять за образец их унылую, нудную, безысходную участь. Спору нет, где-то в конце XV века наш народ напрягся как стальная пружина и совершил свой скачок к мировому господству. Однако, как и все остальные, подвластный закону инерции, он вновь впал в летаргию, как только два активных поколения сошли с исторической арены. Короче говоря, в испанских жилах вновь заструилась неповоротливая крестьянская кровь.

VII

Неотвратимость отбора

Тот факт, что Испания не состоялась как современная нация — по крайней мере в полном смысле этого слова, — теперь уже не имеет никакого значения. Решительно все предвещает, что так называемое «Новое время» подходит к концу. Уже в ближайшем будущем наступит иной исторический климат. Симптомы наступающей эпохи ощущаются везде и повсюду. Вот-вот в Европе начнут править новые интеллектуальные принципы, начнет царить новое мироощущение. Игра существования — и личного, и коллективного — вот-вот подчинится другим правилам, и здесь, чтобы взять верх в этой игре, придется в себе культивировать способности, которые весьма отличны от тех, что обеспечивали победу в недавнем прошлом.

Если отдельные европейские страны (к примеру, Франция, Англия) процветали в Новое время, то, вне всяких сомнений, лишь потому, что характер наций отлично согласовывался с задачами эпохи. И в самом деле, рационализм, демократия, механистический подход к жизни, индустриализация, капитализм кажутся, на первый взгляд, универсальными тенденциями определенного исторического периода. И все-таки мы вполне можем считать их теми же ценностями, предпочтениями той же Англии, Франции, отчасти Германии. А Испания стояла и стоит в стороне. Однако ныне указанные идеологические и практические начала мало-помалу теряют силу, поскольку уже дали все, что могли*. Последнее неизбежно повлечет за собой резкое снижение потенциала крупнейших стран Европы, и малые нации, воспользовавшись ситуацией, наконец смогут наладить обстоятельное существование и как-то устроить свою судьбу.

Итак, обстоятельства благоприятны как никогда. Но достанет ли у испанцев желания и воли? Не знаю. Сейчас, когда я пишу эти строки, моя страна пребывает в самом неопределенном расположении духа. Иначе говоря, настоящее истолковывается двояко: с равными шансами можно рассчитывать и на победу, и на поражение. И дело не в нашем понимании или настроении, а в реальных, очевидных фактах. Они-то и обнаруживают двусмысленную природу, никак не завися от наших суждений.

* Не отрицая значимости радикальных нововведений, я только хочу сказать, что, по сути, исторические перемены сводятся, главным образом, к смене точки зрения. Другими словами, то, что еще вчера стояло на первом плане, сегодня уже отошло на второй. Однако нельзя сказать, что оно вообще исчезло из поля зрения человечества. Словом, из многих принципов «современности» многое будет жить в ближайшем грядущем. С той оговоркой, что оно перестанет играть роль «принципов», иначе говоря, центров интеллектуального тяготения. — *Примеч. автора.*

Напасти Испании можно классифицировать по степени тяжести. Предлагаю трехчленное деление, обозначив три уровня проблем. Политические ошибки, злоупотребления властей, так называемая «нехватка культуры», религиозный фанатизм образуют верхний слой упомянутых явлений. Эти трудности, безусловно, преодолимы, хотя их список, разумеется, этим не ограничивается. О некоторых я вообще не упоминал — и не потому, что их нет. Просто, придавая им чрезмерную значимость, мы так или иначе нарушаем реальную историческую перспективу.

На большей глубине лежат феномены национального распада, которые усугублялись на протяжении столетий. Теперь, когда страна вновь обрела первоначальную полуостровную наготу, эти кризисные явления обострились до крайности. Я сделал попытку описать их в понятиях «обособленности» и «прямого действия» в первой части этой книги. Однако хотя именно эти симптомы характеризуют недуги, которые поразили организм нации, не они выступают главной причиной катастрофы. А если точнее — они не причины, а следствия.

Причины распада (и это логично) следует искать в душе народа. Конечно, бывает, что общество гибнет из-за непредсказуемых, фатальных инцидентов. Однако, как правило — и наша печальная участь яркое тому подтверждение, — нации вырождаются в силу присущих им имманентных изъянов. Иначе говоря, идет ли речь о человеке, идет ли речь о нации — они всегда неотделимы от присущих именно им склонностей. В числе последних есть, разумеется, и такие, что определяют общую тональность жизни, придавая ей некий особый колорит. Так, существуют народы грустные и существуют народы веселые. И все же указанная жизненная тональность не

имеет абсолютно никакого отношения к национальному здоровью. Так, французы — народ преимущественно веселый, а англичане — грустный. Но это не значит, что жители Великобритании — народ безнадежно больной.

Вместе с тем есть некие душевные свойства (симпатии, антипатии), которые имеют решающее влияние на общую историческую судьбу, определяя раз и навсегда структуру общества. Народ, который, по сути, представляет собой безликую массу, ненавидя любого крупного человека (поскольку он таков), — обречен на моральное вырождение, даже если мнит, что способен создавать мораль, формировать вкус, разрабатывать политику, вырабатывать оригинальные идеи. К несчастью, Испания служит здесь самым печальным примером. Ибо если бы народы нашего полуострова действительно дали значительное число выдающихся личностей (мыслителей, политиков), то, вероятно, такой преизбыток позволил бы осилить грозное непослушание масс. Но этого не произошло. Массы были брошены на произвол судьбы, и это повлекло за собой события, которые вышли далеко за пределы политической сферы. И вот результат: развал государственной и национальной структуры. Вместо того чтобы следовать примеру лучших и идти к совершенству, массовый человек обрек себя на окончательное вырождение. Испанцы отупели, утратили чувство ответственности, перестали испытывать какой бы то ни было энтузиазм. Распрощавшись с высокими душевными порывами, мы столкнулись лицом к лицу со своей полной деградацией. Моральный бунт масс наряду с ненавистью к лучшим и нехваткой последних, на мой взгляд, выступили главной причиной нашей национальной катастрофы.

Но стоит ли предаваться пустым сетованиям и прятать голову, как страус? Если мы действительно желаем изменить свою судьбу, желаем себе иного грядущего, нам следует незамедлительно пересмотреть бытующее представление о ценностях.

Как уже было сказано и не раз, наши массы поддались роковому соблазну и встали на путь ничем не оправданного мятежа против избранных меньшинств. Они не внемлют тем немногим, кто способен задавать дисциплинарные нормы. Лишь испытав на собственной шкуре последствия столь фатальной ошибки, массы постигнут простую истину, о которой раньше не желали и слушать. История знает моменты упадка (эпохи Китра), когда кризис охватывает всю народную толщу. Однако рано или поздно такая ненависть к лучшим мало-помалу сходит на нет, уступая место почтению к иерархии, к связующим замыслам, к выдающимся людям, способным их осуществить.

Можем ли мы утверждать, что раскаяние восставших масс уже достигло этой черты? Неужели хотя бы в слабой, стихийной форме массы начали осознавать свою ущербность и решили отныне следовать примеру избранных? Всякий, кто беспристрастно всмотрится в нравственный облик нынешней Испании, безусловно, обнаружит отдельные симптомы, позволяющие ответить на поставленный вопрос положительно. Но, к несчастью, указанные признаки носят пока случайный и неяркий характер и потому возлагать на них большие надежды пока что нельзя. Через пару месяцев (или лет) духовный склад нации способен измениться. Ныне же, повторяю, мы имеем равные шансы и на возрождение, и на неудачу. С одной стороны, возможен дальнейший распад, с другой — вероятность того, что, преодолев многовеко-

вую бесхребетность, Испания вновь обретет силы и воскреснет для творческой, созидательной жизни.

В первом случае моя книга окажется бесполезной, хотя и не причинит большого вреда. Она просто будет оставлена без внимания. Во втором — она, конечно, принесет пользу, ибо так или иначе возвещает начало новой эпохи, пытается указать на доселе не явные симптомы новой исторической и национальной судьбы.

Любые политические перипетии, смена власти, реформы законов — все это не принесет никаких плодов, если так называемый обыкновенный испанец не перестроит себя, свой моральный склад.

Но если такое чудо все же случится, то я уверен: страна вступит в пору национального расцвета в самое ближайшее время.

Для этого совершенно необходимо одно: массы должны безоговорочно признать, что их роль состоит в следовании примеру лучших, в категорическом отказе от нелепых притязаний на то, чтобы подменить их собой. И так должно быть решительно во всех жизненных сферах и измерениях. Повторяю, наименее существенно такое непослушание масс именно в политике по той простой причине, что политика — лишь внешняя форма проявления подспудных, могучих стихий национального духа. И если последний подчинил себя строгой дисциплине во всех прочих измерениях жизни, ему не страшны никакие политические бури.

И все-таки, в каких сферах масса прежде всего обязана быть собой? Иначе говоря, покорно следовать образцам, идти к совершенству? Конечно же, в повседневности; дело в умении соблюдать нормы, которые вырабатываются в ходе дружеских бесед, в ходе чтения

газет, в умении владеть собой в самых обыкновенных, обыденных житейских ситуациях.

В Испании бесповоротно и окончательно восторжествовал вульгарнейший буржуазный идеал. И в высших, и в низших слоях царят откровенная пошлость и агрессивное мещанство. Ежеминутно, при всяком удобном случае масса затаптывает в грязь любой высокий душевный порыв.

Я уже говорил о том, как принято у нас друг с другом беседовать. И в том, что я постоянно обращаюсь к этой проблеме, нет ничего удивительного. Быть может, кто-то считает, что избирательная кампания — более серьезный вопрос. Но ведь совершенно ясно, что результат выборов зависит от того, о чем и как говорят люди. Беседа — преимущественное орудие социализации, и в ее стиле проступают важнейшие расовые черты. Признаться, я впервые пришел к развиваемым здесь идеям, когда однажды задумался над бытующей у нас манерой беседовать.

Гете заметил: существует ряд явлений, которые, имея достаточно незамысловатую форму, тем не менее помогают раскрыть величайшие тайны природы. Это своего рода «образцы», позволяющие постичь другие, менее прозрачные, сложные случаи. Гете назвал их прафеноменами. Разговоры — прафеномены истории.

Всякий раз, когда я бываю во Франции или в Германии, меня приятно поражает манера немцев или французов общаться между собой. Так, если в беседе принимает участие по-настоящему умный человек, остальные как бы инстинктивно стремятся подняться до его уровня. Короче говоря, собеседники самостоятельно приходят к молчаливому соглашению, что такая выдающаяся личность обладает более глубоким и верным знанием

вещей. И, напротив, меня глубоко печалит тот несомненный факт, что мы, испанцы, поступаем прямо наоборот. И прежде всего я говорю о высших слоях, о буржуазной элите, которая всегда задавала тон в национальной жизни. Итак, когда у нас в какой-нибудь беседе принимает участие замечательный человек, он зачастую не знает, куда ему деваться, и кончает чувством неленого стыда за себя самого. Наши богатые мещане толкуют о своих проблемах с безумной навязчивостью и с неслыханным нахальством пропагандируют собственное невежество. В такой атмосфере любое остроумное, такое тонкое замечание кажется чем-то абсурдным. Испанская буржуазия не допускает и мысли, что на свете есть люди более одаренные. В итоге духовный потенциал наших граждан неуклонно снижается. Ныне без преувеличения можно считать, что вся наша жизнь скроена по мерке тупых, богатых мещанок. А если она и выходит за столь узкие рамки, то неизбежно принимает какой-то странный, гротескный, «революционный» характер.

И все же надеюсь, что юные поколения поведут себя в этом пункте со всей решительностью. Уже давно настала пора коренным образом изменить стиль общения, преобразовать бытующие обычаи, социальное поведение так, чтобы они перестали находиться на том же уровне упомянутых буржуазных барышень.

Если Испания желает возродиться, она должна воссоздать в себе могучий, неукротимый порыв к совершенству. Великую трагедию нашей национальной истории составила острая и хроническая нехватка выдающихся меньшинств, неослабное господство масс во всех сферах жизни. И потому отныне следует руководствоваться одним главным требованием — требованием отбора.

История не знает иного средства улучшить существование этноса, кроме твердой и последовательно осуществляемой воли к отбору лучших людей. Только действуя такой волей, словно резцом, нация сумеет наконец изваять четкий облик подлинного испанца.

Но одних политических реформ, безусловно, мало. Нужно приступить к трудной работе и, приложив все усилия, направить нацию на путь к совершенству.

Однако об этом — как-нибудь в другой раз.

1921

ЭССЕ

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Василий Кузнецов. Ортега-и-Гассет: привнести философию в жизнь, а жизнь — в философию</i>	3
ВОССТАНИЕ МАСС	11
ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВА	209
БЕСХРЕБЕТНАЯ ИСПАНИЯ	269
ЭССЕ	371
Мысли о романе	373
В поисках Гете	418
Смерть и воскресение	455
Две главные метафоры	463
Размышление о рамке	482
Гонгора	491
Стихи Антонио Мачадо	500
На смерть Унамуно	506

МЫСЛИ О РОМАНЕ

Недавно Пио Бароха* напечатал статью о своем последнем романе, «Восковые фигуры», где, во-первых, выражает озабоченность проблемами романной техники, а во-вторых, говорит, что хочет, следуя моим советам, написать книгу в *tempo lento*** . Автор намекает на наши разговоры о современной судьбе романа. Хотя я не большой знаток литературы, мне не раз приходилось задумываться об анатомии и физиологии этих воображаемых живых организмов, составивших самую характерную поэтическую фауну последнего столетия. Если бы люди, непосредственно решающие подобные задачи (романисты и критики), снизошли до того, чтобы поделиться своими выводами, я бы никогда не решился предложить читателям плоды моих случайных раздумий. Однако сколько-нибудь зрелых суждений о романе пока не видно: может быть, это придает некую ценность заметкам, которые я вел как попало, отнюдь не собираясь кого-либо чему-либо научить.

© Перевод. А. Б. Матвеев, 1991 г.

* В газете «Эль Соль». Позднее он откликнулся на мои замечания в теоретическом предисловии к роману «Корабль дураков». — *Примеч. автора.*

** замедленный ритм (*ит.*).

Упадок жанра

Издатели жалуются: романов не покупают. Действительно, романы сейчас распродаются хуже, чем раньше, тогда как спрос на сочинения идеологического характера, напротив, растет. Уже и эти статистические выкладки наводят на мысль о кризисе жанра, и когда кто-либо из моих юных друзей, особенно начинающий писатель, говорит, что сочиняет роман, я до глубины души поражаюсь его спокойствию. Я бы на его месте дрожал от страха. Перед такой невозмутимостью невольно и, может быть, напрасно думаешь, что молодой автор, пожалуй, плохо представляет себе ответственность, которая на него ложится. Ведь создать хороший роман было нелегко всегда. Но если раньше для этого требовался только талант, то теперь трудности многократно выросли и, чтобы написать хороший роман, одного таланта далеко не достаточно.

Всякий, кто не отдает себе в этом отчета, — жертва собственного легкомыслия. Да и вообще, считать, будто кризиса жанров не бывает, способен лишь тот, кто мало размышлял о сущности художественного произведения. Не будем строить иллюзий: если полагать, что творчество зависит исключительно от субъективной способности, называемой вдохновением, талантом, вопрос неразрешим. Тогда упадок жанра попросту означал бы, что по случайности нет гениальных людей. И внезапное рождение гения с неизбежностью бы влекло за собой расцвет любого самого забытого жанра.

Однако все эти разговоры о гении, вдохновении принадлежат к числу магических заклятий, и чем яснее мы желаем видеть реальное положение дел, тем реже стоит к ним прибегать. Вообразите себе гениального дровосека в пустыне Сахара. К чему тут его мощные руки и острый

топор! Дровосек без леса — абстракция. Это относится и к искусству. Талант лишь субъективное намерение, способное осуществиться только на определенном материале. Он же не зависит от личных качеств, и где его нет — ни гений, ни мастерство положения не спасут.

Любое литературное произведение принадлежит к известному жанру (мысль Кроче, который отрицает существование художественных жанров, не оставила сколько-нибудь заметного следа в эстетике). Жанр в искусстве, как вид в зоологии, — это ограниченный репертуар возможностей. И поскольку художественной ценностью обладают лишь возможности, которые настолько различны, что их нельзя считать повторениями, художественный жанр располагает весьма ограниченным набором вариантов.

Глубоко ошибочно представлять себе роман (я говорю прежде всего о современном романе) наподобие бездонного колодца, откуда можно постоянно черпать всё новые и новые формы. Гораздо лучше вообразить себе каменоломню, запасы которой огромны, но все же конечны. Роман предполагает вполне определенное число возможных тем. Рудокопы, пришедшие раньше всех, без труда добыли новые блоки, фигуры, сюжеты. Нынешние рудокопы обнаружили только тонкие, уходящие далеко вглубь каменные жилы.

Над этим репертуаром объективных возможностей, который составляет роман, и трудится талант. Из выработанной каменоломни ничего не извлечет даже гений. Разумеется, никогда нельзя с математической строгостью говорить об окончательном истощении жанра. Но в ряде случаев это можно сделать с достаточной точностью. А иногда надлежит со всей очевидностью говорить о выработанности материала.

На мой взгляд, именно так обстоит дело с современным романом. Обнаружить новые темы теперь почти не-

возможно. Таков первый фактор колоссальной объективной, а не субъективной трудности, с которой встречается всякий, кто думает о романе, который бы отвечал нынешней полноте времен.

На протяжении целой эпохи романы могли жить за счет простой тематической новизны. Любая новость механически, как бы под воздействием электрического напряжения, индуцировала ток, щедро обогащая ценность материала. Поэтому долгое время пользовались успехом вещи, которых сегодня никто и в руки бы не взял. Недаром имя жанра — новелла, роман, иными словами, новость*. Но к этой трудности — найти новый сюжет — прибавляется другая, которая, видимо, куда серьезнее. По мере того как на свет выходили все новые сокровища возможных сюжетов, то, что еще позавчера казалось вполне приемлемым, вчера уже переставало кого-либо удовлетворять. Читатели требовали все лучших сюжетов, которые были бы еще невероятнее и «новее». Так, сужение числа новых тем сопровождалось ростом потребности в «новейших» — до тех пор, пока у читателя не утрачивалась восприимчивость. Таков второй фактор трудностей, с которыми сталкивается данный жанр.

О том, что нынешний упадок жанра нельзя связывать попросту с низким качеством современных произведений, красноречиво свидетельствует хотя бы следующий факт: чем труднее становится писать романы, тем хуже, слабее кажутся знаменитые, «классические» романы прошлого. Лишь немногие из них избежали жалкой участи — вызывать утомление и скуку читателей.

Это естественно и не должно приводить авторов в уныние. Наоборот, писатели постепенно воспитывают

* Novella — новость (*ит.*).

читателей, прививая им вкус, совершенствуя восприятие. Любой роман, превосходящий по своим достоинствам предыдущий, уничтожает его, а заодно и все остальные произведения того же ранга. Здесь, как в битве, победитель уничтожает своих врагов, и произведение, одержавшее жестокую победу в искусстве, истребляет легионы других, которые раньше пользовались успехом.

В целом я убежден: если жанр романа и не исчерпал себя окончательно, то доживает последние дни, испытывая настолько значительный недостаток сюжетов, что писатель вынужден его восполнять, повышая качество всех прочих компонентов произведения.

Присутствие

По правде сказать, великий Бальзак (если не считать двух-трех книг) кажется сегодня совершенно невыносимым. Наши глаза, привыкшие к куда более точным и верным картинам, тотчас обнаруживают приблизительность, условность, а *peu pres** мира, изображенного в «Человеческой комедии». На вопрос, почему я не приемлю Бальзака-писателя (как человек это прекраснейший образец людского рода), отвечу: созданная им картина всего лишь худосочный подмалевок. Чем отличается настоящая живопись от подобного подмалевка? Тем, что в настоящей живописи изображаемый предмет представлен непосредственно, как бы лицом к лицу, во всей полноте бытия, в абсолютном присутствии; дурной подмалевок, напротив, не представляет предмета: на холсте — только туманные, слабые намеки, а на что — неизвест-

* приблизительно (фр.).

но. Чем больше мы вглядываемся в надежде увидеть хоть что-то, тем яснее ощущаем отсутствие чего бы то ни было.

Это различие между простым указанием и подлинным присутствием, на мой взгляд, главное во всех видах искусства, и прежде всего в романе.

Сюжет «Красного и черного» можно передать в двух словах. Чем отличается такой пересказ от романа? Не пытайтесь меня уверить, будто все дело в стиле. Это неумно. Важно, что, говоря «мадам Реналь полюбила Жюльена Сореля», мы просто указываем на событие. Стендаль же представляет его в непосредственной действительности, наяву.

Проследив эволюцию романа с момента возникновения до настоящего времени, убеждаешься: жанр постепенно переходит от повествования, которое только указывало, намекало на что-то, к представлению во плоти. Поначалу новизна темы позволяла читателю довольствоваться чистым повествованием. Приключение занимало его, как нас занимает рассказ о событиях, связанных с близким человеком. Но вскоре темы как таковые перестают интересовать; источником наслаждения становятся не судьбы, не приключения действующих лиц, а их непосредственное присутствие. Нам нравится смотреть на них, постигать их внутренний мир, дышать с ними одним воздухом, погружаться в их атмосферу. Из жанра повествовательного, косвенного роман делается жанром описательным, прямым. Точнее, он становится представляющим жанром. В пространном романе Эмили Пардо Басан раз сто повторяют, что некий персонаж в высшей степени остроумен, но, поскольку по ходу дела герой так и не проявляет своего качества, книга в конце концов приводит нас в бешенство. Императив романа — присутствие. Не говорите мне, каков персонаж, — я должен увидеть его воочию.

Обратившись к романам прошлого, которые и поныне радуют истинных ценителей литературы, сразу же обнаруживаешь: все они пользуются тем же приемом представления. И особенно «Дон Кихот». Сервантес дарит нам чистое присутствие персонажей. Мы слышим живую речь, видим впечатляющие жесты. Достоинства Стендаля — того же происхождения.

Без оценок

Нужно представлять жизнь героев романа, а не рассказывать о ней. Рассказ, сообщение, повествование лишь символ отсутствия того, о чем рассказывается, сообщается, повествуется. Где перед нами сами вещи, слова о них излишни. Стремление характеризовать персонажей — главная ошибка романиста.

Миссия науки — выработка определений. Любая наука упорно стремится уйти от предмета и достичь его знания. Но знание, определение предмета всего-навсего ряд понятий, а понятие в свою очередь только умственная отсылка к предмету. Понятие «красный» не содержит ничего красного; это движение мысли по направлению к цвету, который так называется, то есть его знак, указание на него.

Если память мне не изменяет, Вундт доказал, что простейшая форма понятия — жест, когда на предмет показывают пальцем. Ребенок начинает с того, что хочет схватить все вещи; не понимая зрительной перспективы, он полагает, что они совсем рядом. Потерпев неудачу за неудачей, он отказывается от первоначального намерения; довольствуясь теперь своего рода зачатком хвата-

ния, он только показывает на предметы указательным пальцем. В сущности, понятие — простой знак, обозначение. В науке важны не вещи, а знаковая система, способная их заместить.

Назначение искусства прямо противоположно. Его цель — уйти от привычного знака и достичь самого предмета. Двигатель искусства — чудесная жажда видеть. Фидлер во многом прав: цель искусства — дать более полное и глубокое видение вещей. Это относится и к роману. У истоков жанра считалось, что главное — сюжет. Однако вскоре эту точку зрения пришлось сменить: важно не то, что показано, а сама возможность показать что-либо имеющее отношение к человеку, а что именно — безразлично. Сегодня романы прошлого выглядят, рискну сказать, куда повествовательнее современных. Уточним. Не исключено, что это ошибка, поскольку первому читателю было, вероятно, как ребенку, довольно двух слов, простой схемы, и он воочию представлял себе весь предмет (древняя скульптура и последние психологические открытия огромной важности доказывают справедливость этого утверждения). В таком случае роман нимало не изменился. Его современная форма — описание, представление — только новое средство вызвать в нынешнем, искушенном читателе те же чувства, которые будило повествование в душе наивных, первых, читателей.

Если автор пишет: «Педро был мрачен», он как бы предлагает мне вообразить мрачное состояние духа Педро исходя из этой характеристики. Не лучше ли было, наоборот, привести неопровержимые факты, чтобы, опираясь на них, я сделал усилие и с удовольствием обнаружил, постиг мрачный характер Педро. Словом, автор должен поступать как художник-импрессионист, который оставляет на полотне лишь самое необходимое, чтобы я самостоятельно придал материалу окончательную

отделку и увидел, например, яблоко. Отсюда — непреходящая свежесть импрессионистической живописи. Мы как бы наблюдаем предметы в их вечном *status nascens**. А ведь и все на свете содержит в своей судьбе два момента, полных высочайшего драматизма и напряжения, — час рождения и час смерти, или *status evenescens***. Неимпрессионистическая живопись, независимо от своих остальных достоинств и даже, быть может, превосходства в чем-то ином, ущербна хотя бы потому, что представляет предметы полностью завершенными, мертвыми в своей законченности, как бы священными, мумифицированными, оставшимися в прошлом. Ей недостает современности — живого присутствия, которым дышат предметы на картинах импрессионистов.

Роман — медлительный жанр

По этой причине современный роман должен быть полной противоположностью сказке. Сказка — бесхитростное повествование о приключениях. Именно на них в физиологии этого жанра делается главный упор.

Дети простодушно интересуются приключением как таковым, на мой взгляд, потому, что ребенок воочию наблюдает все, чему мы просто отказываем в существовании. Приключение не может нас интересовать, разве что того ребенка, который сохранился в каждом на правах какого-то варварского пережитка. Механический восторг от приключенческого романа не затрагивает сознательной части нашего «я». От чтения подобного опу-

* состоянии рождения (лат.).

** состояние угасания (лат.).

са остается неприятный осадок, словно мы предавались какому-то гадкому, постыдному удовольствию. Выдумать приключение, способное пробудить высокие чувства, — дело сегодня в высшей степени трудное.

Итак, приключение, или сюжет, только предлог, своего рода нить, на которую нанизаны жемчужины ожерелья. Нам еще предстоит в свое время убедиться: такая нить совершенно необходима. Пока важно отметить: усматривать недостатки какого-либо романа в том, что «его сюжет малоинтересен», — грубая ошибка критики. Если бы все сводилось к этому, на романе как жанре давно уже следовало бы поставить крест. Всякий, кто задумывался на этот счет, неизбежно признает: выдумать сейчас новый, интересный сюжет практически невозможно.

Нет, не сюжет служит источником наслаждения — нам вовсе не важно знать, что произойдет с тем или иным персонажем. И вот доказательство: сюжет любого романа можно изложить в двух словах. Но тогда он совершенно неинтересен. Мы хотим, чтобы автор остановился, чтобы он несколько раз обвел нас вокруг своих героев. Мы лишь тогда получим удовольствие, когда по-настоящему познакомимся с ними, поймем, постигнем их мир, привыкнем к ним, как привыкаешь к старым друзьям, о которых известно все и которые при каждой встрече щедро дарят богатство души. *Вот почему, в сущности, роман — замедленный жанр*, как говорил, не помню, Гете или Новалис. Более того, современный роман — жанр медлительный и должен быть таковым в противоположность сказке, приключенческой повести, мелодраме.

Однажды я попытался уяснить себе причину того достаточно скромного удовольствия, которое мне доставляют полнометражные американские фильмы, выстроенные в целый ряд серий, или (пользуясь выпреним языком самодовольного испанского обывателя) эпизо-

дов. (Произведение, состоящее из одних эпизодов, напоминает обед из одних закусок или спектакль из одних антрактов.) К немалому изумлению, я обнаружил, что наслаждаюсь отнюдь не сюжетом, кстати, весьма глупым, а действующими лицами. Больше всего мне нравились фильмы с героями интересными, привлекательными. И интерес был обусловлен не ролью, а ее удачным актерским воплощением. Кинофильм с красивыми исполнителями в ролях детектива и молодой американки можно смотреть бесконечно, не испытывая ни малейшей скуки. Не важно, что происходит, — нам нравится, как эти люди входят, уходят, передвигаются по экрану. Не важно, что они делают, — наоборот, все важно, лишь поскольку это делают они.

Обращаясь к старым романам, которые выдержали испытание временем и до сих пор радуют читателей, неизбежно приходишь к выводу: наше внимание привлекают скорее сами герои, а не их приключения. В принципе можно представить себе такого *«Дон Кихота»*, где с рыцарем и слугой будут происходить совсем иные приключения, и этот роман ни в чем не уступит великому творению Сервантеса. То же относится к Жюльену Сорелю и Давиду Копперфильду.

Функция и субстанция

Итак, теперь нас интересуют не сюжеты, а герои, не действия, а лица. И здесь в качестве небольшого отступления скажем, что подобный перенос внимания совпадает с переворотом в физике и особенно в философии,

который начался лет двадцать тому назад. Со времен Канта вплоть до 1900 года преобладало ярко выраженное стремление убрать из теории субстанции, заменив их функциями. И в Греции, и в эпоху Средневековья считалось: *опегагі sequitur esse* действия — следствие и производные от сути. Идеал XIX века прямо противоположен: *esse sequitur опегагі* суть не более как совокупность действий, или функций.

Быть может, теперь мы вновь возвращаемся от действий к лицам, от функций к субстанциям. Это явилось бы любопытным симптомом развивающегося классицизма.

Однако подобные вопросы заслуживают более детального рассмотрения, заставляя нас в поисках ответа противопоставить театр французского классицизма испанскому народному театру.

Два театра

Структурное различие между французским классицистическим и нашим народным театрами среди прочего красноречиво свидетельствует, насколько несхожи судьбы Франции и Испании. Не желая ни в коей мере принизить его достоинство, я не могу называть наш театр классицистическим по той простой причине, что не вижу в нем ничего от классики. Не уверен, что истории известно хотя бы что-то народное и в то же время классическое. Напротив, французская трагедия — искусство, предназначенное аристократии. Ее первое отличие от нашего театра — зритель, к которому она обращена. Ее эстетическое намерение опять-таки противоположно тому, которое движет нашими драматургами. Разумеет-

ся, я беру оба стиля в целом, не отрицая, что в каждом из них есть свои исключения (хотя они, как всегда, лишь подтверждают правило).

Действие французской трагедии сведено к минимуму. И речь не просто об известных трех единствах (нам еще предстоит убедиться, какую службу они могут сослужить «настоящему» роману) — сама история, положенная в ее основу, требует узких рамок. Наш театр накапливает как можно больше приключений, событий. Драматург, понятное дело, вынужден развлекать публику, которая жаждет трудных, опасных, немыслимых приключений. Автор французской трагедии на канве всем известной, самой по себе незанимательной «истории» стремится выделить лишь два-три ярких момента. Он избегает внешних приключений, невероятных событий: сюжет лишь возможность поставить определенные психологические проблемы. И автор, и зрители не столько любят зрелищем людских страстей, сколько предаются их разбору. В нашем театре, напротив, психологическая анатомия чувств и характеров встречается редко — по крайней мере не в ней тут дело. И чувства, и характеры наш театр берет как бы скопом и со стороны: они — основа, трамплин, нужный драме, чтобы совершить свой мощный, гигантский прыжок. Все другое попросту утомило бы зрителей испанского «площадного театра», простых людей с душою скорее пылкой, чем созерцательной.

И все же психологический анализ — не главная эстетическая цель французской трагедии, а скорее средство для достижения другого эффекта, роднящего французский классицизм с античным театром (трагедии Сенеки оказали существенное влияние на классическую драматургию). Знатная публика наслаждается образцовым, нормативным характером трагического события. Она не столько опечалена ужасной судьбой Федры или Аталии, сколько воодушевлена примерами благородства, кото-

рые подают эти великие героини. По сути дела, французский театр — зрелище торжества этических принципов. Нам показано не какое бы то ни было действие, не ряд этически нейтральных событий, а репертуар нормативных жестов, образцовый тип человеческих реакций на великие жизненные испытания. Персонажи французского театра — это герои, это избранные натуры, подающие примеры благородства: человеческие *standarts*. Не случайно действующими лицами таких пьес могут быть только короли и аристократы — люди, лишенные повседневных житейских забот и способные отдать все силы решению проблем сугубо моральных. Даже ничего не зная о французском обществе того времени, прочитав эти пьесы, сразу приходишь к выводу: зрители стремились прежде всего познать правила достойного поведения, достичь морального совершенства. Стиль выдержан, каждое слово взвешено — здесь неуместна ни колоритная грубость, ни выплеск чувств. Страсть ни на секунду не забудется и в любом порыве неукоснительно соблюдает норму, следуя правилам поэтики, этикета, даже грамматики. Искусство французской трагедии — это мастерство самообладания, точнее, умение найти для любого поступка и слова наилучшую норму, задающую им точные границы. Здесь всегда присутствует стремление к отбору, сознательное желание совершенства, позволявшее французам шлифовать свою жизнь и расу от поколения к поколению.

Разгул и самозабвение — характерная черта всего «народного». Народные религии всегда прибегали к ритуальным оргиям, против чего извечно боролась религия избранных. Брахман осуждает магию, мандарин-конфуцианец — суеверие даосов, католический собор — экстазы мистиков. Обобщенно можно представить себе две противоположные жизненные позиции: одна, благородная, требова-

тельная, провозглашает идеалом существования умение властвовать собой, стремясь избежать оргии; другая, народная, всецело подчинена роковой силе чувств и в страсти, обряде, алкоголе ищет любой возможности достичь безумных, бессознательных состояний.

Что-то в этом роде влекло испанцев к разжигающим кровь драмам, которые щедро изготавляли наши поэты. И, кстати, это весьма неожиданно подтверждает «исконную простоту» нашего народа — то качество, развитие которого я однажды попытался проследить на протяжении всей отечественной истории. Не отбор и не мера, а страсть и самозабвение. Нужно лишний раз повторять, что подобное опьянение страстями немногого стоит? Я не собираюсь здесь сравнивать достоинства тех или иных рас и стилей, а только даю самое внешнее описание двух противоположных национальных темпераментов.

В целом и женские, и мужские роли в нашем театре разработаны слабо. Ведь самое интересное не персонажи, а сила, заставляющая их скитаться по свету, идти на все четыре стороны, бросаться в пучину головокружительных приключений. Простоволосые дамы, бродящие по долам и весям... Еще вчера, в роскошных платьях, они появлялись в полуосвещенных гостиных, а завтра, в мавританском наряде, промелькнут и исчезнут в порту Константинополя! Внезапная, колдовская любовь, воспламеняющая восторженные сердца! Вот что увлекало наших предков! В превосходном очерке Асорина описано, как в одной из наших глухих деревень выступает труппа бродячих актеров. На сцене — юный красавец: ему грозит страшная опасность, а он, несмотря ни на что, именно в этот момент объясняется в любви даме своего сердца, изливаясь каскадом искрящихся стихов, полных изысканных оборотов и образов, перечисляющих всю

флору и фауну — словом, проникнутых той дивной риторикой, которая представлена в скульптуре Постренесанса причудливыми консолями с изображениями троефеев, плодов, знамен, гербов, эмблем, конских голов... На все происходящее неотрывно смотрит пятидесятилетний лицензиат; на его восковом лице горят огромные глаза, рука теребит седую бородку... Эти строки Асорина сказали мне об испанском театре больше, чем все книги, прочитанные по этому поводу, вместе взятые*. Наш театр — горячая смесь, в противоположность тому образцу нравственного совершенства, к которому стремилась французская драматургия. Нет, иного идеала искал добрый испанец, идя на представление знаменитой комедии, — он хотел опьяниться, нырнуть в поток немыслимых приключений, невероятных интриг. По сложной, пестрой сюжетной канве поэт вышивал изощренным и гибким слогом, который был в преизбытке испещрен метафорами, озаряющими, как молнии, словарь, где бродили странные тени и смутные блики, словно в пышных алтарных приделах величественных храмов эпохи. Но не только огонь охваченных страстью судебных волновал зрителей — их интерес пылал пожаром воображения, озарялся цветным фейерверком четверостиший Лопе и Кальдерона.

Наслаждение, доставляемое нашим театром, было пронизано тем же дионисийством, что и мистические экстазы монахов и монахинь эпохи — величайших алкоголиков экзальтации. Повторяю, здесь нет и речи о созерцании, требующем дистанции между объектом и нами. Кто желает любоваться могучим потоком, в первую очередь должен позаботиться, чтобы тот его не унес.

* Смотри предисловие Америко Кастро к томику Тирсо, выпущенному в замечательной библиотеке для чтения «Кастильские классики». — *Примеч. автора.*

В основе двух театров — абсолютно разные художественные замыслы. В испанской драме главное — превратности судьбы, а также золотая чеканка лирического стиха. В французской трагедии решающую роль играет герой, его способность служить образцом, примером. Вот почему Расин кажется нам холодным и скучным. Мы словно очутились в саду среди говорящих статуй, утомляющих взор одной и той же назидательной позой. Лопе де Вега, наоборот, не скульптура, а живопись. Его театр — широкое полотно, где чередуются темные и светлые пятна, где каждая деталь колоритна и выразительна, где рыцарь и простолюдин, архиепископ и капитан, крестьянка и королева шумно болтают, обходясь друг с другом без церемоний, впадая в крайности, мечась по сцене туда и сюда, будто инфузории в капле воды. Чтобы насладиться чудесной цветовой гаммой нашего театра, не нужно широко открывать глаза (так становится рельефнее контур фигуры). Наоборот, надо их прикрыть, прищурить, словно художник, словно Веласкес, смотрящий на менин, карликов, королеву и короля.

Думаю, сказанное позволяет лучше понять наш народный театр. Знатоки испанской литературы — а я не из их числа — могут испытать предложенный здесь подход. Быть может, он окажется плодотворным и позволит по достоинству оценить наше неисчерпаемое богатство.

Достоевский и Пруст

В то время как другие великие светила, влекомые немолчим потоком времени, заходят за линию горизонта, звезда Достоевского неуклонно идет к зениту. Хотя

нынешний интерес к его творчеству, возможно, преувеличен, я бы предпочел рассмотреть этот вопрос в другой раз. Несомненно одно: Достоевский спасся в крушении романа прошлого века, которое произошло у нас на глазах. И все же причины, выдвигаемые обычно в объяснение столь очевидной победы, столь поразительной живучести, представляются мне ошибочными: интерес к Достоевскому всецело приписывают материалу, который разрабатывал великий писатель, то есть загадочному драматизму действия, патологии персонажей, экзотическому устройству славянских душ, отличных в силу своей хаотичной природы от наших — ясных, определенных и безмятежных. Вне всяких сомнений, доля истины в подобном рассуждении есть, однако, на мой взгляд, им никак нельзя ограничиться. Уж скорее указанные черты следует отнести к отрицательным факторам: они куда сильнее отвращают нас от писателя, чем привлекают к нему. Все поклонники Достоевского знают: к глубокому наслаждению от его романов примешивается скорбное, тяжелое, тревожное чувство.

Материал не спасает произведения, как золото, из которого отлита статуя, не придаст ей святости. Произведение искусства в большей степени живо своей формой, а не материалом. Именно структурой, внутренним строением обязано оно исходящему от него тайному очарованию. Это и есть подлинно художественное в произведении, и именно на него должна направить внимание эстетическая и литературная критика. Кто обладает тонким эстетическим вкусом, всегда заподозрит некий оттенок филистерства в таком рассуждении о картине или литературном произведении, где все решает их «тема». Очевидно, без темы произведений искусства не существует, как нет и жизни без определенных химических процессов. Но как и жизнь не может быть сведе-

на только к ним, а становится жизнью, когда добавляет к химическому процессу изначальную сложность иного порядка, так и произведение искусства заслуживает этого имени, поскольку обладает определенной формальной структурой, которой подчинены материал или тема.

Меня всегда поражало, что даже специалистам стоит огромных усилий признать подлинной сутью искусства форму — для неискушенного взгляда нечто абстрактное и надуманное.

Но точка зрения автора или критика не может совпадать с оценкой неподготовленного читателя. Последнего интересует лишь цельное, итоговое действие, которое оказывает на него произведение, — источник полученного удовольствия ему безразличен.

О том, что происходит в книгах Достоевского, было сказано немало, о самой форме его романов — практически ничего. Странные поступки и чувства, которые описывает этот великий писатель, заворожили критиков, помешав им постичь самую суть, то, что в любом художественном произведении, как правило, считается чем-то незначительным и второстепенным, — структуру романа как такового.

Отсюда — своеобразный оптический обман. Безумный, неистовый нрав персонажей приписывают самому Достоевскому, тем самым превращая самого автора в героя его же романов. А сами герои как будто зачаты в страшном демоническом экстазе, от матери — молнии и отца — штормового ветра.

Но все это чистая магия и фантасмагория. Трезвый ум наслаждается космогонией образов, не воспринимая их, однако, всерьез и в конечном счете предпочитая холодную ясность мысли. Если Достоевский-человек был каким-то пророком или страдал известными маниями (что вполне вероятно), то Достоевский-романист был *homme de lettres*,

величайший мастер своего дела, и только. Я не раз — и не всегда с успехом — убеждал Бароху, что Достоевский прежде всего великий преобразователь техники романа, крупнейший новатор романной формы.

Его произведения — лучший пример неторопливости, присущей этому жанру. Хотя все книги Достоевского необычайно велики по объему, представленное в них действие до чрезвычайности кратко. Порой Достоевский пишет два тома, чтобы изложить события, случившиеся за несколько дней или даже часов. И все-таки — где мы найдем действие насыщеннее? Наивно думать, что подобной интенсивности можно достичь за счет пересказа многих событий. Здесь, как всегда, правит закон *non multa, sed multum**. Плотность обретается не нанизыванием одного события на другое, а растягиванием каждого отдельного приключения за счет скрупулезного описания мельчайших его компонентов.

Сгущение действия во времени и пространстве заставляет нас в новом свете увидеть смысл известных «единств» классицистической трагедии. Это правило, которое по непонятной причине призывало к сдержанности, умеренности, сегодня выступает могучим средством создания внутренней напряженности, атмосферного давления внутри романного тела.

Достоевский легко исписывает десятки страниц бесконечными диалогами. Обильный словесный поток затопляет нас душами персонажей; вымышленные лица обретают ту очевидную телесность, которой невозможно достичь с помощью каких бы то ни было авторских оценок.

Важно видеть механизм скрытой игры, которую ведет Достоевский с читателем. Незрелый ум решит, по-

* не многое, но много (то есть немного по количеству, но много по значению; *лат.*).

жалуй, что Достоевский характеризует каждого из героев. В самом деле, когда автор кого-либо представляет, он кратко излагает биографию героя, так что мы пребываем в полной уверенности, что нам дали достаточно полный перечень его характерных черт. Но стоит этому же герою начать действовать: говорить, совершать поступки — и мы в замешательстве. Поведение персонажа не укладывается в рамки, заданные мнимой характеристикой автора. На смену первому понятию о герое приходит его непосредственно жизненный образ, и он не только не соответствует авторской оценке, но находится с ней в явном противоречии. Читатель безотчетно тревожится оттого, что герои ускользают от него на перекрестке этих противоположных оценок, и, сделав усилие, отправляется в погоню за персонажами, стараясь истолковать разноречивые черты, слить их в единый образ. Иными словами, читатель сам стремится дать оценку действующему лицу. Но именно так обстоит дело в реальной жизни. Случай нас сводит с людьми, словно сквозь фильтр пропуская их внутрь нашей личной жизни, и никто, заметьте, не берет на себя официального обязательства хоть как-то заранее определить их нам. Мы постоянно наталкиваемся на сложную действительность других, а не на простое о них понятие. Наша извечная растерянность перед самодовлеющей тайной другого и упорное нежелание ближнего соответствовать нашим о нем представлениям и составляют его полную независимость, заставляя ощущать как нечто реальное, действительное, неподвластное любым усилиям нашего воображения. Отсюда неожиданный вывод: «реализм» — употребим это слово, дабы не усложнять сути дела, — так вот, реализм Достоевского состоит не в вещах и поступках, о которых идет речь, но в том способе обраще-

ния с ними, с которым автор принуждает считаться читателя.

Достоевский жесток, преследуя стратегическую цель — сбить читателя со следа. Он не только не желает давать каких-либо пояснений своим героям или как-то характеризовать их — само поведение действующих лиц меняется поэтапно; мы видим разные лики каждого, так что они обретают форму и цельность постепенно, на наших глазах. Достоевский старательно избегает придавать какой-либо стиль создаваемым характерам и, наоборот, счастлив оттого, что они на каждом шагу проявляют свою двусмысленную природу, как и бывает в реальной жизни. Постоянно колеблясь, поправляя себя и опять боясь ошибиться, читатель всякий раз вынужден вновь выстраивать окончательный образ этих изменчивых существ.

Благодаря этому и другим приемам Достоевский придает своим романам необыкновенное свойство, в силу которого все они — и лучшие и худшие — никогда не выглядят неестественными, условными. Читатель никогда не заметит театральных кулис, поскольку всегда поглощен совершенной в своем роде квазиреальностью, подлинной и ощутимой. В отличие от других литературных жанров роман запрещает воспринимать его именно как роман, то есть видеть занавес и сцену. Сегодня, читая Бальзака, мы то и дело пробуждаемся от романного сновидения, на каждой странице натываясь на авторский реквизит. Однако самая важная структурная особенность романов Достоевского не поддается краткому и простому истолкованию, и я буду вынужден остановиться на ней несколько ниже.

Здесь же хочу подчеркнуть, что стремление избегать оценок, сбивать читателя с толку, а также постоянная изменчивость характеров, концентрация действия во време-

ни и пространстве и, наконец, указанная неторопливость, или *tempo lento*, не исключительная заслуга Достоевского. В литературе Запада самым ярким в этом отношении примером являются все крупные романы Стендаля. Биографический роман «Красное и черное» рассказывает о нескольких годах из жизни одного человека так, что все произведение — это три или четыре картины, каждая из которых по своей внутренней композиции напоминает отдельный роман великого русского мастера.

Последняя замечательная книга в жанре романа — грандиозное творение Пруста — еще отчетливее выявляет эту внутреннюю структуру, доводя ее до пределов возможного.

В творчестве Пруста неторопливость, замедленность действия достигают крайних пределов, превращая роман в ряд статичных картин без движения, развития, драматизма. Читая Пруста, приходишь к выводу, что мера уместной неторопливости превышена. По сути дела, сюжет исчезает и с ним — какой-либо драматический интерес. Роман сводится к чистому, неподвижному описанию, становится слишком разреженным, эфирным; пропадает конкретное действие, которое все же необходимо жанру. Мы видим: роману не хватает скелета, жесткого и упругого остова, чего-то вроде металлического каркаса, придающего форму зонтику. Бескостное тело жанра расплывается туманным облаком, подвижной плазмой, размытым цветовым пятном. Вот почему, несмотря на то что сюжет, действие в современном романе играет, как я уже говорил, минимальную роль, в романе, понимаемом как возможность, не следует уничтожать его полностью. Сюжет продолжает выполнять свою (хотя и чисто механическую) роль — нитки в жемчужном ожерелье, проволочного каркаса в зонтике, кольев — в походной палатке.

Полагаю, моя мысль, прежде чем быть отвергнутой, все же заслуживает внимания: так называемый драматический интерес не несет в романе эстетической ценности, он вызван чисто механической потребностью. Истоки ее — в общих законах человеческой психики, заслуживающих хотя бы краткого изложения.

Действие и созерцание

Более десяти лет назад в «Размышлениях о «Дон Кихоте» я обнаружил главное назначение современного романа в описании атмосферы. Вот основное отличие этого жанра от других эпических форм: эпопеи, сказки, приключенческой повести, мелодрамы, романа «с продолжением», где излагается определенное действие, следующее известному маршруту и руслу. В противовес конкретному действию, стремящемуся к скорейшему финалу, атмосфера означает нечто расплывчатое, спокойное. Действие затягивает нас драматическим вихрем, атмосфера, наоборот, только приглашает к созерцанию. В живописи атмосферу, где «ничего не происходит», передает пейзаж в отличие от исторического полотна, где изображен подвиг, событие в чистой форме. Не случайно именно в связи с пейзажем возникла техника *plein air*, другими словами, атмосферы.

Впоследствии я неоднократно имел возможность убедиться в правильности собственных наблюдений. И вкусы высокой публики, и лучшие произведения современников давали все новые свидетельства в пользу того, что роману была уготована судьба атмосферного, воздушно-го жанра. Последнее творение высокого стиля — роман

Пруста — решает вопрос однозначно: недраматический характер жанра достигает здесь крайних пределов. Пруст категорически отказывается занимать читателя стремительным развитием действия, обрекая его на созерцательную позицию. Но подобный радикализм — источник всех затруднений и неудобств. Буквально каждая страница заставила бы обратиться к автору с просьбой — придать сочинению хоть каплю драматизма (хотя, понятно, главное не в нем, а именно в том, что дарит нам этот писатель с такой изумительной щедростью). А нам предлагается микроанализ человеческих душ. И если бы сочинение Пруста обладало хоть толикой драматизма (ведь мы, по правде сказать, довольствуемся малым), оно было бы само совершенство.

Однако в какой связи находятся между собой указанные моменты? Почему в любимом романе нам важен известный минимум действия, которое само по себе абсолютно не важно? Я убежден: всякий, кто сколько-нибудь строго рассуждает об источниках удовольствия от чтения замечательных романов, сталкивался с этой антиномией.

Когда что-то необходимо зачем-то еще, это значит, что оно не важно само по себе. Чтобы раскрыть преступление, нужен доносчик, но само доносительство нисколько от этого не выигрывает.

Искусство — событие, происходящее в нашей душе, когда мы смотрим на картину или читаем книгу. Чтобы это событие произошло, должен работать психологический механизм. Выполнение целого ряда механических условий становится обязательной частью самого произведения, хотя и лишенной эстетической ценности или по крайней мере обладающей ею в весьма скромной степени. Итак, я осмеливаюсь утверждать: драматический интерес — только психологическая характеристика ро-

мана, не более, хотя, разумеется, и не менее. Многие со мной не согласятся. В большинстве случаев занимательный сюжет считают чуть ли не главным эстетическим фактором произведения. Иными словами, чем больше в нем действия, тем лучше. Я же полагаю наоборот: поскольку действие — чисто механический элемент, в эстетическом плане оно — балласт, который должен быть сведен к минимуму. Но в отличие от Пруста я уверен, что этот минимум все-таки необходим.

Данная тема выходит за рамки теории романа и искусства в целом, достигая поистине исполинских масштабов в философии. Я помню, как сам не раз обращался к этой проблеме и так или иначе разбирал ее в университетских лекциях.

В сущности, речь идет о противоположности и взаимосвязи между действием и созерцанием. Известны два исключаяющих друг друга типа людей. Одни склонны к чистому созерцанию, другие стремятся участвовать, действовать, занимать ту или иную позицию. Мы познаем мир лишь постольку, поскольку его созерцаем. Интерес завлакивает сознание туманной пеленой и, понуждая нас к выбору, оставляет в тени одно, одновременно проливая избыток света на другое. Наука прежде всего стремится к созерцанию, задаваясь целью дать чистое отражение многоликого Мироздания, тогда как искусство дарит удовольствие от созерцания.

Итак, созерцание и интерес — две противоположные формы сознания, в принципе исключаящие друг друга. Вот почему человек действия — обыкновенно слабый или вообще никуда не годный мыслитель, а идеал мудреца, например в учении стоиков, в том, чтобы быть совершенно независимым от окружающего и, словно недвижимая гладь лагуны, бесстрастно отражать небесные облака.

Но столь радикальное противопоставление, как и всякий радикализм, — утопия геометрического Разума. Чистого созерцания нет и быть не может. Подходя к Мирозданию без определенного интереса, мы не в состоянии вообще что-либо как следует увидеть: число предметов, с равным правом рассчитывающих на наше внимание, бесконечно. Когда у нас нет оснований смотреть в какую-то одну сторону, уделять наибольшее внимание чему-нибудь одному, наш взор неизбежно блуждает туда и сюда, равнодушно, без порядка и перспективы скользя по просторам Вселенной, не в силах ни на чем остановиться. Порой забывают общеизвестную истину: чтобы видеть, нужно смотреть, а для этого необходимо бросить взор, иными словами, обратить внимание. Чистое созерцание беспристрастно: взор лишь отражает образ действительности, исключая самого субъекта из его создания или искажения. Однако теперь мы знаем, что через созерцание, в качестве его неизбежной предпосылки, действует механизм внимания. Это он правит взглядом изнутри и, исходя из глубинных основ личности, придает всему перспективу, форму и иерархию. Итак, мы обращаем внимание не на то, что видим, а, наоборот, видим лишь то, на что обращаем внимание. Внимание — психологическое а priori*, действующее в силу реальных предпочтений, иначе говоря, интересов.

Новая психология вынуждена перевернуть традиционный порядок способностей мышления. Схоласт, как и грек, утверждал: *ignoti nulla cupido* — неизвестное не манит, не интересуется. На самом деле, наоборот, мы хорошо знаем лишь то, что нам в какой-то степени важно, точнее, что заведомо интересно. Возможность интереса к неведомому — вот парадоксальная проблема, в реше-

* априори (лат.) — до или независимо от опыта. Здесь: установка.

ние которой я попытался внести ясность в работе «Введение в теорию ценностей».

Здесь не место входить в разбор столь сложной задачи. Пусть каждый сам вспомнит, когда он максимально расширил свое познание мира. Ясно одно: отнюдь не тогда, когда задавался целью просто смотреть. Зорче всего видишь не тот пейзаж, которым любишься во время туристской прогулки. Турист в конечном счете ничего не знает как следует. Он равнодушно окидывает скучающим взором внешнюю панораму городских или сельских видов, ни во что не вникая, не стремясь захватить силой хотя бы малую толику чарующей красоты. И, однако, на первый взгляд кажется, что турист, занятый исключительно созерцанием, добудет самый богатый трофей разнообразных сведений. На противоположном полюсе — крестьянин, вступающий с природой в сугубо заинтересованные отношения. И все-таки кто хоть раз путешествовал по родному краю, не раз удивлялся, до какой степени сельские жители не знают своей местности. Из всего окружающего крестьянину известно лишь то, что непосредственно затрагивает его интерес земледельца.

Итак, ситуация оптимальная для познания, другими словами, для усвоения максимума объективных элементов наивысшего качества, лежит где-то между чистым созерцанием и неотложным интересом. Известный жизненный интерес, не слишком определенный и глубокий, должен организовывать наше созерцание, ограничивая, ограждая его, вооружая перспективой внимания. Что касается природы, можно с уверенностью сказать, что *ceteris paribus** именно охотник, точнее, охотник-любитель лучше всего знает ландшафт, вступая в плодотворное и богатое общение с его типами. Лучше всего мы знаем те города, где

* при прочих равных условиях (лат.).

были влюблены. Любовь направляла наш дух на предмет наслаждения, в то же время не превращая его в сознательно избранный центр виденного.

И лучше всего запомнились нам не картины в музее, куда мы пришли, чтобы специально «на них посмотреть», а гравюра на серой стене гостиной, куда забрели совершенно случайно. И, вероятно, нам ничего не скажет концертное исполнение той самой песни, которая однажды заставила сердце трепетать, когда, бредя по улице и думая о своем, мы вдруг слышали голос слепого музыканта. Без сомнения, подлинное назначение человека не в созерцании. Вот почему наивно думать, будто для того, чтобы созерцать, нужно просто начать это делать, иными словами, превратить созерцание в исходный акт. Нет. Только отведя созерцанию второстепенную роль, только вооружась динамизмом определенного интереса, мы, возможно, обретаем оптимальную способность познания, восприятия окружающего.

В противном случае первый же человек, оказавшийся пред лицом Мироздания, охватил бы его своим взором, узрел бы его целиком. На самом деле Вселенная открывается постепенно, круг за кругом и каждая жизненная ситуация, стремление, интерес, потребность служат как бы особым органом, посредством которого человек исследует некую часть своего окружения.

Итак, конкретные интересы, предпочтения, потребности, чувства — все, что изначально представлялось препятствием для чистого созерцания, есть его необходимая предпосылка. Любая человеческая судьба, если она до конца не искалечена, — это уникальный аппарат наблюдения, целая обсерватория, которая неповторима, пусть даже чья-то другая кажется лучше. Самая незаметная, горькая жизнь может иметь высокое теоретическое значение, смысл, незаменимый никаким другим (хотя

только определенные типы существования представляются условия для наилучшего познания).

Оставив столь сложные темы, ограничимся выводом: созерцание существует лишь благодаря минимуму действия. Поскольку романная флора и фауна вымышлены, автор должен внушить нам известный воображаемый интерес, увлечение, которые станут динамической основой, перспективой видения. Чем больше развивалась психологическая проницательность читателя, тем быстрее утолялась его страсть к драматизму. Современный романист уже не в состоянии выдумать увлекательный длинный сюжет. На мой взгляд, в этом нет ничего страшного. Толики драматизма и напряжения вполне достаточно. Но эта толика совершенно необходима. Пруст доказал необходимость движения, создав роман, разбитый параличом.

Роман как «Провинциальная жизнь»

Итак, поставим все на свои места: действие, сюжет не субстанция романа, а его чисто механическая основа, внешний каркас. Суть жанра (я говорю лишь о современном романе) не в том, что происходит, а в том, что вообще несводимо к этому «происходить» и заключается в чистом «жить»: в жизни, бытии, присутствии персонажей, взятых вместе, в их обстановке. И вот косвенное тому подтверждение: в лучших романах запоминаются не происшествия или события, а их участники. Заглавие книги звучит словно имя города, где прожил какое-то время: слыша его, тотчас же вспоминаешь климат, своеобразный городской запах, особый говор жителей, типичный ритм существования. И лишь потом случайно на ум приходит какая-нибудь конкретная сцена.

Поэтому ошибочно думать, будто романист должен прежде всего сочинить «действие». Годится любое. Классическим примером независимости читательского удовольствия от сюжета служит для меня одна книга Стендаля, которую автор так и не дописал до конца и которая неоднократно издавалась под разными заглавиями: «Люсьен Левей», «Зеленый охотник» и т. д. Написано не так мало, и тем не менее перед нами ничего не происходит. Некий молодой офицер, прибыв в столицу департамента, влюбляется в даму из высшего провинциального света. Мы свидетели постепенного созревания великого чувства в том и в другом персонаже. Вот и все. Текст обрывается, не дойдя и до завязки. И тем не менее мы чувствуем, что могли бы и дальше бесконечно листать страницы, посвященные этому уголку Франции, этой даме — легитимистке, этому молодому военному в мундире амарантового цвета.

А разве нужно что-то иное? Да и к чему тут еще какие-то невероятные, «интересные» приключения! В романе просто не может быть ничего подобного (не говорю здесь о повестях с продолжением, о научно-приключенческих рассказах в стиле По, Уэллса и т.п.). Жизнь не что иное, как повседневность, и не по ту ее сторону, в невероятном, берет начало особая прелесть романа, а именно по эту, в обыкновенном чуде простого мгновения*. Чтобы пробудить интерес к роману, автор должен не

* Возведение повседневного в высокий эстетический ранг, при строгом исключении всего чудесного, — основной различительный признак, характеризующий жанр «романа» в том смысле слова, в котором я здесь употребляю его. Надеюсь, читатель не обманется случайной языковой двусмысленностью, допускающей использование одного и того же термина и для рыцарского романа, и для полной его противоположности — «Дон Кихота». В сущности, чтобы определить жанровые признаки романа в самом современном смысле слова, достаточно ответить на вопрос: на чем может основываться эпическое произведение, которое самой своей формой исключает все необычное и чудесное? — *Примеч. автора.*

расширять наш повседневный горизонт, а, наоборот, максимально сузить его. Объяснюсь.

Если под «горизонтом» понимать круг людей и событий, составляющих мир каждого человека, то легко впасть в заблуждение, вообразив, что, с одной стороны, есть широкие, богатые, разнообразные горизонты (и именно они по-настоящему интересны), а с другой — настолько унылые и узкие, что ими никак невозможно заинтересоваться. Девушка из *comptoir** считает, что ее мир гораздо менее драматичен, чем мир герцогини: на самом же деле герцогиня так же тоскует в своем ослепительном дворце, как и романтически настроенная буфетчица в убогой, темной клетушке. Жизнь герцогини — такая же повседневность, как всякая другая.

Все как раз наоборот. Нет горизонта, который сам по себе, по своему содержанию был бы особенно интересен. Любой горизонт, широк он или узок, светел или темен, весел или уныл, может вызвать интерес. Надо лишь сделать так, чтобы он стал условием нашей жизни. Жизненная сила настолько щедра, что даже в мертвой пустыне находит место для роста и размножения. Мы, горожане, уверены, что умрем от тоски где-нибудь в глуши. Но, если судьба нас туда действительно забросит, вскоре мы обнаружим, что мало-помалу начинаем проявлять интерес к местным мелким интригам. Что-то в этом роде происходит с восприятием женской красоты мужчинами, попавшими на Фернандо-По. Прибыв туда, они видеть не могут туземных женщин, но через какое-то время негритянки — *буби* — кажутся им принцессами из Вестфалии.

На мой взгляд, все это имеет прямое отношение к проблемам романа. Стратегия автора — изъять читателя из горизонта реальности, поместив в небольшой, замк-

* конторка, касса, прилавок (*фр.*).

нутый воображаемый мир, составляющий внутреннее пространство романа. Короче говоря, писатель должен «переселить» читателя, пробудить в нем интерес к выдуманным героям, которые, несмотря на всю свою привлекательность, никогда не столкнутся с людьми из плоти и крови, требующими внимания в жизни. С моей точки зрения, великая тайная цель романиста — превратить каждого читателя во временного провинциала. Вот почему выше я утверждал: вместо того чтобы расширять читательский горизонт, автор должен его сужать, ограничивать. Это единственная возможность вызвать у читателя интерес к происходящему.

Повторяю, нет горизонта, интересного содержанием. Любой интересен исключительно своей формой, формой горизонта, то есть целого мира. И микрокосм, и макрокосм в равной степени космосы; они различаются между собой лишь длиной радиуса. Но для обитателей каждого из миров этот радиус абсолютен. Вспомним гипотезу Пуанкаре, вдохновившую Эйнштейна: «Если бы наш мир сжался и уменьшился в размерах, все в нем для нас осталось бы без перемен».

Отношение между горизонтом и интересом, то, что любой горизонт будит к себе свой интерес, есть жизненный закон. И именно он в эстетическом плане создает возможность романа.

На этот закон опираются определенные жанровые принципы.

Обособленный мир

Что мы чувствуем, закрывая великий роман? Словно очнувшись от иной жизни, мы вдруг покидаем мир, который никак не сообщается с нашим, реальным. Без всякого

перехода, именно потому, что между ними нет никакой связи, мы попадаем из одного мироздания в другое. Мы только что были в Парме — с графом Моска, Сансеверинной, Клелией, Фабрицио*: жили их жизнью, тревогами, в одном с ними времени и пространстве, и вот мы вновь в своей комнате, в кругу привычных дел и забот. Странное чувство! Внезапный шквал воспоминаний то и дело уносит нас вновь в бушующую стихию романа, и тогда, борясь с волнами, нам волей-неволей приходится плыть назад, к берегу повседневного. Посторонний, взглянув на нас в такую минуту, непременно поймает наш растерянный взгляд потерпевших крушение.

Роман — литературное произведение, производящее подобный эффект. Это особый вид современного искусства, наделенный волшебной, необоримой и несравненной мощью. И все, что не способно оказать такого воздействия, заведомо плохо, несмотря на какие-либо другие достоинства. О великая, животворная сила, дарующая свободу, радость бесчисленных воплощений, расширяющая границы нашего мира!

Но для достижения своей цели автор, во-первых, должен заманить нас в замкнутый мир романа, а во-вторых, отрезать пути к отступлению. Первое просто: достаточно легкого внушения — и мы уже у ворот вымысла, предусмотрительно распахнутых романистом. Второе труднее. Автору нужно создать замкнутое пространство — без окон и щелей, — так чтобы изнутри был неразличим горизонт реальности. А как же иначе! Когда перед глазами огромный подлинный мир, а нам предлагают малый вымышленный мирок, с его проблемами и заботами, тревогами и страстями, мы вряд ли сделаем выбор в пользу последнего. Разве можно любоваться пейзажем

* Герои романа Стендаля «Пармская обитель» (1839).

живописца в настоящем саду? Нарисованный сад цветет лишь в полумраке гостиной, пробивая в серой стене яркую брешь, сквозь которую сияет воображаемый полдень.

Настоящий романист не только умеет забывать о реальности, лежащей за гранью произведения, — он заставляет забыть о ней и читателя. Пусть писатель, называющий себя «реалистом», творит вселенную своего романа из самого что ни на есть реального материала, но едва мы переселились в созданный им мир, подлинная действительность перестает занимать нас.

Ясно, нежизнеспособен любой роман, чей создатель преследовал какую бы то ни было побочную цель, будь то политика, идеология, аллегория или сатира. Всякая деятельность подобного рода несовместима с иллюзией, но, напротив, находится в тесной связи с горизонтом реальных поступков каждого человека. Касаться таких вопросов — все равно что выталкивать нас наружу из вымышленного замкнутого пространства, обрекая на живую и тесную связь с абсолютным миром, в котором протекает наша подлинная жизнь. Какое мне дело до судеб вымышленных героев, если автор заставляет меня столкнуться со сложной проблемой моей собственной политической или философской судьбы!

Задача романиста — притупить у читателя чувство действительности, под гипнозом заставив его вести мнимое существование.

Вот источник глубокого противоречия, заключенный в так называемом «историческом романе». Силясь придать вымышленному космосу черты исторической достоверности, этот жанр неизбежно рождает конфликт между двумя горизонтами, каждый из которых требует определенного настроя нашего зрительного аппарата. В результате нам приходится то и дело менять точку зрения. Читатель не в состоянии одновременно смотреть

предложенный ему романистом сон и предаваться строгим историческим размышлениям. На каждой странице он в замешательстве: и события, и действующие лица можно с равным правом отнести и к вымыслу, и к истории. В последнем случае все приобретает мнимый, условный характер. Попытка сделать взаимопроницаемыми два мира приводит к их взаимоуничтожению; поневоле приходишь к выводу: писатель либо искажает историю, слишком приближая ее к нам, либо снижает эстетическую ценность романа, слишком удаляя его в абстрактный план исторической истины.

Обособленность лишь та форма, которую обретает в романе императив любого искусства: довлеть самому себе. Вот что смущает незрелые умы и робкие души! Ничего не поделаешь, таков суровый закон: всякая вещь лишь то, что она есть, и только. Находятся, однако, люди, желающие быть всем сразу. Не довольствуясь тем, что они художники, они хотят вдобавок быть политиками, вождями, правителями или воображают себя пророками, глашатаями божественной мудрости, властителями человеческих дум! То, что они предъявляют так много требований к себе лично, еще полбеды; хуже, что их ненасытное честолюбие требует ото всего на свете той же многоликости. И совершенно напрасно. Искусство мстит всякому, кто желает быть больше чем художником, не давая своим творениям стать хотя бы произведениями искусства. Так, политика поэта лишь наивный, беспомощный жест.

Эстетика романа требует создания замкнутого мира, неподвластного влиянию внешней реальности. Именно поэтому роман не может одновременно быть философией, политическим памфлетом, социологическим исследованием или проповедью. Он только роман, и его замкнутое внутреннее пространство существует лишь в

своих пределах, не переходя во что-либо ему внеположное. Так, если нам, спящим, захочется перенести реальный предмет в круг наших грез, стоит потянуться за ним — и все сновидение бесследно исчезнет. Во сне наша рука — тень, бессильная удержать даже розовый лепесток. Два отделенных друг от друга мира настолько непроницаемы, что гибнут от малейшего соприкосновения. В детстве мы не раз тщетно пытались дотронуться пальцем до радужного мира внутри мыльного пузыря. Невесомый, парящий в воздухе космос внезапно взрывался, оставив на мостовой мыльную каплю.

Безусловно, после того как мы очнулись от сладкого сомнамбулического сна, роман способен будить в нас всевозможные жизненные отклики. Но это не важно. Символика «Дон Кихота» не заключена в самом романе, а строится нами извне в ходе размышления о прочитанном. Религиозные и политические взгляды Достоевского не имеют в его книгах прямого, непосредственного смысла: они такие же плоды вымысла, как и внешность героев или их бурные страсти.

Романист, взгляни на врата флорентийского баптистерия работы Лоренцо Гиберти! В череде небольших, заключенных в рамку рельефов здесь пред тобой — все Творение: люди, звери, плоды, дома... Бескрайняя радость — вот что испытывал скульптор, создавая одну за другой эти формы. Мы и поныне чувствуем трепетный восторг, с которым гениальная рука ваяла крутой лоб овна, внезапно явленного Аврааму в миг жертвоприношения, округлость яблока, хижину вдалеке. Подлинный романист — это рассказчик, без усталости выдумывающий людей и события, слова и страсти, творец, без остатка изливающий всего себя в раскаленную форму романа; это личинка, которая ткёт свой волшебный кокон и, позабыв о покинутом мире, неустанно отделяет собственное жи-

лице, плотно законопачивая все щели, пропускающие свет и воздух реального.

Или романист — это попросту тот, кто заинтересован в воображаемом мире больше, чем в каком-либо ином. Автор, равнодушный к сотворенному им мирозданию, никогда не сможет заинтересовать им других. Романист — чудесный сновидец, способный погрузить в свои дивные сны и нас, читателей.

Важнейшие события

То, что я называю замкнутостью, яснее всего выступает при сравнении романа с лирикой. Лирическое чудо царит над реальностью, словно фонтан над зеленой луга. Лирику созерцают извне, как статую или греческий храм. Она не вступает в конфликт с реальностью, а скорее приобретает особое очарование по контрасту с ней, с олимпийской невозмутимостью являя миру наготу своей ирреальности. Напротив, на роман мы смотрим исключительно изнутри, как, впрочем, и на окружающий мир, поскольку каждый в силу непреложного метафизического закона ощущает себя его центром в любое жизненное мгновение. Наслаждаясь романом, мы должны быть окружены им со всех сторон, отнюдь не воспринимая его как некий предмет в ряду прочих. Именно потому что это «реалистический» жанр, он абсолютно несовместим с окружающей реальностью. Строя собственный внутренний мир, роман неизбежно уничтожает мир внешний.

Вот решающее условие, все остальные направлены на его соблюдение, подчинены одной-единственной задаче —

создать обособленное пространство. Например, необходимость непосредственно представлять героев, а не рассказывать о них связана с тем, что романист должен заслонить реальный мир вымышленным. Чтобы скрыть от глаз какой-то предмет, нужно попытаться заслонить его. В отличие от живых призраки не отбрасывают теней и не заслоняют собой мироздания. По этим двум приметам обитатели загробного мира судят о реальности спускающегося к ним Данте. Миссия писателя не описывать героев или обуревающие их чувства, а явить их нам, чтобы, присутствуя во плоти, они закрыли от нас реальность.

Подобного результата можно добиться лишь избытком подробностей. Автор способен отгородить читателя от внешнего мира, только взяв его в плотное кольцо тонко подмеченных деталей. Да и вся наша жизнь разве не бесконечная череда пустяков? Не так трудно убедиться в том, что не спишь, — довольно ущипнуть себя. Роман — сон, где нам приснился такой щипок.

Все чрезмерное лишь оттеняет забытую норму. Пруст, выходя в своих творениях за пределы мыслимого богатства подробностей, заставляет вспомнить: все замечательные романы содержат огромное (хотя и не до такой степени) количество пустяков. Книги Сервантеса, Стендаля, Диккенса перенасыщены подробностями. Во всех них — такое число точно подмеченных мелочей, что мы просто не в состоянии удержать их в памяти. Мало того, читатель твердо уверен: за каждой сообщенной деталью стоит немало других, которые писатель как бы вынес за скобки. Великие романы — это возведенные мириадами мельчайших полипов коралловые рифы, чья кажущаяся хрупкость способна выдержать натиск морских валов.

Вот почему романисту лучше всего писать лишь о том, что он действительно знает. Это позволяет ему творить

ex abundantia*. Если писатель мнит себя знатоком, а сам спотыкается на каждом шагу, — пусть отложит перо.

Посмотрим правде в глаза. Роману недостаточно крылатого вдохновения. Следует признать со всей прямо-той: великие книги, и поныне доставляющие нам радость, непросты для восприятия. Поэт легко пускается в путь, взяв лиру под мышку. Романист трогается с места, только тщательно упаковав весь свой немыслимый скарб, словно бродячий цирк или цыганский табор. На его плечах — *atrezzo*** целого мира.

Упадок и совершенствование

Здесь и пролегают границы романа, как бы обозначая на его континенте уровень моря, над которым возвышаются прочие признаки, задающие минимальную и максимальную высоту произведений.

Подробности, входящие в ткань романа, крайне разнообразны. Это и общие мысли, которыми день ото дня руководствуется обыватель, и те ценнейшие наблюдения, которые можно добыть, лишь нырнув в глубинные слои жизни. Качество подробностей зависит от уровня книги. Подлинный романист не ограничивается внешним, общим представлением героев, а как бы погружается в каждого из них и вновь всплывает на поверхность, зажав в руке драгоценные жемчужины. Именно поэтому его не понимает средний читатель.

На заре жанровой эволюции различие между хорошими и плохими романами было невелико. Поскольку еще ничего не было сказано, и в тех, и в других речь шла лишь о самом необходимом. Теперь, в великую пору

* от изобилия (лат.). Здесь: не ограничивая себя.

** реквизит (ит.).

упадка, это различие увеличилось. Тем самым появилась прекрасная, хотя и трудно осуществимая возможность создать шедевр. Только незрелый ум способен считать, что эпоха упадка — время во всех отношениях неблагоприятное. Напротив, подлинные шедевры были плодами упадка, когда накопленный опыт до крайности обострял творческие способности. Упадок жанра, как и упадок расы, гибелен лишь для людей и произведений среднего типа. И хотя ближайшее будущее искусства и мировой политики (но не науки и философии) видится мне в мрачном свете, я, исходя из вышеуказанных соображений, думаю, что роман относится к числу тех немногих человеческих предприятий, где еще можно достичь многого. Вероятно, будущие романы превзойдут предшественников. Все говорит о том, что как регулярное жанровое производство, как пригодное к эксплуатации месторождение роман себя исчерпал. Однако на большой глубине таятся скрытые жилы, которые, должно быть, содержат тончайшие образцы породы. Удел избранных духом — вести там свой смелый поиск, прокладывая в недрах земли новые ходы.

Высшей красоты — а это почти всегда красота последней поры — роман еще не достиг. Ни его форма (структура), ни его материал еще не извели окончательной отделки. Что до материала, спешу указать на одно обстоятельство, дающее повод для оптимизма.

Материал романа — психология воображения. Последняя развивается наравне с двумя своими сестрами — научной психологией и обыденной психологической интуицией. За последние пятьдесят лет в Европе знания о человеческой душе развивались необыкновенно стремительно. Возникла научная психология, и уже первые ее шаги превзошли все ожидания. Одновременно получила развитие тонкая способность чувствовать, постигать

собственный внутренний мир и своего ближнего. Неудача романа у нынешнего читателя во многом обусловлена уровнем современных психологических знаний, накопленных в научной и стихийной форме. Авторы, еще вчера считавшиеся гениальными, сегодня кажутся наивными, неумелыми — читатель начинает превосходить писателя в психологии. (Быть может, этим и объясняется европейский политический кризис, последствия которого будут куда серьезнее и опаснее его нынешних проявлений. Кто знает, не жидется ли пока существование государства современного типа лишь на непроходимой психологической глупости граждан?)

Другой симптом того же порядка — скука при чтении классиков исторической мысли. Психологические мотивировки, выдвигаемые в их сочинениях, только раздражают наш, по-видимому, более тонкий вкус, оставляя ощущение чего-то неудобоваримого и сумбурного.

Неужели роман и история не поставят достижений психологии себе на службу? Человечество всегда удовлетворяло свои потребности, как только они делались ясными и конкретными. Без преувеличения можно сказать: у истоков самых сильных интеллектуальных переживаний, которые нам сулит будущее, стоят помимо философии история и роман.

Психология воображения

Эти заметки могут продолжаться до бесконечности, поэтому необходимо самым решительным образом положить им предел. Следующий шаг будет роковым. До сих пор я старался держаться в рамках широких обоб-

щений, всячески избегая конкретных примеров. В эстетике, как и в морали, единственная роль общих принципов — служить границей, за которой оставляют частные случаи. Безусловно, в решении такого рода задач — немалый соблазн для исследователя, который, однако, должен ясно понимать, что вступает в область поистине беспредельного. Итак, пока еще не поздно остановиться, нужно сделать это не медля.

И все-таки не могу удержаться от последней реплики.

Как я уже сказал, материалом романа является прежде всего психология воображения. Но что это значит, в двух словах не объяснить. Обыкновенно считают, что психология, как и экспериментальная физика, опирается исключительно на факты. Тогда романисту остается лишь наблюдать, копировать человеческие души, как они есть. Иными словами, нельзя воображать, выдумывать психологические миры, как геометрические фигуры. На самом деле удовольствие от чтения романов совершенно иного свойства.

Представляя психологический процесс, романист отнюдь не добивается, чтобы мы восприняли его описание как ряд фактов — кто может поручиться за их реальность? Наоборот, автор пробуждает нашу способность непосредственного представления — сродни той, что позволяет мыслить математически.

И не надо меня уверять, будто описание психологического процесса тем лучше, чем ближе оно к конкретным случаям из жизни. Не хватало еще романисту опираться на случайный опыт того или иного читателя! Вспомним: особое очарование Достоевского — именно в невероятных характерах его героев. Вполне возможно, какой-нибудь севильский читатель никогда не сталкивался с людьми, напоминающими тревожной, бунтующей душой семью Карамазовых. Однако независимо от впечатлительности такого

читателя душевная механика героев Достоевского предстает ему столь же неизбежной и очевидной, как доказательство геометрической теоремы, где рассматриваются никем не виданные тысячеугольники.

Подобно математике, психология обладает априорной очевидностью воображаемого построения. Где известны только физические законы и не действуют законы воображения, вообще нельзя ничего построить: итог неизбежно оказывается пустым, бессмысленным, неопределенным капризом. Только крайним невежеством можно объяснить чудовищный вывод, будто психология романа тождественна обыденной психологии. Столь убогое понимание обыкновенно именуют реализмом. Здесь не место входить в разбор данного термина, до того неопределенного, что я всегда употребляю его в кавычках, тем самым выражая к нему недоверие. И как не усомниться в безусловных изъянах понятия, если его нельзя применить даже к тем книгам, которые, по-видимому, сами вызвали его к жизни? Даже если бы герои романов существовали на самом деле, читатель никогда бы не согласился считать их реальными: слишком они отличаются от окружающих. Романным душам незачем походить на реальные. Разумеется, в числе прочего роман способен давать психологические истолкования реально существующим социальным кругам и типам, однако эта второстепенная черта — только одна из пикантных подробностей жанра. (Я оставляю открытым вопрос, почему роман способен вобрать в себя столько посторонних искусству элементов.) В роман входит практически все — наука, религия, риторика, социология, эстетика, — однако все это и многое другое, заполнив объем романного тела, в конечном счете теряет непосредственное, прямое значение. Другими словами, в романе можно обнаружить любую социологию, но сам роман не может быть

социологическим. Удельный вес посторонних элементов в произведении зависит исключительно от способности автора растворить их в атмосфере романа. Но это вопрос частный, и я спешу от него отстраниться.

Отмеченная способность творить духовную фауну будет, по всей вероятности, главной пружиной романов будущего. Все говорит об этом. Интерес, вызываемый внешней механикой сюжета, все неизбежнее сходит на нет. Тем лучше: это позволяет подчинить роман интересам более высокого порядка — внутренней механике персонажей. Будущее жанра, на мой взгляд, в придумывании не «действий», а интересных душ.

Заключение

Таковы размышления, поводом для которых послужила одна из статей Барохи. Повторяю, я не ставил задачей обучать тех, кто более меня сведущ в этих вопросах. Не исключено, что все сказанное — чистое заблуждение. Это не так важно, поскольку у меня есть надежда, что мои заметки воодушевят молодых писателей, серьезно относящихся к делу. Быть может, они начнут искать те потаенные возможности, которыми еще богата уже достаточно древняя судьба романа.

Несомненно одно: им не найти бесценных подземных сокровищ, если, садясь за свой роман, они не испытывают глубокого ужаса. От тех же, кто так и не осознал всей тяжести положения, в котором оказался этот литературный жанр, я ничего не жду.

В ПОИСКАХ ГЕТЕ

Письмо к немецкому другу

Дорогой друг, Вы просите меня написать что-нибудь о Гете к столетней годовщине со дня его смерти, и я попробовал уяснить себе, смогу ли удовлетворить Вашу просьбу. Давно не перечитывая Гете — интересно почему? — я вновь обратился к обширным томам его полного собрания сочинений, однако вскоре понял, что одной доброй воли здесь недостаточно и я не смогу выполнить Вашей просьбы по целому ряду причин. Прежде всего я не гожусь на то, чтобы отмечать столетний юбилей. А Вы? Да и вообще найдется ли сегодня хоть один европеец, склонный к подобным занятиям? Нас слишком тревожит наш 1932 год, чтобы уделять внимание событиям далекого 1832-го. Впрочем, самое важное даже не это. Важнее всего, что, хотя наша жизнь в 1932-м стала от начала до конца проблематичной, самое проблематичное в ней — ее связь с прошлым. Люди еще не отдали себе в этом полного отчета, поскольку и настоящее, и будущее всегда полны для них зримого драматизма. Вполне очевидно: и настоящее, и будущее не раз уже представляли человеку с большей остротой и напряженностью. То, что возводит нашу сегодняшнюю ситуацию в ранг небывалой сложности среди прочих ис-

торических событий, связано не столько с этими двумя временными измерениями, сколько с другим. Пристальнее взглянув на свое нынешнее положение, европеец неизбежно приходит к выводу, что источник его отчаяния не настоящее и не будущее, а прошлое.

Жизнь — акт, устремленный вперед. Мы живем из будущего, ибо жизнь непреложно состоит в деянии, в становлении жизни каждого самою собой. Называя «действием» дело, мы искажаем смысл этой серьезной и грозной реальности. «Действие» только начало дела, момент, когда мы решаем, что делать, момент выбора. А значит, правильно сказано: *Im Anfang war die Tat**. Но жизнь не только начало. Начало — это уже *сейчас*. А жизнь — длительность, живое присутствие в каждом мгновении того, что настанет потом. Вот почему она отягощена неизбежным императивом осуществления. Мало просто действовать, другими словами, принять решение, — необходимо произвести задуманное, сделать его, добиться его исполнения. Это требование действительного осуществления в мире, за пределами нашей чистой субъективности, намерения и находит выражение в «деле». Оно заставляет нас искать средства, чтобы прожить, осуществить будущее, и тогда мы открываем для себя прошлое — арсенал инструментов, средств, предписаний, норм. Человек, сохранивший веру в прошлое, не боится будущего: он твердо уверен, что найдет в прошлом тактику, путь, метод, которые помогут удержаться в проблематичном завтра. Будущее — горизонт проблем, прошлое — твердая почва методов, путей, которые, как мы полагаем, у нас под ногами. Дорогой друг, представьте себе ужасное положение человека, для кого прошлое, иными словами, надежное, внезапно стало проблематичным, обер-

* «В начале было дело» (нем.) — цитата из «Фауста».

нулось бездонной пропастью. Если раньше опасность, по его мнению, была впереди, теперь он чувствует ее и за спиной, и у себя под ногами.

Но разве не это мы переживаем сегодня? Мы мнили себя наследниками прекрасного прошлого, на проценты с которого надеялись прожить. И теперь, когда прошлое давит на нас ощутимее, чем на наших предшественников, мы оглядываемся назад, протягивая руки к испытанному оружию; но, взяв его, с удивлением видим, что это картонные мечи, негодные приемы, театральный *atrezzo**, который разбивается на куски о суровую бронзу нашего будущего, наших проблем. И внезапно мы ощущаем себя лишенными наследства, не имеющими традиций, грубыми дикарями, только что явившимися на свет и не знающими своих предшественников. Римляне считали патрициями тех, кто мог сделать завещание или оставить наследство. Остальные были пролетариями — потомками, но не наследниками. Наше наследство заключалось в методах, или в классиках. Но нынешний европейский или мировой кризис — это крах всего классического. И вот нам кажется, что традиционные пути уже не ведут к решению наших проблем. Можно продолжать писать бесконечные книги о классиках. Самое простое, что можно с чем-либо сделать, — написать об этом книгу. Гораздо труднее жить этим. Можем ли мы сегодня жить нашими классиками? Не страдает ли ныне Европа какой-то странной духовной пролетаризацией?

Капитуляция Университета перед насущными человеческими потребностями, тот чудовищный факт, что в Европе Университет перестал быть *pouvoir spirituel***,

* реквизит (*ит.*).

** духовной мощью (*фр.*).

только одно из следствий упомянутого кризиса: ведь Университет — это классика.

Вне всяких сомнений, эти обстоятельства решительно противоречат оптимистическому духу столетних юбилеев. Справляя столетнюю годовщину, богатый наследник радостно перебирает сокровища, завещанные ему временем. Но печально и горько перебирать потерявшее цену. И единственный вывод здесь — убеждение в глубоких изъянах классика. Под беспощадным, жестоким светом современной жизненной потребности от фигуры классика остаются лишь голые фразы и пустые претензии. Несколько месяцев назад мы справили юбилей двух титанов, Блаженного Августина и Гегеля, — плачевный результат налицо. Ни об одном из них так и не удалось сказать ничего значительного.

Наше расположение духа совершенно несовместимо с культом. В минуту опасности жизнь отряхает с себя все не имеющее отношения к делу; она сбрасывает лишний вес, превращаясь в чистый нерв, сухой мускул. Источник спасения Европы — в сжатии до чистой сути.

Жизнь сама по себе и всегда — кораблекрушение. Терпеть кораблекрушение не значит тонуть. Несчастный, чувствуя, с какой неумолимой силой затягивает его бездна, яростно машет руками, стремясь удержаться на плаву. Эти стремительные взмахи рук, которыми человек отвечает на свое бедствие, и есть культура — плавательное движение. Только в таком смысле культура отвечает своему назначению — и человек спасается из своей бездны. Но десять веков непрерывного культурного роста принесли среди немалых завоеваний один существенный недостаток: человек привык считать себя в безопасности, утратил чувство кораблекрушения, его культура отяготилась паразитическим, лимфатическим грузом. Вот почему должно происходить некое наруше-

ние традиций, обновляющее в человеке чувство шаткости его положения, субстанцию его жизни. Необходимо, чтобы все привычные средства спасения вышли из строя и человек понял: ухватиться не за что. Лишь тогда руки снова придут в движение, спасая его.

Сознание потерпевших крушение — правда жизни и уже потому спасительно. Я верю только идущим ко дну. Настала пора привлечь классиков к суду потерпевших крушение — пусть они ответят на несколько неотложных вопросов о подлинной жизни.

Каким явится Гете на этот суд? Ведь он — самый проблематичный из классиков, поскольку он классик второго порядка, Гете — классик, живущий, в свою очередь, за счет других классиков, прототип духовного наследника (в чем сам он отдавал себе полный отчет). Одним словом, Гете — патриций среди классиков. Этот человек жил на доходы от прошлого. Его творчество сродни простому распоряжению унаследованными богатствами — вот почему и в жизни, и в творчестве Гете неизменно присутствует некая филистерская черта, свойственная любому администратору. Мало того: если все классики в конечном счете классики *во имя* жизни, он стремится быть художником самой жизни, классиком *жизни*. Поэтому он строже, чем кто-либо, обязан отчитаться *перед* жизнью.

Как видите, вместо того чтобы прислать Вам что-нибудь к столетию Гете, я вынужден просить Вас об этом сам. Операция, которой следовало бы подвергнуть Гете, слишком серьезна и основательна, чтобы ее смог принять кто-либо, кроме немца. Возьмите на себя труд ее осуществить. Германия задолжала нам хорошую книгу о Гете. До сих пор наиболее удобочитаемой была книга Зиммеля, хотя, как и все его сочинения, она страдает неполнотой, поскольку этот острый ум, своего рода философ-

ская белка, никогда не делал из выбранного предмета проблемы, превращая его скорее в помост для виртуозных упражнений своей аналитической мысли. Кстати, указанный недостаток присущ всем немецким книгам о Гете: автор пишет работу, посвященную Гете, но не ставит проблемы Гете, не ставит под сомнение его самого, не подводит своего анализа *под* Гете. Только обратите внимание, как часто употребляют писатели слова «гений», «титан» и прочие бессмысленные вокабулы, к которым никто, кроме немцев, давно уже не прибегает, и Вы поймете истинную цену подобных пустых словоизвержений на темы Гете. Не следуйте им, мой друг! Сделайте то, о чем говорил Шиллер. Попробуйте обойтись с Гете как с «неприступной девственницей, которой нужно сделать ребенка, чтобы опозорить ее перед всем светом». Дайте нам Гете для потерпевших кораблекрушение!

Не думаю, чтобы Гете отказался явиться на суд насущных потребностей жизни. Сам этот вызов — вполне в духе Гете и вообще наилучший способ с ним обойтись. Разве он не делал того же по отношению к остальному, ко всему остальному? *Hic Rhodus, hic salta*. Здесь жизнь — здесь и танцуй. Кто хочет спасти Гете, должен искать его здесь.

Однако я не вижу сейчас прока в исследовании творчества Гете, если оно не ставит — и притом в принципиально иной форме — проблемы его жизни. Все написанные до сих пор биографии Гете грешат излишней монументальностью. Как будто авторы получили заказ изваять статую Гете для городской площади или составить туристический путеводитель по его миру. Задача в конечном счете была одна — ходить *вокруг* Гете. Вот почему им так важно было создать масштабную фигуру, с отчетливой внешней формой, не затрудняющей глаз. Любая монументальная оптика отличается прежде всего четырьмя недостатками: торжественным видением из-

вне, которое отделено от предмета известным расстоянием и лишено исходного динамизма. Подобный монументализм только сильнее бросается в глаза от тех бесчисленных анекдотов и подробностей, которые сообщает биограф: избранная макроскопическая, удаленная перспектива не позволяет нам наблюдать сам момент обретения формы, так что все собранные факты начисто лишаются для нас самомалейшего значения.

Гете, которого прошу у Вас я, должен быть изображен с использованием обратной оптики. Я хочу, чтобы Вы показали нам Гете изнутри. Изнутри кого? Самого Гете? Однако *кто* такой Гете? Поскольку я не уверен, что Вы поняли меня правильно, постараюсь уточнить свою мысль. Когда Вы недвусмысленно спрашиваете себя «кто я?» — не «что я?», а именно «кто» тот «я», о котором я твержу каждый миг моего повседневного существования?», — то Вам неизбежно открывается чудовищное противоречие, в которое постоянно впадает философия, называя «я» самые странные вещи, но никогда — то, что Вы называете «я» в Вашей обыденной жизни. Это «я», которое составляет Вас, не заключается, мой друг, в Вашем теле, а равно и в Вашем сознании. Конечно, Вы имеете дело с определенным телом, душой, характером, точно так же как и с наследством, оставленным родителями, землею, где родились, обществом, в котором живете. Но так же как Вы — не Ваша печень, больная или здоровая, так Вы и не Ваша память, хорошая она или плохая, а также и не Ваша воля, сильная она или слабая, и не Ваш ум, будь он острый или посредственный. «Я», которое составляет Вас, обретает все это — тело или психику, — лишь когда само участвует в жизни. Вы — тот, кто должен жить с ними и *посредством их*; Вы, вероятно, всю жизнь будете яростно протестовать против того, что Вам дано, к примеру

против отсутствия воли, так же как протестуете против Вашего больного желудка или холода в своей стране. Итак, душа настолько же *внеположна* «я», которое составляет Вас, как и пейзаж, окружающий Ваше тело. Если хотите, я даже готов признать, что Ваша душа — самое близкое, с чем Вы сталкиваетесь, но и она. — не Вы. Надо освободиться от традиционного представления, которое неизменно сводит реальность к какой-либо вещи — телесной или психической. Вы — не вещь, а тот, кто вынужден жить с вещами и *среди* них, и не любую из жизней — одной определенной. Жизни вообще не бывает. Жизнь — неизбежная необходимость осуществить именно тот проект бытия, который и есть каждый из нас. Этот проект, или «я», не идея, не план, задуманный и произвольно избранный для себя человеком. Он дан до всех идей, созданных человеческим умом, и до всех решений, принятых человеческой волей. Более того: как правило, мы имеем о нем лишь самое смутное представление. И все-таки он — наше подлинное бытие, судьба. Наша воля в силах *осуществить* или *не осуществить* жизненный проект, который в конечном счете есть мы, но она не в силах его исправить, переиначить, обойти или заменить. Мы с неизбежностью — тот программный персонаж, который призван осуществить самого себя. И окружающий мир, и собственный наш характер могут так или иначе облегчать или затруднять это самоосуществление. Жизнь, в самом прямом смысле этого слова, драма, ибо она есть жестокая борьба с вещами (включая и наш характер), борьба за то, чтобы быть действительно тем, что содержится в нашем проекте.

Отсюда — новая, принципиально отличная от рутинной структура биографии. До сих пор биографу удавалось достичь успеха лишь постольку, поскольку он был психологом. Владея даром переселяться в человека, он

открывал в нем часовой механизм — характер и душу субъекта. Не стану оспаривать ценности подобных наблюдений. Биография так же нуждается в психологии, как и в физиологии. Но все их значение не выходит за рамки простой информации. Необходимо отбросить ложную предпосылку, будто бы жизнь человека протекает внутри него и, следовательно, может быть сведена к чистой психологии. Наивные мечтания! В таком случае не было бы ничего проще жизни, ибо жить означало бы плавать в своей стихии. К несчастью, жизнь бесконечно далека от всего, что можно признать субъективным фактом, поскольку она — самая объективная из реальностей. Жизнь отличается именно погруженностью «я» человека в то, что не есть он сам, в чистого другого, то есть в свои обстоятельства. Жить — значит выходить за пределы себя самого, другими словами, осуществляться. Жизненная программа, которой неизбежно является каждый, воздействует на обстоятельства, согласуя их с собой. Подобное единство драматического динамизма между обоими элементами — «я» и миром — и есть жизнь. Связь между ними образует пространство, где находятся человек, мир и... биограф. Это пространство и есть то подлинное изнутри, откуда я прошу Вас увидеть Гете. Не изнутри самого Гете, а изнутри его жизни, или его драмы. Дело не в том, чтобы увидеть жизнь Гете *глазами* Гете, в его *субъективном* видении, а в том, чтобы вступить *как* биограф в магический круг данного существования, стать наблюдателем замечательного объективного события, которым была эта жизнь и чьей всего лишь частью был Гете.

За исключением этого программно персонажа, в мире нет ничего достойного называться «я» в точном смысле этого слова. Ибо именно свойства этого персонажа однозначно определяют оценки, которые по-

лучает в жизни все *наше*: тело, душа, характер и обстоятельства. Они наши, поскольку благоприятно или нет относятся к призванному осуществить себя персонажу. Вот почему двое разных людей никогда не могут находиться в одинаковом положении. Обстоятельства по-разному отвечают особой тайной судьбе каждого из них. «Я» — определенное и сугубо индивидуальное, мое давление на мир, мир — столь же определенное и индивидуальное сопротивление мне.

Человек, другими словами, его душа, способности, характер и тело, — сумма приспособлений, *с помощью которых* он живет. Он как бы актер, долженствующий сыграть персонаж, который есть его подлинное «я». И здесь мы подходим к главной особенности человеческой драмы: человек достаточно свободен по отношению к своему «я», или судьбе. Он может отказаться осуществить свое «я», изменить себе. При этом жизнь лишается подлинности. Если не ограничиваться привычным определением призвания, когда под ним подразумевают лишь обобщенную форму профессиональной деятельности, общественный *singiculum**, а считать его цельной, сугубо индивидуальной программой существования, то лучше всего сказать, что наше «я» — это наше призвание. Мы можем быть более или менее верны своему призванию, а наша жизнь — более или менее подлинной.

Если определить таким образом структуру человеческой жизни, можно прийти к выводу, что построение биографии подразумевает решение двух основных вопросов, до сих пор не занимавших биографов. Первый — обнаружить жизненное призвание биографируемого, которое, вероятно, было неразрешимой загадкой и для него самого. Так или иначе, всякая жизнь — руины, по которым мы должны обнаружить, кем призван был стать

* жизненный путь (*лат.*).

тот или иной человек. Подобно тому как физики строят свои «модели», мы должны постараться построить воображаемую жизнь человека, контуры его счастливого существования, на которые потом можно было бы нанести зарубки, зачастую довольно глубокие, сделанные его внешней судьбой. Наша реальная жизнь — большая или меньшая, но всегда существенная деформация нашей возможной жизни. Поэтому, во-вторых, надо определить, в какой степени человек остался верен собственной уникальной судьбе, своей возможной жизни.

Самое интересное — борьба не с миром, не с внешней судьбой, а с призванием. Как ведет себя человек перед лицом своего неизбежного призвания? Посвящает ли он ему всего себя или довольствуется всевозможными суррогатами того, что могло бы стать его подлинной жизнью? Вероятно, самый трагический удел — всегда открытая человеку возможность подменить самого себя, иными словами, фальсифицировать свою жизнь. Существует ли вообще какая-то другая реальность, способная быть тем, что она не есть, отрицанием самой себя, своим уничтожением?

Вы не находите, что стоит попытаться построить жизнь Гете с этой, подлинно *внутренней* точки зрения? Здесь биограф помещает себя внутрь той единственной драмы, которой является каждая жизнь, погружается в стихию подлинных движущих сил, радостных и печальных, составляющих истинную реальность человеческого существования. У жизни, взятой с этой, глубоко внутренней стороны, нет формы, как ее нет у всего, что рассматривается изнутри себя самого. Форма — всегда только внешний вид, в каком действительность предстает наблюдателю, который созерцает ее извне, тем самым превращая в чистый объект. Если нечто — объект, значит, оно лишь видимость для другого, а не действительность для себя.

Жизнь не может быть чистым объектом, поскольку состоит именно в исполнении, в действенном проживании, всегда неопределенном и незаконченном. Жизнь не выносит взгляда извне: глаз должен переместиться в нее, *сделав саму действительность своей точкой зрения*.

Мы слегка утомились от статуи Гете. Войдите внутрь его драмы, отбросьте холодную, бесплодную красоту его изваяния. Наше тело, рассмотренное изнутри, абсолютно лишено того, что обыкновенно зовется формой и что на самом деле является лишь формой внешней, макроскопической. Наше тело имеет только *feinereget Bau**, микроскопическую структуру тканей, обладая в конечном счете лишь чистым химическим динамизмом. Дайте нам Гете, терпящего кораблекрушение в своем существовании; Гете, ощущающего потерянность в нем, ежесекундно не знающего, что с ним случится. Именно таков Гете, чувствовавший себя «волшебной раковиной, омываемой волнами чудесного моря».

Разве событие такого масштаба не стоит усилий? Благодаря качеству произведений Гете мы знаем о нем больше, чем о любом другом. Итак, мы — вернее, Вы можете творить *ex abundantia***.

Однако есть в числе прочего еще одна причина, заставляющая предпринять такую попытку именно по отношению к Гете. Он первым начал понимать, что жизнь человека — борьба со своей тайной, личной судьбой, что она — проблема для самой себя, что ее суть не в том, что уже стало (как субстанция у античного философа и — в конечном счете, хотя и выражено гораздо тоньше — у немецкого философа-идеалиста), но в том, что, собственно говоря, есть не вещь, а абсолютная и проблематич-

* изящное построение (нем.).

** из изобилия (лат.).

ная задача. Вот почему Гете постоянно обращается к своей собственной жизни. Относить подобное настойчивое стремление целиком на счет его эгоизма столь же непродуктивно, как пытаться придать ему «художественное» истолкование — как будто можно вообразить себе Гете, ваяющего собственную статую. Искусство достойно самого глубокого уважения, но в целом, рядом с глубокой серьезностью жизни, оно легкомысленно и фризовольно. И потому любая ссылка на искусство жизни полностью безответственна. Гете серьезно озабочен собственной жизнью как раз потому, что жизнь — забота о самой себе*. Признав этот факт, Гете становится первым из наших современников — если угодно, первым романтиком. Ибо по ту сторону любых историко-литературных определений романтизм значит именно это, иными словами, допознательное осознание того, что жизнь — не реальность, встречающая на пути определенное число проблем, а реальность, которая сама по себе всегда проблема.

* В своей замечательной книге «Бытие и время», опубликованной в 1927 году, Хайдеггер дает жизни сходное определение. Не берусь определить степень родства между философией Хайдеггера и той, которая вдохновляет мои сочинения, отчасти потому, что труд Хайдеггера еще не закончен, отчасти потому, что и мои идеи не получили еще адекватного представления в печати. Но считаю своим долгом заявить, что обязан этому автору очень немногим. Едва ли найдется два или три важных понятия Хайдеггера, которые не существовали бы ранее, иногда на тринадцать лет ранее, в моих книгах. Например, идея жизни как тревоги, заботы, небезопасности и культуры как безопасности и заботы о безопасности содержится в моем первом произведении «Размышления о «Дон Кихоте», опубликованном в 1914 году (!), — глава «Культура — безопасности» (с. 116—117). Более того, уже там было положено начало применению этих идей к истории философии и культуры — на примере частного, но столь важного для темы события, каким был Платон. То же можно сказать об освобождении от «субстанциализма», от любой «вещности» в идее бытия, если предположить, что Хайдеггер пришел к такому же пониманию этой идеи. Следует отметить, что я излагаю ее уже давно в своих публичных лекциях в том виде, как она сформулирована в предисловии к моей первой книге (с. 42). Далее она была развита в моих раз-

Разумеется, Гете сбивает нас с толку, поскольку его жизненная идея — биологическая, ботаническая. О жизни, как и о прошлом, у него лишь самое внешнее представление. Вот еще одно подтверждение тому, что все человеческие идеи имеют лишь поверхностное значение для доинтеллектуальной, жизненной истины. Представляя свою жизнь в образе растения, Гете тем не менее ощущает ее, вернее, она для него существует как драматическая забота о своем бытии.

На мой взгляд, подобный *ботанизм* Гете-мыслителя во многом мешает признать плодотворность его идей для решения насущных проблем современного человека. В противном случае мы могли бы взять на вооружение немало используемых им терминов. Когда, ища ответ на вопрос, поставленный выше, на неотложный вопрос «кто я?», он отвечал «*энтелехия*», то находил, возможно, самое точное слово для того жизненного проекта, того неотвратимого призвания, в котором заключается наше подлинное «я». Каждый — тот, «кем он должен быть»,

личных изложениях теории перспективизма (сегодня я предпочитаю этому термину другие, более динамичные и менее интеллектуальные). Жизнь как столкновение «я» и его обстоятельств, как «динамический диалог между индивидуумом и миром» — такие положения получили развитие во многих местах моей книги. Структура жизни как предвосхищение будущего — наиболее частный *leitmotiv* моих сочинений, обусловленный, конечно, моментами весьма далекими от проблемы жизни, к которой я применяю его, вдохновленный логикой Когена. Точно так же — «поглощение обстоятельств как конкретная судьба человека» (с. 43) и теория «нерушимой основы», которую затем я назвал «подлинное я». Даже интерпретация истины как *aletheia*, в этимологическом смысле — «открытия, разоблачения, снятия завесы», — приводится на 80-й странице, с тем отягощающим обстоятельством, что в этой книге знание носит — столь актуальное! — имя «света», «ясности» как императива и миссии, включенных в «источник конституции человека». Я в первый и последний раз делаю это замечание, поскольку зачастую весьма удивлен, когда даже очень близкие мне люди имеют самое отдаленное представление о том, что я думал и писал. Находясь в плену моих образов, они не замечают моих идей. Я очень многим обязан немецкой философии и надеюсь, что никто не станет преуменьшать моей очевидной заслуги в обогащении

хотя это, вероятно, ему так и не удастся. Разве можно выразить это одним словом, не прибегая к понятию «*эн-телехия*»? Но старинное слово привносит с собой тысячелетнюю биологическую традицию, придающую ему нелепый смысл условного Зоон, чудесной магической силы, правящей животным и растительным миром. Гете лишает вопрос «*кто я?*» всей остроты, ставя его в традиционной форме — «*что я такое?*».

Но под покровом официальных идей скрывается Гете, неустанно постигающий тайну подлинного «я», которая остается позади нашей действительной жизни, как ее загадочный источник, как напряженная кисть позади брошенного копья, и которая не умещается ни в одну из внешних и космических категорий. Так, в «Поэзии и правде» он пишет: «Все люди с хорошими задатками на более высокой ступени развития замечают, что призваны играть в мире двойную роль — реальную и идеальную; в этом-то ощущении и следует искать основы всех благородных поступков. Что дано нам для исполнения первой, мы вскоре узнаем слишком хорошо, вторая же

испанского мышления интеллектуальными сокровищами Германии. Но, быть может, я слишком преувеличил этот момент и слишком замаскировал свои собственные радикальные открытия. Например: «Жить, безусловно, означает иметь дело с миром, обращаться к миру, действовать в нем, заботиться о нем». Кто это написал? Хайдеггер в 1927 году или же это было опубликовано под моим именем в газете «Ла Насьон» в Буэнос-Айресе в декабре 1924 года, а затем было включено в седьмой том журнала «Эспектадор» («Спортивное происхождение государства»)? Ибо самое печальное состоит в том, что эта формула не случайна, но лежит, подчеркиваю, в основе того предположения, что философия единосушна человеческой жизни, ибо последняя нуждается в том, чтобы выйти в «мир», который представлен на моих страницах не как сумма вещей, но как «горизонт» (sic) целостности, превосходящий вещное и отличный от него. Быть может, сказанное устыдит тех молодых людей, которые, *не имея*, впрочем, *злого умысла*, этого не заметили. Если бы речь шла о *злом умысле*, я бы не стал обращать внимания. Но самое неприятное то, что, имея благие намерения, эти молодые люди многого не знали. Вот почему их благие намерения становятся проблематичными. В сущности, все подобные замечания можно свести к одному, которого я никогда не делал и

редко до конца уясняется нам. Где бы ни искал человек своего высшего назначения — на земле или на небе, в настоящем или в будущем, — изнутри он все равно подвержен вечному колебанию, а извне — вечно разрушающему воздействию, покуда он раз и навсегда не решится признать: правильно лишь то, что ему соответствует.

Это «я», или наш жизненный проект, то, «чем мы должны стать», он называет здесь *Bestimmung**. Но это слово столь же двусмысленно, как и «судьба» (*Schicksal*). Что такое наша судьба, внутренняя или внешняя: то, чем мы должны были стать, или то, чем заставляет нас стать наш характер или мир? Вот почему Гете различает реальную (действительную) и идеальную (высшую) судьбу, которая, видимо, и является подлинной. Другая судьба — результат деформации, которую производит в нас мир со своим «вечно разрушающим воздействием», дезориентирующим нас относительно подлинной судьбы.

Однако Гете здесь остается в плену у традиционной идеи, не разделяющей «я», которым должен быть каждый помимо собственной воли, и нормативное, нарицательное «я», «которым следует быть», индивидуальную и

которое ныне выскажу в самой лаконичной форме. В 1923 году я опубликовал книгу, носящую несколько торжественное название, — быть может, ныне, когда мое существование приближается к зрелости, я бы предпочел не давать своему сочинению подобного заглавия — «Тема нашего времени». В этой книге с не меньшей торжественностью сделано заявление, что тема нашего времени — задача привести чистый разум к «разуму жизни». Нашелся ли хоть один человек, который бы попытался — я не говорю сделать какие-то непосредственные выводы из этого положения, но просто его осмыслить? Несмотря на мои протесты, все время говорят о моем витализме; никто, однако, не взялся осмыслить одновременно, как и предлагается в этой формуле, слова «разум» и «жизненный». Итак, никто не говорил о моем «рациовитализме». И даже теперь, когда я указал на это обстоятельство, много ли людей поймут его, осмыслят «критику жизненного разума», которая провозглашена в этой книге? Поскольку я молчал столько лет, я буду продолжать молчать и дальше. Пусть это краткое замечание будет единственным перерывом в моем молчании, поскольку преследует только одну цель — наставить на путь истинный всех, кто не понял меня, хотя и хотел понять. — *Примеч. автора.*

* Определение (*нем.*).

неизбежную судьбу с «этической» судьбой человека. Последняя лишь определенное мироощущение, с помощью которого человек стремится оправдать свое существование в абстрактном смысле. Эта двойственность, смешение понятий, на которое его толкает традиция, — причина «вечного колебания», ewiges Schwanken, ибо, как и все «интеллектуальное», наша этическая судьба всегда будет ставиться под сомнение. Он понимает, что изначальная этическая норма не может быть сопоставлена с жизнью, ибо последняя в конечном счете способна без нее обойтись. Он предчувствует, что жизнь этична сама по себе, в более радикальном смысле слова; что императив для человека — часть его собственной реальности. Человек, чья энтелехия состоит в том, чтобы быть вором, *должен* им быть, даже если его моральные устои противоречат этому, подавляя неумолимую судьбу и приводя его действительную жизнь в соответствие с нормами общества. Ужасно, но это так: человек, долженствующий быть вором, делает виртуозное усилие воли и избегает судьбы вора, фальсифицируя тем самым свою жизнь*. Таким образом, нельзя смешивать «*следует быть*» морали, относящееся к интеллектуальной сфере, с «*должно быть*» личного призвания, уходящим в самые глубокие и первичные слои нашего бытия. Все разумное и волевое вторично, ибо оно уже реакция на наше радикальное бытие. Человеческий интеллект направлен на решение лишь тех проблем, которые уже поставила перед ним внутренняя судьба.

Поэтому в конце приведенной цитаты Гете исправляет двусмысленность: «...правильно лишь то, что ему

* Главный вопрос в том, действительно ли вор — форма подлинно человеческого, то есть существует ли «прирожденный вор» в гораздо более радикальном смысле, чем тот, который предлагает Ломброзо. — *Примеч. автора.*

соответствует» («was ihm gemäßist»). Императив интеллектуальной и абстрактной этики замещен внутренним, конкретным, жизненным.

Человек признает свое «я», свое исключительное призвание, исходя всякий раз из удовольствия или неудовольствия в каждой из ситуаций. Словно стрелка чувствительного прибора, несчастье предупреждает, когда его действительная жизнь воплощает его жизненную программу, его энтелехию, и когда она отклоняется от нее. Так, в 1829 году он говорит Эккерману: «Помыслы и мечты человека всегда устремлены к внешнему миру, его окружающему, и заботиться ему надо о познании этого мира, о том, чтобы поставить его себе на службу, поскольку это нужно для его целей. Себя же он познает, лишь когда страдает или радуется, и, следовательно, лишь через страдания и радость открывает он самого себя, уясняет себе, что ему должно искать и чего опасаться. Вообще же человек создание темное, он не знает, откуда происходит и куда идет, мало знает о мире и еще меньше о себе самом».

Лишь через страдания и радость открывает он самого себя. Кто же тот «сам», который познает себя лишь а posteriori*, сталкиваясь с происходящим? Очевидно, это жизненный проект, который, когда человек страдает, не совпадает с его действительной жизнью, и тогда человек переживает распад, раздвоение — на того, кем он должен был быть, и на того, кем он стал в итоге. Это несовпадение прорывается скорбью, тоской, гневом, плохим настроением, внутренней пустотой, и, наоборот, совпадение рождает чудесное ощущение счастья.

Как ни странно, никто не обратил внимания на вопиющее противоречие между *идеями* мыслителя Гете о

* после опыта, опытным путем (*лат.*).

мире (а это у Гете — наименее ценное), то есть между его оптимизмом в духе Спинозы, его *Naturfrömmigkeit**, его ботаническим представлением о жизни, по которому все в ней должно протекать легко, без мучительных срывов, в согласии с благой космической необходимостью, — и его собственной жизнью, творчеством. Для растения, животного, звезды жить — значит не испытывать ни малейшего сомнения по поводу собственного бытия. Ни один из них не должен каждый миг решать, чем он будет потом. Поэтому их жизнь не драма, а... эволюция. Жизнь человека — абсолютно противоположное: для него жить означает всякое мгновение решать, что он будет делать в ближайшем будущем, для чего ему необходимо осознать план, проект своего бытия. Существующее непонимание Гете поистине достигает здесь своего апогея. Это был человек, который искал или избегал себя — то есть абсолютная противоположность стремлению полностью осуществиться. Ведь последнее не предполагает сомнений относительно того, *кто* ты есть. Иными словами, как только в этом вопросе достигнута ясность, человек готов осуществить себя, — остается сосредоточиться на подробностях исполнения.

Значительная часть творческого наследия Гете (его Вертер, его Фауст, его Мейстер) — галерея скитальцев, которые странствуют в мире, ища свою внутреннюю судьбу или... избегая ее.

Я не буду входить в подробности, поскольку не намерен казаться знатоком творчества Гете. Не забывайте; мое письмо — это вопросы, обращенные к Вам, это сомнения, которые я надеюсь разрешить с Вашей помощью. В этой связи позволю себе выразить крайнее удивление перед фактом, который почему-то представ-

* Набожное отношение к природе (нем.).

ляется всем совершенно естественным: каким образом такой человек, как Гете, развившийся настолько рано, что до тридцати лет создал, хотя и не завершил, свои основные произведения, на рубеже сорока, во время путешествия в Италию, все еще спрашивает себя, поэт ли он, художник или ученый; так, 14 марта 1788 года он пишет из Рима: «Мне впервые удалось найти самого себя, и я счастливо совпал с собою». Самое печальное то, что, по-видимому, он ошибался и на протяжении десятилетий ему еще предстояло странствовать в поисках того «самого себя», с которым он как будто бы встретился в Риме.

Обыкновенно трагедию видели в том, что на человека обрушивалась чудовищная внешняя судьба и с неумолимой жестокостью погребала под собой несчастную жертву. Однако трагедия Фауста и история Мейстера — нечто совершенно противоположное: в обоих случаях вся драма — в том, что человек отправляется искать свою внутреннюю судьбу, являя миру образ одинокого странника, которому так и не суждено встретиться с собственной жизнью. В первом случае жизнь встречает проблемы, здесь же проблема — сама жизнь. С Вертером, Фаустом, Мейстером происходит то же, что и с Гомункулусом: они хотят быть, но не знают как, иными словами, не знают, кем быть. Решение, которое Гете навязал Мейстеру, предложив ему посвятить себя хирургии, настолько произвольно и легкомысленно, что недостойно своего автора: представьте себе Гете, который навеки остался в Риме — перерисовывать безрукие и безногие торсы античных скульптур! Судьба — это то, чего не выбирают.

Немецкие профессора приложили титанические усилия, чтобы привести в соответствие произведения Гете с его идеями о жизни. Разумеется, им не удалось достичь своей искусственной цели. Куда плодотворнее было бы исходить из обратного: признать очевидное противоре-

чие между оптимистической концепцией природы, верой в космос, пронизывающей все отношения Гете с миром, и его вечной, неустанной, ни на минуту не оставляющей в покое заботой о собственной жизни. Только признав это противоречие, можно попытаться его снять, привести к единой системе объяснения. Система, объединяющая противоречия того или иного существования, и есть биография.

Как видите, у меня о Гете самое наивное представление. Быть может, именно потому, что я недостаточно хорошо знаю Гете, все в нем представляется мне проблемой. Для меня загадка даже самые незначительные черты его характера, самые пустяковые приключения. К примеру, я никак не могу понять, почему биографы не хотят объяснить нам того факта, что Гете, чья жизнь, по всей вероятности, в целом сложилась успешно, был человеком (и об этом сохранилось немало документальных свидетельств), проводшим большинство дней своей жизни в дурном расположении духа. Внешние обстоятельства его жизни *кажутся* — по крайней мере биографам — благоприятными. Он, без сомнения, обладал Frohnatur, веселым характером. Почему же тогда он так часто был в дурном расположении духа?

«So still und so sinnig!
Es fehlt dir was, gesteh es frei».
Zufviden bin ich,
Aber mir ist nicht wohl dabei*.

Дурное расположение духа — достаточно очевидный симптом того, что человек живет наперекор своему призванию.

* «Так тихо, и так мило!
Тебе недостает чего-то, признайся откровенно»/
Я доволен,
Но все же мне не по себе. (нем.)

То же можно сказать о его «застывшей», перпендикулярной походке. По характеру Гете чрезвычайно эластичен, подвижен, чуток. Его отзывчивость, душевное богатство, внимание к своему окружению необыкновенны. Откуда же эта скованность, отсутствие гибкости? Почему он нес свое тело словно штандарт на городских празднествах? И не говорите мне: это не важно. «Фигура человека — лучший из текстов, на основании которого можно о нем судить» («Стелла»). Что, если я попрошу Вас посвятить Гете некий «физиогномический фрагмент». В этой связи обратите особое внимание на записи в «Дневнике» Фридрики Брион с 7 по 12 июля 1795 года, например: «...горькое безразличие, словно облако, омрачило его чело». Но еще важнее последующие, которых я не стану упоминать, чтобы не излагать Вам свою точку зрения по этому поводу. И не забудьте о «тех неприятных складках у рта», которые упоминает в своем Дневнике Лейзевиц — 14 августа 1790 года — и которые можно видеть почти на всех юношеских портретах Гете.

Боюсь, если Вы последуете моим советам, в Германии разразится скандал — этот образ Гете окажется совершенной противоположностью застывшему символу, традиционно изображаемому в Евангелиях, вышедших из немецкой печати до настоящего времени. В самом деле, можно ли свершить бóльшее святотатство, чем попытаться представить Гете человеком высокоодаренным, обладающим огромною внутренней силой, чудесным характером — энергичным, ясным, великодушным, веселым и в то же время постоянно неверным своей судьбе. Отсюда его вечно дурное расположение духа, скованность, стремление обособиться от других, разочарованный вид. Это была жизнь *a rebours**. Биографы ограничиваются

* «Наоборот» (*фр.*) — название романа Ш.-М.-Ж. Гюисманса.

тем, что наблюдают эти способности, этот характер в действии, и они действительно достойны восхищения, предлагая волнующее зрелище всем, кто ограничивается видимостью существования. *Однако жизнь человека не просто работа тех изоощренных механизмов, которые вложило в него Провидение.* Гораздо важнее вопрос: кому они служат? Служил ли человек Гете своему призванию или оказался вечным изменником своей тайной судьбе? Я, понятно, не собираюсь решать этой дилеммы. Но именно в этом и состоит серьезная, радикальная операция, о которой я говорил и которую может попытаться осуществить только немец.

Не стану, однако, скрывать от Вас своего, быть может, ложного впечатления, что в жизни Гете было слишком много бегства. В юности убегает от всех своих возлюбленных. Он бежит от своей писательской жизни, чтобы окунуться в грустную атмосферу Веймара. Веймар — самое значительное *mal entendu** в истории немецкой литературы, которая, по-видимому, является первой литературой мира. Даже если мое утверждение покажется Вам глубоко ошибочным и парадоксальным и даже если Вы окажетесь совершенно правы — поверьте, у моей точки зрения вполне достаточно оснований! Но затем Гете бежит из Веймара (который сам по себе был его первым бегством), и на этот раз в его побеге есть что-то детективное: от надворного советника Гете он бежит к торговцу Иоганну Филиппу Мейеру**, который после этого становится сорокалетним учеником живописи в Риме.

Биографы, как страусы, готовы глотать камни гетевского пейзажа словно розы. Они хотят убедить нас, будто все любовные бегства Гете — уход от судьбы, стрем-

* недоразумение (фр.).

** Гете отправился в Италию под именем Мейсра.

ление любой ценой остаться верным своему истинному призванию. Но в чем оно?

Не буду злоупотреблять Вашим терпением и разворачивать здесь свою теорию призвания, поскольку это целая философия. Ограничусь одним замечанием: хотя призвание всегда в высшей степени лично, его составные части, безусловно, весьма разнородны. Сколь бы индивидуальны Вы ни были, дорогой друг, прежде всего Вы — человек, немец или француз и принадлежите к своему времени, а каждое из этих понятий влечет за собой целый репертуар определяющих моментов судьбы. Но все они станут судьбой лишь тогда, когда получат отчетливое клеймо индивидуальности. Судьба никогда не бывает чем-то общим или абстрактным, хоть и не все судьбы одинаково конкретны.

Есть мужчины, рожденные любить одну женщину, а потому вероятность встречи с ней равна для них нулю. Однако, по счастью, большинство мужчин заключают в себе более или менее разнообразную любовную судьбу и могут осуществить свое чувство на бесчисленных легионах женственности определенного типа. Проще говоря, один любит блондинок, другой — брюнеток. Когда говорят о жизни, то каждое слово должно быть помечено соответствующим индексом индивидуализации. Эта печальная необходимость принадлежит уже к судьбе человека как такового: чтобы жить *как единица*, он должен говорить *вообще*.

Призвание Гете!.. Если в мире есть что-то ясное — вот оно. Разумеется, было бы грубой ошибкой считать, что призвание человека совпадает с его явными талантами. Шлегель говорил: «К чему есть вкус, есть и гений». Столь категоричная формула представляется мне подозрительной, как и обратное суждение. Вне всяких сомнений, развитие какой-либо замечательной способности, естественно, приносит глубокое удовлетворение.

Но этот вкус, или естественное наслаждение, — не счастье осуществленной судьбы. Порой призвание не приближает нас к дару, порой ему суждено развиваться в совершенно противоположном направлении. Случается, и так произошло с Гете, что невероятное богатство способностей дезориентирует и затрудняет осуществление призвания, по крайней мере в главном. Однако, если отбросить частности, мы видим: радикальная судьба Гете заключалась в том, чтобы быть первой ласточкой. Он пришел на эту землю с миссией стать немецким писателем, который должен был произвести революцию в литературе своей страны и тем самым во всей мировой литературе*. У нас нет времени и места говорить конкретнее. Если как следует встряхнуть произведения Гете, от них уцелеет лишь несколько искалеченных строчек, которые можно мысленно восстановить, подобно тому как взгляд восстанавливает разрушенную арку, уставившую в небо обломки. Это и есть подлинный профиль его литературной миссии.

Гете Страсбурга, Вецлара, Франкфурта еще нам позволяет сказать *wie wahr, wie sind***. Несмотря на всю его молодость, несмотря на то что молодость — это воплощенное «еще не».

Но Гете принимает приглашение Великого Герцога. И здесь я предлагаю Вам вообразить себе жизнь Гете без Веймара, Гете, целиком погруженного в существование бродящей, полной молодых соков Германии, вдыхающей мир полной грудью. Представьте себе Гете-скитальца, без крыши над головой, без надежной экономичес-

* Я настаиваю на том, что здесь дано лишь самое общее определение призвания Гете, самого главного в его призвании. Только развивая теорию призвания, можно добиться достаточной ясности в той проблеме, о которой здесь сказано весьма кратко. — *Примеч. автора.*

** «Какой правдоподобный, какой реальный!» — так Гете сказал об ослике, который грелся на солнышке. — *Примеч. автора.*

кой и социальной поддержки, без тщательно приведенных в порядок ящиков, куда помещены папки с гравюрами, к которым, возможно, он никогда и не обратится, иными словами, полную противоположность двадцатипятилетнему затворнику под стерильным стеклянным колпаком Веймара, тщательно засушенному в *Geheimrat**. Жизнь — наша реакция на радикальную опасность (угрозу), саму материю существования. И потому для человека нет ничего опаснее очевидной, чрезмерной безопасности. Вот причина вечного вырождения аристократий. Какую радость доставил бы человечеству Гете в *опасности*, Гете, стиснутый своим окружением, с невиданным упорством развивающий сказочные творческие способности!

Но в тот решительный час, когда в гордую душу Гете ворвалась героическая весна подлинной немецкой литературы, Веймар отрезал его от Германии, вырвал с корнем из родной почвы и пересадил в бесплодный, сухой горшок смешного двора лилипутов. Какое-то время, проведенное в Веймаре (как на курорте!), безусловно, пошло бы ему на пользу. Немецкая литература, основателем которой мог быть только Гете, — это единство бури и меры, *Sturm und Mass*. *Sturm* чувства и фантазии, которых лишены прочие европейские литературы; *Mass*, которой в разной степени, хотя и безмерно, наделены Франция и Италия. С 1770 по 1830 год всякий истинный немец мог принести свой камень на памятник *Sturm*. Даже посткантианская философия — не что иное, как *Sturm*! Но немец обыкновенно бывает только *Sturm* — не знающим меры. *Furor teutonicus*** заставляет его выходить за рамки привычного бытия. Только во-

* Тайный совет (нем.).

** Тевтонская ярость (лат.).

образите — я уже не говорю о поэтах! — что Фихте, Шеллинг, Гегель обладали *заодно* и *bon sens**! Все дело в том, что Гете чудесно объединял в себе оба начала. Его Sturm достиг достаточного развития. Следовало развить и другой не менее важный момент. Вот зачем он отправляется в Веймар — пройти курс подлинного «ифигенизма». Пока все хорошо. Но зачем же остался в Веймаре этот человек, готовый в любую минуту удариться в бегство? Более того, десять лет спустя он опять бежит — и возвращается вновь. Его временное бегство неопровержимо свидетельствует: Гете должен был покинуть двор Карла Августа. Мы можем проследить практически день за днем то своеобразное окаменение, в которое ввергает его Веймар. Человек превращается в статую. Статуи не могут дышать, ибо лишены атмосферы. Это как бы лунная фауна. Жизнь Гете движется против его судьбы и начинает себя *изживать*. Мера становится чрезмерной и вытесняет материю его судьбы. Гете — костер, который требует много дров. Но в Веймаре нет атмосферы, а значит, и дров. Веймар — геометрическое построение. Великое Герцогство Абстракции, Имитации, неподлинного. Это царство «как будто бы».

На побережье Средиземного моря раскинулось небольшое андалузское селение, носящее чудесное имя Марбелья**. Четверть века тому назад там проживало несколько семей старинного рода, которые, всячески кичась благородством происхождения, то и дело устраивали шумные празднества в несколько помпезном и анахроническом духе. Окрестные жители сложили о них такое четверостишие:

* здравым смыслом (*фр.*).

** Прекрасное море (*исп.*).

*Как будто бы сеньоры
Потешили весь мир:
Ведя в как будто граде
Как будто бы турнир!*

Теперь мы уже не можем сказать о Гете — *wie seind!* Несколько кратких эскапад, когда он отдается на волю судьбы, только подтверждают наше предположение. Его жизнь странным образом не может насытить себя. Все, что он есть, не радикально и не полно: он — министр, который на самом деле таковым не является. Он — *regisseur*, который ненавидит театр, и поэтому — вовсе не *regisseur*; он — натуралист, которому так и не удалось стать натуралистом, и поскольку милостью божьей он прежде всего поэт, Гете заставляет живущего в нем поэта посещать рудник в Ильменау и вербовать солдат, гарцуя на казенном коне по кличке Поэзия (я был бы весьма признателен, если бы Вам удалось доказать, что этот как будто бы конь — выдумка очередного недоброжелателя).

Вот страшное подтверждение тому, что человек располагает лишь одной подлинной жизнью, той, которой требует от него призвание. Когда же свобода заставляет Гете отрицать свое неустранимое «я», подменяя его на произвольное другое — произвольное, несмотря на самые почтенные «основания», — он начинает влачить призрачное, пустое существование между... «поэзией и правдой». Привыкнув к такому положению вещей, Гете кончает потребностью в правде, и подобно тому, как у Мидаса все превращается в золото, у Гете все испаряется в бестелесных, летучих символах. Отсюда его как будто бы любовные увлечения зрелой поры. Уже отношения с Шарлоттой фон Штейн довольно сомнительны, и мы бы никогда их не поняли, если бы его как будто бы приключение с Виллемером окончательно не прояснило для

нас той способности к ирреализму, которой достиг этот человек. Если жизнь — символ, не нужно отдавать чему-либо предпочтение. Спишь ли ты с Christelchen* или женишься в «идеально-пигмалионическом» смысле** на скульптуре из Палаццо Калабрано — все равно. Однако судьба — полная противоположность подобному «все равно», подобному символизму!

Проследим возникновение какой-либо идеи. Любая наша идея — реакция, положительная или отрицательная, на положения, в которые нас ставит судьба. Человек, ведущий неподлинное, подменное существование, нуждается в самооправдании. (Я не могу объяснить Вам здесь, почему самооправдание — один из основных компонентов *любой* жизни, и мнимой, и подлинной. Не оправдывая собственной жизни в своих глазах, человек не только *не может жить* — он не может и шагу сделать. Отсюда — миф символизма. Я не ставлю под сомнение его истинность или ложность ни в одном из многих возможных смыслов — сейчас речь идет лишь о его источнике и жизненной истине.

«Я на всю свою деятельность и достижения всегда смотрел символически, и мне было в конечном счете довольно безразлично, делать горшки или блюда» («ziemlich gleichgultig»). Эти неоднократно истолкованные слова слетают с уст Гете в старости и, плавно паря, мягко опускаются в юности на Вертерову могилу. Бескровное вертерианство! Что в одном случае сделал пистолет, в другом — равнодушие. Если все созданное человеком — чистый символ, то какова окончательная реальность, символизируемая в этой деятельности? И в чем состоит подлинное дело? Ибо, без сомнения, жизнь —

* Христиана Вульпиус, осиротевшая дочь простого купца. — *Примеч. пер.*

** См.: Итальянское путешествие (Рим, апрель 1788 года). — *Примеч. автора.*

дело. И если то, что действительно *следует делать*, не горшки и не блюда, это обязательно что-то еще. Но что именно? Какова истинная жизнь, по мнению Гете? Очевидно, окончательная реальность для каждой конкретной жизни является тем же, чем является *Urpflanze* (пра-растение) для каждого растения — чистой жизненной формой без определенного содержания. Можно ли, дорогой друг, глубже извратить истину? Ведь жизнь — это неизбежная потребность определиться, *вписать себя целиком в исключительную судьбу*, принять ее, иными словами, решиться *быть ею*. Независимо от наших желаний мы обязаны осуществить наш «персонаж», наше призвание, нашу жизненную программу, нашу «энтелехию». Пусть даже у этой ужасной реальности, нашего подлинного «я», много имен! А значит, жизнь подвижна совершенно иным требованием, нежели совет Гете удалиться с конкретной периферии, где жизнь начертала свой *исключительный* контур, к ее абстрактному центру, к *Urleben*, пражизни. От бытия действительного — к бытию чистому и возможному. Ибо это и есть *Urpflanze* и *Urleben* — неограниченная возможность. Гете отказывается подчинить себя конкретной судьбе, которая, по определению, оставляет человеку только одну возможность, исключая все остальные. Он хочет сохранить за собой *право распоряжаться*. Всегда. Его жизненное сознание, более глубокое и первичное, чем *Bewußtsein überhaupt* («сознание вообще»), подсказывает, что это великий грех, и он ищет себе оправдания. Но в чем? Он подкупает себя двумя идеями, первая из которых — идея деятельности (*Tätigkeit*). «Ты должен *быть!* — говорила ему жизнь, которой всегда дан голос, ибо она — призвание. И он защищался: «Я уже есть, ибо я неустанно действую — леплю горшки, блюда, не зная ни минуты по-

коя». «Этого мало, — не унималась жизнь. — Дело не в горшках и не в блюдах. Нужно не только *действовать*. Ты должен делать свое «я», свою исключительную судьбу. Ты должен решиться... Окончательно. Жить полной жизнью — значит быть кем-то окончательно». И тогда Гете — великий соблазнитель — попытался соблазнить свою жизнь сладкой песней другой идеи — символизма. «Подлинная жизнь — *Urleben* — *отказывается* (*entsagen*) подчиниться определенной форме», — нежно напевал Вольфганг своему обвинителю — сердцу.

Нет ничего удивительного, что Шиллер разочаровался, впервые увидев Веймарского придворного. Он передал свое первое искреннее впечатление, еще не попав под влияние того *charme*, которым Гете околдовывал всякого, кто какое-то время находился рядом. Шиллер — полная противоположность. Бесконечно менее одаренный, он обращает к миру свой четкий профиль — покрытый пеной таран боевой триремы, бесстрашно взрезающей волны судьбы. А Гете! «Er *«bekennt»* sich zu Nichts». — «Он ни к чему не привязан». «Er ist an Nichts zu fassen». — «Его не за что зацепить».

Отсюда упорное стремление Гете оправдать в собственных глазах идею любой реальности *sub specie aeternitatis**: если есть прараствение и пражизнь, то есть и прапоззия без времени, места, определенного облика. Вся жизнь Гете — стремление освободиться от пространственно-временной зависимости, от реального проявления судьбы, в котором как раз и заключается жизнь. Он тяготеет к утопизму и укротизму. Любопытно, как деформировано в нем человеческое. Родоначальник высокой поэзии, вещающей от имени сугубо личного «я», затерянного в мире, в своей внешней судьбе он до такой

* с точки зрения вечности (лат.).

степени плыл против собственного призвания, что кончил полной неспособностью что-либо делать от себя лично. Чтобы творить, он должен сначала вообразить себя кем-то другим: греком, персом (горшки, блюда). Это наименее очевидные и наиболее значимые бегства Гете: на Олимп, на Восток. Он не может говорить от лица своего неизбежного «я», от лица своей Германии. Судьба должна застать его врасплох, чтобы им овладела новая идея Германии и он создал «Hermann und Dorothea». Но и тогда Гете пользуется гексаметром — ортопедическим аппаратом, помещающим свой механический остов между замыслом и произведением. Отсюда неизбежная дистанция, торжественность и однообразие, лишаящие «Германа и Доротею» художественной ценности, зато придающие им... *species aetevnitatis**.

Все дело в том, что такой *species aetevnitatis* не существует. И это не случайно. *Действительно* — только реальное, *составляющее судьбу*. Но реальное — никогда не *species*, не *видимость*, не *зрелище*, не предмет наблюдения. Все это как раз ирреальное. Это наша идея, а не наше бытие. Европа должна избавиться от идеализма — вот единственный способ преодолеть заодно и любой материализм, позитивизм, утопизм. Идеи слишком близки вашему настроению. Они послушны ему и потому легко устранимы. Конечно, мы должны жить с идеями, но не *от имени* наших идей, а *от имени* нашей неизбежной, грозной судьбы. Именно она должна судить наши идеи, а не наоборот. Первобытный человек ощущал себя потерянным в материальном мире, в своей первобытной чаше, а мы потеряны в мире идей, заявляющих нам о своем существовании, как будто они с изрядным равнодушием были кем-то выставлены на витрине абсолютно равных возможностей

* вид вечности (лат.).

(Ziemlichgleichgultigkeiten). Вот что такое наши идеи, иными словами — наша культура. Современный кризис не просто кризис культуры; скорее он обусловлен местом, которое мы ей отводим. Мы помещали культуру до и сверх жизни, в то время как она должна находиться за и под ней. Хватит запрягать волов за телегой!

Жизнь — отказ от права распоряжаться. В чистом праве распоряжаться и состоит отличие юности от зрелости. Поскольку юноша еще не представляет собой чего-то определенного, неизбежного, он — любая возможность. Вот его сила и его слабость. Ощущая потенциальные способности ко всему, он *полагает*, что так и есть. Юноше не нужно жить из себя самого: потенциально он живет всегда чужими жизнями — он одновременно Гомер и Александр, Ньютон, Кант, Наполеон, Дон Хуан. Он — *наследник* всех этих жизней. Юноша — всегда *патриций*, «сеньорито». Возрастающая небезопасность существования, уничтожая эти возможности одну за другой, приближает его к зрелости. Теперь представьте человека, который в пору юности чудесным образом оказался в ненормально безопасных условиях. Что с ним будет? Вполне вероятно, он останется молодым. Его стремление сохранить за собой право распоряжаться поддержано, развито, закреплено. На мой взгляд, это и произошло с Гете. Как все великие поэты, он был органически предрасположен навсегда остаться юным. Поэзия — переродившая и тем самым сохраненная юность. Отсюда в пожилом Гете неожиданные ростки эротизма со всеми атрибутами весны — радостью, меланхолией, стихами. Решающую роль сыграли здесь внешние обстоятельства, в которых Гете оказался на закате первой, подлинной юности. Обыкновенно это первый час, когда мы испытываем давление окружающего. Начало серьезных экономических трудностей, начало борьбы с другими. Ин-

дивид впервые встречается с упорством, горечью, враждебностью человеческих обстоятельств. Эта первая атака либо раз и навсегда уничтожает в нас всякую героическую решимость быть тем, что мы втайне есть, — и тогда в нас рождается обыватель, либо, наоборот, столкновение с тем, что *нам — противостоит* (Универсумом), открывает нам наше «я» и мы принимаем решение быть, осуществиться, отчеканить свой профиль на собственной внешней судьбе. Но если в этот первый решительный час мир не оказывает нам никакого сопротивления и, мягко обтекая нас, обнаруживает чудесную готовность выполнить все желания — тогда наше «я» погружается в сладкий сон: вместо того чтобы познать себя, оно так и остается неопределенным. Ничто так не ослабляет глубинных механизмов жизни, как избыток легких возможностей. В решающую для Гете пору эту роль сыграл Веймар. Он сохранил в нем его юность, и Гете оставил за собой вечное право распоряжаться. Для него была разом решена экономическая проблема будущего, причем от него самого ничего не потребовалось взамен. Гете привык плыть по жизни, забыв, что потерпел кораблекрушение. То, что было его судьбой, выродилось в увлечения. Даже в последних днях его жизни я не вижу ни малейшего болезненного усилия. Усилие возникает только при ощущении боли; все прочее... «деятельность», усилие без усилия, производимое растением с целью цвести и плодоносить. Гете становится вегетативным образованием. Растение — органическое существо, не преодолевающее свое окружение. Вот почему оно может жить только в благоприятной среде, которая его поддерживает, питает, балует. Веймар — шелковый кокон, сплетенный личинкой, чтобы укрыться от внешнего мира. Вы, пожалуй, скажете, что я страдаю какой-то веймаро-

фобией. Кто знает... Позвольте мне, однако, еще одно замечание.

Дорогой друг. Вы — умный немец. Поэтому я и прошу Вас представить, или, как выражаются англичане, «реализовать», значение слов «Йенский университет» между 1790 и 1825 годами. Ведь вам доводилось слышать: «Йена, Йена!» За тысячи километров расстояния, отделенный еще большим числом культурных различий, я, невзрачный кельтибериец*, возросший на безводной средиземноморской возвышенности на высоте восьмисот метров над уровнем моря — такова средняя африканская высота, — не могу слышать это имя без дрожи. Йена того времени — сказочное богатство высоких движений духа. Разве об удивительной замкнутости Веймара не говорит тот факт, что Йена, расположенная всего в двадцати километрах, ничего о нем не слыхала. Не могу себе представить Фихте, беседующего с госпожой Штейн. Разве может буйвол разговаривать с тенью?

...А натура Гете была столь блистательна! С какой радостью откликнулся он на всякое проявление подлинного мира, который у него отбирали! Нужно было совсем немного горячего материала, чтобы он вспыхнул ярким пламенем. Все что угодно — поездка на Рейн, отдых в Мариенбаде, красивая женщина, проплывшая над Веймаром словно облако... пламя, пламя!

Веймар надежно спрятал его от мира, а значит, и от себя самого. Гете потому столь упорно преследовал собственную судьбу и столь смутно ее представлял, что, желая столкнуться с ней, заранее был готов от нее убежать! Иногда, завернув за угол, он неожиданно встречал «я», которым был, и с завидной простотой восклицал: «*Eigentlich bin ich zum Schriftsteller geboren!*» — «Я в самом деле рожден писателем!»

* уроженец Испании (Celtiberia; *лат.*).

Под конец Гете стал испытывать что-то среднее между страхом и ненавистью ко всему, что подталкивало к окончательному решению. Подобно тому как он бежит от любви, лишь только она разверзается неотвратимой бездной, иными словами, судьбой, он бежит от Французской революции, от восстания в Германии. Почему? Наполеон ответил ему: *«Политика — это судьба»*. Et cetera, et cetera*. Тема неисчерпаема. Я взял ее только с одной стороны, в одном из моментов и потому преувеличил. Однако, думая, рассуждая, мы всегда преувеличиваем. Мы стремимся внести ясность в предметы, и это заставляет нас заострять, разлагать, схематизировать их. Любое понятие — преувеличение.

Теперь следует показать, как Гете, бесполезный для своего «я», научил каждого верно служить нашему конкретному «я». Однако это способны сделать лишь Вы. На мой взгляд, нет ничего привлекательнее такой задачи. Ведь все дело в том, что ни ботанические идеи Гете о жизни, ни его жизненная позиция не могут служить вступлением, хойдегетикой** для человека, желающего постичь собственное «я» или свою судьбу. И все же, оставляя в стороне и то, и другое, нельзя не признать, что Гете — великое созвездие на нашем горизонте, подвигающее сделать окончательный выбор: «Освободись от всего прочего ради себя самого».

Я утверждаю: правильно увидеть Гете, открыть в нем именно этот исходный смысл, делающий Гете нужным каждому человеку, можно, только радикально пересмотрев традиционный подход к нему.

Есть только один способ спасти классика: самым решительным образом используя его для нашего собствен-

* И так далее, и так далее (лат.).

** хойдегетика (греч.) — введение в учение о пути.

ного спасения, иными словами, не обращая внимания на то, что он — классик, привлечь его к нам, осовременить, напоить кровью наших вен, насыщенной *нашими* страстями... и проблемами. Вместо того чтобы торжественно отмечать столетнюю годовщину, мы должны попытаться воскресить классика, снова ввергнув его в существование.

Четвертого июня 1866 года любимый ученик Моммзена представил к защите в Берлинском университете докторскую диссертацию «*Historiam puto scribendam esse et cum ira et cum studio*»*.

Наивно считать, будто *ira et studium* несовместимы с «объективностью». Разве сама «объективность» не одно из бесчисленных порождений человеческих *ira et studium*! Когда-то думали, что орхидеи не имеют корней и рождаются в воздухе. Было время, когда полагали, что и культуре не нужны корни. Как недавно... и как давно!

* Считаю, что следует писать Историю с гневом и пристрастием (*лат.*).

СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ

Любой наш поступок — а мысль один из них — это вопрос или ответ, обращенный к той части мира, которая в этот миг обступает нас. Жизнь — непрерывный диалог, а индивид — лишь один из собеседников, второй же — это окрестность, его окружение. Разве можно понять одного без другого? Новейшая биология — Ру, Дриш, Павлов, фон Юкскуль — отходит в изучении живого от методов XIX века, ища органическое единство не в отдельной особи, противостоящей однородной и единообразной для всех среде, а в функциональном целом, которое составляет каждая особь вместе со своей средой*. Паук прежде всего отличается от человека не тем, что иначе реагирует на предметы, а тем, что видит мир, непохожий на человеческое окружение. И как живой организм он, со всеми беспощадными навыками охотника, в своем мире столь же совершенен, как блаженный из Ассизи, целующий язвы прокаженных, — в своем.

Чем укорененней и личностней тот или иной поступок, тем теснее он связан с окружающей нас частью мира, с ней одной. Поступая так или иначе, порой чувствуешь странную тревогу, замешательство, как бы обеспокоенность, неудобство. Тут точнее всего подойдет французское слово «depayse» — отстраненный. Ты словно отстра-

© Перевод. Б.В. Дубин, 2000 г.

* См. книгу фон Юкскуля «Соображения о понятии мира в биологической науке» (испанское издание — Мадрид, «Эспаса-Кальпе», 1921). — *Примеч. автора.*

нен, потеряв связь с окружающими. Но рухнуло не вовне, а в тебе самом. Как будто отняли часть тела, и не найдешь себе места от боли.

Так вернем наши мысли в ту среду, из которой они вышли: давайте увидим в них скромное порождение окрестных мест, так же стоящее перед глазами, как эти тополя вдоль речного русла, как зыбкие дымки над крышами селения. Лучшие умы так всегда и поступали. Декарт не забыл сообщить, что новый, переворачивающий мировую науку метод открылся ему однажды вечером в натопленной комнатке немецкого дома, а Платон, приобщая читателей «Федра» к науке всех наук — науке любви, не пожалел времени, чтобы представить Сократа и его друга беседующими во время летнего отдыха на берегу Илиса в освежающей тени стройного платана, пока греческие циклады выводят у них над головой свою пронзительную трель.

Вот о чем я думал этой пасхой в Эскориале.

Стояло начало апреля — время в окрестностях Гуадаларамы самое переменчивое. Миновав, угрюмая зима вдруг возвращается и дает последний арьергардный бой юной захватчице весне. Главное ратное поле — гранитный лоб Монастыря, краеугольный камень нашей поэзии. Гигантский лоскут чистейшей лазури оторочен белыми облаками, облаками, которые проносятся, сломя голову и сбиваясь в воинственную кучу, — эскадроны всадников на пышногривых и круглогрудых конях. Это наши испанские облака, клубящиеся вертикальным занавесом, переполняя высь барочным восторгом, — те самые облака, которые златобиты и ваятели размещают позади своих склонивших чело Христов, облака славы и торжества над смертью.

Монастырь — словно гигантская гробница, а небо над ним будто сцена, приготовленная для воскресения.

Только не ходите в Сан-Лоренсо через Лонху: это небезопасно. В дни изначальной битвы стихий лучше воспользоваться подземным тоннелем, зато попадешь внутрь цел и невредим. Потому что в Эскориале поселилось настоящее чудовище — само неистовство и рвение, сама страсть и непреклонность, перед которыми дрожит теперь вся округа. Это ветер, неукротимый ветер. Он срывается с Меринеры, вон с той кручи, срывается, круша на пути всех и вся, пока не расшибется о западный угол монастыря; тогда, взыв от боли, он проносится по плитке кровель, взлетает по склонам, тучей пыли клубится над долиной и в последнем рывке мчит к Мадриду.

Не зря ветер всегда был для воображения символом божества, чистого духа. Господь в Библии нередко является в виде бури, а о приходе Ариэля, ангела озарений, возвещает катящийся вихрь. Поскольку под материей разумеется все косное, в понятие духа мы вкладываем начало, торжествующее над материальным, движущееся и деятельное, образное и преображающее, но в любом случае не приемлющее отрицательную мощь материального, его трагическую пассивность. И в самом деле, при минимуме материи ветер обладает максимумом подвижности: его суть — движение, вечное преодоление себя, выход за собственные границы, перехлестывание через любой край. Почти бестелесный, он само действие, сама неумность. А это, в конце концов, и есть дух — неуспокоенность и порыв над безжизненной громадой Мира.

Если вы ищете в Монастыре хоть что-нибудь под стать бешеному ветру, запрудившему Лонху и до земли согнувшему деревья, войдите в залу капитула и встаньте перед «Святым Маврикием» Эль Греко.

Как известно, критский мастер отправил это полотно Филиппу I, соревнуясь за звание придворного живо-

писца. Картину не оценили, и Эль Греко остался умирать в Толедо.

Сюжет — из самых проникновенных во всей «Золотой легенде». Фиванский легион из 6666 солдат отказывается служить языческим богам. Император велит казнить каждого десятого. Приговор приведен в исполнение, юноши обезглавлены, дымящаяся кровь ест глаза, и вдруг Маврикий присоединяется к своим легионерам с простыми словами: «Вы готовы умереть во имя Христа — благодарю вас, не отстанем же от наших товарищей».

Вот этот миг, внутреннее напряжение этих слов и изображает Эль Греко. Перед нами группа людей, погруженных в свои мысли и вместе с тем сплоченных общением, сопричастностью. Словно каждый из них углубился в себя и встретил там остальных.

Они — группа заговорщиков, только сговор их — о собственной гибели. Я бы назвал картину «Приглашением к смерти». По-моему, в одной руке Святого — этой воплощенной убежденности в миг, когда словами он призывает друзей умереть — скрыт целый этический кодекс. Между его рукой и рукой Дона Жуана, под оплывшей свечой в каком-то гиблом притоне ставящего на карту жизнь, есть тайная связь, о которой стоит задуматься.

Как и у итальянцев, движения фигур на полотне понятны не сразу. Они непохожи на обыденные. Так значит, они неправдоподобны? Изверившись в героическом, испанец подозрителен к любому движению, если за ним — образцовые поступки и высокие чувства. Это неистребимое плебейство подталкивает нас мерить жизнь масштабом самых бездарных ее часов. Но Маврикий — на вершине земного пути, он поступается жизнью, чтобы стократ обрести ее вновь. Так уместится ли эта воля в обычном жесте?

Наши жесты, хочу я сказать, это реакция на то, что мы видим и слышим, на окружающее. Наивно думать, будто фиванца Маврикия обступало ровно то же самое, что всех нас. Напротив, нужно идти от жеста как тайнописи неведомого смысла и уже отсюда реконструировать стоявший перед его внутренним взором мир. Тот же вопрос задаешь себе перед «Джокондой»: что же такое видит эта женщина, чтобы так улыбаться?

Поступок Святого — прежде всего этический.

Добро и зло, о которых учит этика, относятся к воле, к желанию человека. Сами по себе вещи не добры и не злы, добро и зло кроются в нашем желании или нежелании их.

В слово «желание», замечу, вкладывают два разных смысла. В обычной жизни, желая того или иного, мы вовсе не имеем в виду, будто нам не нужно больше ничего на свете. Совсем наоборот: мы желаем этого, поскольку без него не достигнуть другого, которое необходимо для третьего, и так далее. Из этих звеньев, когда любое желание подчинено следующему, и скована наша повседневная жизнь. Одна частица души зависит от другой, и так без конца. Мы желаем одного ради другого, желания наши продиктованы пользой, а душа сдана внаем.

Но что общего между этим желанием одного ради другого и тем, когда желаешь чего-то лишь ради него самого, без какой бы то ни было посторонней цели? Наше корыстное желание, наша англизированная воля — потому что утилитаризм в морали идет от англичан — соединяют предметы в бесконечную цепь, где каждое звено — лишь зацепка для последующего, а значимо только место в цепи. Напротив, желание иной, более истой природы вырывает из этого оплетения единственное и неповторимое звено и дорожит им — вот таким, отдельным, ни с чем не связанным — именно как роскошью и

преизбытком. Рядом с этим волевым актом все другие — не более чем экономика, поскольку предметы желания для них только средство. Для нравственной же потребности они — самоцель, итог, последняя граница жизни, ее вершина. Неопределенность сделок тут кончается, и дух теперь уже не совокупность простейших частиц, каждая со своим эгоистическим и неотложным требованием. В действие вступает глубинная суть личности и, собрав распыленные силы, на миг приводит нас к согласию с собой; став сейчас — и только сейчас — воистину собою, мы отдаемся желанному без околичностей и подозрений. Задним числом мы не в силах даже представить, как это можно жить без того, что тебе дорого, и посмотрим на себя прежних, как выморочные тени, изменившие собственной сути.

Именно ради этого Святой Маврикий отдал свою жизнь и жизни своих легионеров. Иначе она не была бы, в полном смысле слова, его жизнью. Чтобы стать вровень с собою, остаться верным себе, потребовалось без оглядки, всем существом раствориться в смерти. Воля к смерти — всегда залог воскресения. Отказ от жизни становится высшим утверждением личности — возвращением с периферии существования к его духовному центру.

Большинству известен лишь первый, экономический смысл слова «желание». Мы перекидываемся с предмета на предмет, с одного действия на другое, не отваживаясь сосредоточиться ни на одной цели. Есть талант желать, как талант мыслить, и только немногие способны добыть из-под спуда общественной пользы, которая диктует каждый шаг и выверяет любой поступок, свое истинное желание. Постепенно привыкаешь называть жизнью состояние, когда тебя ведут, вместо того чтобы управлять собой собственноручно.

Поэтому полнота желания для меня характеристика нравственная. Когда мы хотим чего-то всей душой — целиком, без околичностей и подозрений, — тогда мы и поступаем согласно долгу. Ведь высший долг живущего — верность себе. Общество, где каждый вправе оставаться собой, я бы назвал совершенным. И разве быть целостным человеком не значит в любой мелочи сохранять верность своему существу, не подштопанному компромиссами, прихотями и уступками ближним, традиции или предрассудку?

Поэтому и Дон Жуан для меня — фигура высочайшей нравственности. Он скитается по свету, ища то, что поглотило бы его способность любить целиком: в этой погоне его пыл неистощим. Но поиски безрезультатны, и потому он умом скептик, хотя сердцем — герой. Для него уже весь мир на одно лицо, нет никого особенного, все одинаковы. Его считают легкомысленным, но это заблуждение. Он не дорожит собой, поскольку ему все равно. В угоду прихоти он готов поставить жизнь на что угодно — да вот хоть на эту карту. В том и трагедия Дона Жуана, что он — герой без цели.

Эль Греко весь свой век писал смерть и воскресение. Пассивное прозябание он отвергал наотрез. Люди на его портретах горят, готовые изойти в последней вспышке.

Как сейчас помню тот давний день, когда по бесконечной лестнице дома на улице Коленкур я поднялся на самый верх, в мастерскую Сулоаги.

Я очутился в скромной, необставленной квартирке, как будто четыре стены сохранили среди парижской роскоши пустынный и неприветливый мир, глядящий из глубины любого холста Сулоаги. Лишь на одной стене висела картина — «Апокалипсис» Эль Греко. Точней, нижняя часть этого полотна, которую в своих разъездах

по кастильской глуши Сулоага чудом обнаружил. Если верить описи имущества Греко, недавно найденной сеньором Сан-Романом, этот холст был, вероятно, одной из последних работ Доменико Теотокопули. На нем как бы посмертное видение материи сжигаемому собственным огнем духу. На первом плане слева — огромный святой Иоанн, старик, воздевший руки с ужасом и мольбою. За ним, под великой битвой в облачной высоте, — пылающие нагие тела, рвущиеся воспарить и истаять в бестелесной, уже почти духовной драме небес. И больше ничего. Да и нужно ли что-то еще? «Апокалипсис» — образец и прообраз искусства: прямо перед нами, в пугающей близости — сам простейший и глубочайший предмет живописи как таковой. Клочок материи, обреченной огню.

ДВЕ ГЛАВНЫЕ МЕТАФОРЫ

К двухсотлетию Канта

Когда тот или иной автор упрекает философию в использовании метафор, он попросту признается, что не понимает и философию, и метафору. Ни один из философов не избежал подобных упреков*. Метафора — незаменимое орудие разума, форма научного мышления. Употребляя ее, ученому случается сбиться и принять косвенное или метафорическое выражение собственной мысли за прямое. Подобная путаница, конечно же, достойна порицания и должна быть исправлена; но ведь такого рода погрешность может допустить при расчетах и физик. Не следует же отсюда, будто математику надлежит изгнать из физики. Ошибка в применении метода не довод против него самого. Поэзия изобретает метафоры, наука их использует, не более. Но и не менее.

С боязнью метафор в науке происходит ровно то же, что со «спором о словах». Чем неусидчивее ум, тем охотнее он считает любую дискуссию всего лишь спором о словах. И, напротив, до чего же редки эти споры на самом деле! Строго говоря, вести их способен лишь тот, кто искушен в грамматике. Для других же слово равно

© Перевод. Б. В. Дубин, 1991 г.

* Заметим, что Аристотель порицал Платона не с тем, чтобы подвергнуть его метафоры критике, а, напротив, утверждая, что некоторые его притязания на строгость понятия, например «сопричастность», на самом деле всего лишь метафоры. — *Примеч. автора.*

значению. И потому, обсуждая слова, труднее всего не подменять их значениями. Или тем, что старая логика по традиции именовала понятиями. А поскольку понятие — это в свою очередь нацеленность мысли на предмет, споры будто бы о словах — на самом деле дискуссии о предметах. Разница между двумя значениями или понятиями — иначе говоря, предметами — бывает настолько мала, что для человека практического либо недалекого не представляет никакого интереса. И тогда он обрушивается на собеседника, обвиняя его в пустых словопрениях. Мало ли на свете близоруких, готовых считать, будто все кошки и впрямь серы! Но точно так же всегда отыщутся люди, способные находить высшее наслаждение в малейших различиях между предметами; эти виртуозы оттенков есть всюду, и в поисках любопытных идей мы обращаемся именно к ним, спорщикам о словах.

Ровно так же неспособный или не приученный размышлять ум при чтении философского труда вряд ли примет за простую метафору мысль, которая и в самом деле всего лишь метафорична. То, что выражено *in modo obliquo*, он поймет *in modo recto*, приписав автору ошибку, которую в действительности привнес сам. Ум философа должен, как никакой другой, безостановочно и гибко переходить от прямого смысла к переносному, вместо того чтобы костенеть на каком-то одном. Киркегор рассказывает о пожаре в цирке. Не найдя, кого послать к публике с неприятным известием, директор отправляет на арену клоуна. Но, слыша трагическую новость из клоунских уст, зрители думают, что с ними шутят, и не трогаются с места. Пожар разгорается, и зрители гибнут — от недостаточной пластичности ума.

Метафору в науке используют в двух разных случаях. Во-первых, когда ученый открывает новое явление, иначе

говоря, создает новое понятие и подыскивает ему имя. Поскольку новое слово окружающим ничего не скажет, он вынужден прибегнуть к повседневному словесному обиходу, где за каждым словом уже записано значение. Ради ясности он в конце концов избирает слово, по смыслу так или иначе близкое к изобретенному понятию. Тем самым термин получает новый смысловой оттенок, опираясь на прежние и не отбрасывая их. Это и есть метафора. Когда психолог вдруг открывает, что мысленные представления связываются между собой, он говорит, что они сообщаются, то есть ведут себя словно люди. Точно так же и тот, кто первым назвал объединение людей «обществом», придал новую смысловую краску слову «сообщник», прежде обозначавшему просто-напросто идущего следом, последователя, sequor. (Любопытно, что этот исторический пример подтверждает идеи о происхождении общества, изложенные в моей книге «Бесхребетная Испания».) Платон пришел к убеждению, будто истинна не та изменчивая реальность, что открыта глазу, а другая — непоколебимая, невидимая, но предвосхищаемая в форме совершенства: несравненная белизна, высшая справедливость. Для этих незримых, но открытых разуму сущностей он нашел в обыденном языке слово «идея», то есть образ, как бы говоря: ум видит отчетливее глаза.

Строго говоря, следовало бы заменить и сам термин «метафора», чей привычный смысл может увести в сторону. Ведь метафора — это перенесение имени. Но тысячи случаев переноса не имеют ничего общего с метафорой. Вот лишь несколько избитых примеров.

Слово «монета» означает отчеканенный металлический предмет, опосредующий торговые операции. Но первоначально оно значило «та, которая увещевает, уведом-

ляет и оповещает» и было прозвищем Юноны. В Риме стоял храм Юноны Монеты, при котором существовала и служба чеканки. Этот придаток отобрал у Юноны имя. И теперь при слове «монета» никто уже не вспомнит о надменной богине.

Слово «кандидат» означало человека в белых одеждах. Когда гражданин Рима избирался на государственную должность, он предстал перед голосующими в белом наряде. Теперь кандидат — это каждый, кого избирают, вне зависимости от цвета платья. Больше того, избирательные торжества нашего времени склоняются к черному костюму.

«Забастовать» — по-французски «se mettre en grève»*. Почему слово «grève» означает забастовку? Сами говорящие этого не знают, да и не задаются подобным вопросом. Для них слово напрямую отсылает к смыслу. «Grève» первоначально значило «песчаный берег». Парижская ратуша была неподалеку от реки. Перед ней простирался песчаный берег, grève, по которому и ратушная площадь получила название place de la Grève. Здесь собирались безработные, позже — уволенные, в ожидании найма. Faire grève теперь уже означало «остаться без места», а сегодня подразумевает добровольный отказ от работы. Всю эту историю воскресили филологи, но ее не существует для рабочего, просто пользующегося данным словом.

Это примеры неметафорического переноса. Слово в таких случаях начинает вместо одного значить другое, отказываясь от первого смысла.

Когда говорят о глубинах души, слово «глубины» не относят к явлениям духовным: они вне пространства, вне материи и не обладают соответственно ни поверх-

* собраться на песчаном берегу (*фр.*).

ностью, ни глубиной. Называя некую часть души «глубинами», мы ясно сознаем, что пользуемся словом не по прямому назначению, хотя и через посредство его обиходного смысла. Произнося слово «красный», мы прямо и непосредственно отсылаем к названному цвету. Напротив, говоря о «глубинах» души, мы сначала имеем в виду глубины тоннеля или чего-то подобного, а затем, разрушив этот первичный смысл, стерев в нем всякий след физического пространства, переносим его на область психического. Метафора живет сознанием этой двойственности. Употребляя слово в несобственном смысле, мы помним, что он — несобственный.

Тогда зачем же мы его употребляем? Почему не пользуемся прямым и непосредственным обозначением? Если так называемые «душевные глубины» встают перед нами столь же отчетливо, как красный цвет, отчего не найти для них точное, неповторимое слово? Дело в том, что нам трудно не только назвать, но даже помыслить их. Реальность ускользает, прячась от умственного усилия. Тогда-то перед нами и начинает брезжить вторая, куда более глубокая и насущная роль метафоры в познании. Мы нуждаемся в ней не просто для того, чтобы, найдя имя, довести наши мысли до сведения других, — нет, она нужна нам для нас самих: без нее невозможно мыслить о некоторых особых, трудных для ума предметах. Она не только средство выражения, но и одно из основных орудий познания. Рассмотрим же почему.

Джон Стюарт Милль полагал: будь все влажное холодным, а все холодное влажным и одно не представимым без другого, мы бы не поверили, что имеем дело с разными свойствами. Точно так же, если бы мир состоял целиком из синих предметов и всякий раз являлся перед нами синим, нам было бы труднее всего ясно и

отчетливо сознавать синеву как таковую. Для собаки предмет особенно осязателен, когда движется, источая при этом облачко запаха. Но и наше восприятие и мышление схватывает изменчивое лучше, чем постоянное. Живя рядом с водопадом, к его грохоту привыкаешь: напротив, случись потоку застыть, мы почувствовали бы самое невероятное — тишину.

Поэтому чувство, по Аристотелю, есть способность воспринимать различия. Оно схватывает разнообразное и переменчивое, но притупляется и слепнет перед устойчивым и неизменным. Потому и Гете парадоксально и по-кантовски считает предметы различиями, которые мы между ними проводим. Сама по себе ничто, тишина реальна для нас лишь на фоне иного — шума. Стоит шуму вокруг внезапно стихнуть, и обступившая тишина захлестывает нас, цепеня, словно кто-то, суровый и важный, склонился над нами, пригвождая взглядом.

Поэтому отнюдь не всё в равной мере поддается мысли, оставляя по себе отчетливый образ, резкий и ясный профиль. Разум склонен опираться на легкое и доступное, чтобы достигнуть более трудного и неуловимого.

Подытожим: метафора — это действие ума, с чьей помощью мы постигаем то, что не под силу понятиям. Посредством близкого и подручного мы можем мысленно коснуться отдаленного и недостижимого. Метафора удлиняет радиус действия мысли, представляя собой в области логики нечто вроде удочки или ружья.

Я не хочу сказать, будто благодаря ей преодолеваются границы мышления. Она всего лишь обеспечивает практический доступ к тому, что брезжит на предельном достижимом. Без нее на горизонте сознания оставалась бы невозделанная область, в принципе входящая в юрисдикцию разума, но на самом деле безвестная и неприрученная.

Метафора в науке носит вспомогательный характер. Яснее всего это в сравнении с поэзией, где она и есть самая суть. Однако эстетика видит в метафоре лишь завораживающий отсвет прекрасного. А потому мало кто в должной мере понимает, что метафора — это истина, проникновение в реальность. И, стало быть, поэзия есть, среди прочего, исследование: она вырабатывает столь же положительные знания, как наука.

В «Стихах к городу Логроньо» Лопе де Вега изображает сад:

Глянь: ветер там купается в фонтанах,
чьи воды в превращениях неустанных
раскидывают струи,
то копиями хрустальными подьема,
то жемчугами осыпая землю, —
и капли, на лету неуследимы,
кудрями виснут, розны и едины.

Лопе де Вега представляет фонтанные струи хрустальными копиями. Очевидно, что струи — не копия. И все же, называя их так, поэт будит в нас удивление и радость. Поэзия в вечном противоборстве превозносит неиспроверяемое наукой. И обе по-своему правы. Одна ценит в метафоре именно то, к чему равнодушна другая.

Фонтанная струя и хрустальное копье — два конкретных предмета. Конкретно все, что может быть воспринято само по себе. Напротив, отвлеченное воспринимает только слитно с чем-то другим. Скажем, цвет абстрактен: он связан с некой поверхностью большего или меньшего размера, той либо иной формы. Но и поверхность видна лишь постольку, поскольку так или иначе окрашена. Цвет и поверхность обречены на совместное существование: друг без друга они не встре-

чаются и, при всех различиях, неразлучны. При некотором напряжении ума мы в силах отделить их друг от друга; это напряжение и есть абстракция. Мы абстрагируемся от одного, чтобы оставить по возможности отдельным другое и тем самым отличить его.

Все конкретное состоит из более простого и отвлеченного. Скажем, хрустальное копьё обладает, среди прочего, формой и цветом; рука придала ему и движение к цели. Точно так же можно абстрагировать от фонтанной струи ее форму, цвет и приданное напором движение ввысь. Если взять струю и копьё в целом, между ними множество различий; но стоит ограничиться тремя перечисленными абстрактными свойствами, и различия стираются. Форма, цвет и движение у копьё и струи те же. И наука со всей строгостью утверждает это частичное тождество копьё и струи как действительный факт.

Звезда и число совершенно не сходны. И все же, когда Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения, по которому сила притяжения между двумя телами прямо пропорциональна их массе и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними, он установил частичное, абстрактное тождество между небесными светилами и рядом чисел. Первые соотносятся друг с другом точно так же, как вторые. Пифагореец, который сделал бы из этого вывод, будто звезды суть числа, прибавил бы к формуле Ньютона ровно столько, сколько прибавляет Лопе де Вега к действительному, хоть и частичному сходству между хрустальными копьёми и фонтанными струями. Научный закон говорит всего лишь о тождестве между абстрактными частями двух предметов; поэтическая метафора утверждает полное сходство двух конкретных вещей.

Стало быть, наука использует примерно те же интеллектуальные средства, что поэзия и практическая жизнь.

Разница — не в них самих, а в несходстве режимов и задач, которым подчиняется каждая сфера. Точно так же — с метафорическим мышлением. Действуя и в науке, и в поэзии, оно выполняет разные роли. Поэт утверждает частичное тождество двух предметов, чтобы сделать вывод — и ошибочный! — об их полном сходстве. В подобном преувеличении, прорыве истинных границ тождества как раз и состоит ценность поэзии. Там, где кончается действительное сходство, метафора начинает излучать красоту. И наоборот: всякая поэтическая метафора обнаруживает действительное тождество. Всмотритесь в любую, и вы наверняка откроете в каждой фактическое, так сказать, научно установленное сходство между абстрактными частями двух предметов.

Ученый поступает с метафорой прямо противоположным образом. Она исходит из полного — и, как известно, мнимого — тождества между конкретными предметами, чтобы вычленив из него лишь то, что установлено неоспоримо. Говоря о душевных глубинах, психолог прекрасно знает, что душа не тоннель и глубины не имеет, но он наводит нас на мысль о таком слое психики, который в структуре душевной жизни играет ту же роль, что глубина — в пространстве. В противоположность поэзии наука идет от большего к меньшему. Сначала она утверждает полное тождество, а затем опровергает его, ограничиваясь частичным. Любопытно, что на древнейших этапах развития мысли метафора, воплощаясь в слове, непременно обнажала этот двойной ход — утверждения вначале и отрицания впоследствии. Когда авторы Вед хотят сказать «крепкий как скала», они выражаются так: «*Sa parvato na acyutas*», то есть «*ille, firmus, non rupes*» — «крепкий, но не скала». Точно так же песнопевец обращает к Богу свой гимн *non suavem cibum*, кото-

рый сладостен, но не яство. Река ревет, но не бык; царь добр, но не отец.

Герой наделен особым свойством духа, которое неразлично смешано с другими, составляя его целостный и неповторимый облик. Нужно известное усилие, чтобы отделить это свойство, представив его особо, само по себе. Для этого мы вслед за ведийским поэтом употребляем метафору «скалы». Крепость скалы для нас — отвлеченное, хорошо известное и привычное качество; в нем обнаруживается что-то общее со свойствами героя. И вот мы соединяем скалу с героем, а затем, придав ему ее крепости, видим перед собой уже одну скалу.

Чтобы представить себе что-то в отдельности, нужен знак, который как бы втягивает в себя наше абстрагирующее усилие и, дав ему воплощение, тем самым закрепляет мысль на подручном носителе. Люди и образы, увековеченные в письме, — своего рода склады таких приспособлений, необходимых нам для наиболее сложных действий ума. Когда предмет мысли непривычен, мы пытаемся опереться на уже известные знаки и, соединяя их, очертить профиль нового.

Наша письменность практичнее китайской, поскольку создана на механической основе. Каждой букве дан особый знак. Но буквы не обладают значением и не выражают идей, а потому наша письменность, строго говоря, бессмысленна. Китайская же, напротив, напрямую обозначает идеи и куда ближе к течению мысли. Писать или читать для китайца значит мыслить и, наоборот, мыслить — это почти всегда писать или читать. Поэтому знаки китайского письма точнее наших отражают процесс мышления. Скажем, когда китаец стремится выразить особое и неповторимое состояние грусти, он вынужден подыскивать для него знак. И тогда он

соединяет две идеограммы: одна означает «осень», другая — «сердце». Грусть понимают и записывают как «осень сердца». Не так давно умы жителей Поднебесной поразила идея республики. В древних словарях значка для столь диковинного представления не было. На протяжении пятнадцати веков китайцы жили в патриархальных монархиях. Пришлось соединить несколько знаков, записав понятие «республика» тремя идеограммами, которые означают «кротость-обсуждение-правление». Республика для китайцев — это кроткое правление, основанное на обсуждении.

Метафора и есть одна из таких составных идеограмм, с чьей помощью мы придаем отвлеченным и труднодоступным предметам особое существование. Она тем нужнее, чем дальше мы отходим от вещей, то и дело подвертывающихся под руку на повседневных дорогах жизни.

Не будем забывать, что человеческий разум пробуждался медленно, по мере удовлетворения биологических потребностей. Вначале человеку было нужно хоть как-то подчинить себе физический мир. Доступные чувствам образы единичных предметов первыми закрепились в уме и вошли в привычку. Они составили самый старый, надежный и привычный реквизит наших мысленных реакций. К ним мы прибегаем всякий раз, когда ум исчерпывает резервы и нуждается в отдыхе. А вот чтобы отделить от жизни тела область психического, уже требуется абстрагирующее усилие, которое и до сих пор не полностью вошло в обиход разума. Над тем, чтобы изолировать наше восприятие психического, бьются философы и психологи. Но как бы ни называть плоды деятельности сознания — разумом или душой, — они все-таки неотделимы от тела: пытаясь думать о них как об особых сущностях, мы неизбежно подыскиваем им телесное

воплощение. Скольких усилий стоило человеку выделить в чистоте эту внутреннюю психическую сущность, которая заброшена в чуждый ей материальный мир и наделена собственной силой чувства и предвосхищения! История личных местоимений развернет перед нами череду подобных усилий, показывая, как в долгом продвижении от внешнего к внутреннему формируется понятие «я». Сначала вместо «я» говорят «моя плоть», «мое тело», «мое сердце», «моя грудь». Мы еще и теперь, с ударением произнося «я», прижимаем руку к груди — остаток древнего телесного представления о личности. Человек познает себя через то, чем владеет. Притяжательное местоимение старше личного. Понятие «моего» старше понятия «я». Позже акценты переносятся с вещи на социальную маску. Образ себя, который создан в расчете на других, то есть самый внешний слой личности, выдается за ее истинную сущность. В японском языке нет местоимений «я» и «ты». О себе говорят словами «ничтожный», «неразумный», о собеседнике — выражениями «почтенный», «высочайший» и т. п. О себе упоминают в третьем лице, как о вещи, и этикет общения в том и состоит, чтобы правильно понять, кто из говорящих «ничтожный», а кто — «высочайший». В языке североамериканских индейцев юпа местоимения третьего лица различаются в зависимости от того, относятся ли они к взрослому члену племени, ребенку или старику. Рискнем сказать, что социальная титулатура — все эти наши «превосходительства», «светлости» и «высочества» — предшествовала простым личным местоимениям.

Поэтому неудивительно, что в языке так мало слов, изначально относящихся к действиям сознания. Почти весь понятийный аппарат психологов — чистые метафоры: слова со значением тела приспособлены косвенно обозначать движения души.

Но наша внутренняя, отвлеченная от тела личность еще относительно конкретна. Есть предметы гораздо более абстрактные и темные: чтобы помыслить их, метафорический инструментарий куда нужнее.

Представлять предмет ясно и отчетливо — значит думать о нем как об особой сущности, мысленным лучом выделив его из окружения. Поэтому легче представить себе изменчивое, чем постоянное. Изменение смещает строй реальности так, что ее элементы образуют новые связи. Влажность то ассоциируется с теплотой, то соединяется с холодом. Изъятый из таких сочетаний, предмет оставляет за собой очерк пустоты, словно плитка, выпавшая из мозаики.

Поэтому воспринять предмет тем труднее, чем богаче связи, в которые он вступает. О его верность себе при любых переменах наша восприимчивость притупляется.

Вот об этом и речь: есть сущность, которая частью или примесью входит во все, точно красная нить, вплетенная в любой канат Королевского морского флота Британии. То всеобщее, неуничтожимое и вездесущее, что неизбежно сопутствует всякому явлению, и называется сознанием.

Невозможно представить себе что бы то ни было вне отношения к нам: минимум связей с окружающим — это связь с сознанием. Какими бы разными ни казались два предмета, они, во всяком случае, имеют одно общее свойство — быть предметами нашей мысли, объектами для субъекта.

Понятно, что труднее всего познать, почувствовать, описать и определить именно этот всеобщий, неуничтожимый и вездесущий феномен — сознание. Все остальное дано и воспринято лишь благодаря ему. Оно, собственно, и есть данность, открытость разумению. Как

обязательная добавка оно входит во все — входит неотторжимо, незыблемо и непременно. И если мы отличаем холод от влажности, поскольку влажность связана то с холодом, то с теплом, тогда как определить саму область их проявлений — сознание? Где без метафоры не обойтись, так это именно здесь.

Понять же всеобщую связь между объектом и субъектом, иначе говоря, способность разумения, можно только сравнив ее с другой формой связи, частичной. Результатом сравнения и будет метафора. Но нужно быть начеку, чтобы, истолковывая всеобщее через частичное и более доступное, не упустить из виду, что имеешь дело с научной метафорой, и — по законам поэзии — не отождествить одного с другим. Оступиться тут рискованно. Ведь от того, как мы представляем себе сознание, зависит весь наш образ мира, а от него в свою очередь — нравственность, политика, искусство. Целостное здание мира и бытия в нем покоится здесь на мельчайшей, неощутимой частице одной-единственной метафоры.

В самом деле, две главные эпохи человеческой мысли — древний мир, включая Средневековье, и новое время, начиная с Возрождения — существовали благодаря двум уподоблениям, теням двух снов, как сказал бы Эсхил. Две эти ключевые метафоры в истории философии с поэтической точки зрения немногого стоят. Ими пренебрег бы и зауряднейший лирик.

Как античность объясняла себе тот потрясающий факт, что мир встает перед нами, облик за обликом разворачивая зрелище бесчисленных предметов? Уточню смысл вопроса. Взглянем на горную цепь Гуадаррамы. Перед нами гора высотой около двух тысяч метров, она гранитная, сиреневая с голубым. Но разум — вне пространства, он безразмерен, бесцветен, не обладает со-

противлением. Итак, объект и субъект мысли имеют противоположные свойства, взаимно исключают и друг друга и возможность всякой связи между собой, поскольку взаимное отрицание связью, конечно, не является. И все же, глядя на гору, субъект и объект восприятия — гора — образуют вполне положительную связь: они входят друг в друга, становясь одним. Как будто бы два полностью исключаящих друг друга феномена тем не менее составляют одно. Перед нами противоречие, не так ли? Но в нем и заключается вопрос. Столкнувшись с противоречием, разум теряет равновесие. Решив, будто А есть Б, он тут же пытается исправить ошибку и утверждает, что А не есть Б; но, встав на эту новую позицию, он неизбежно возвращается к началу, и так без конца. Это вынужденное кружение расшатывает мысль, лишая ее покоя и безмятежности. Чтобы вырваться, мы начинаем сопротивляться и пытаемся превзойти противоречие, разрешить вопрос. Соломинка в воде прямая — и нет. Что же выбрать? «Быть или не быть — вот в чем вопрос». «To be or not to be; that is the question».

А вопрос этот, если можно так выразиться, с двойным дном. То, что наш разум воспринимает явление, бесспорно, значит, что оно — в данном случае гора — «находится в нас». Но каким образом двухтысячестроковый пик может находиться в уме, который пространственных измерений не имеет? Первое «дно» вопроса — в том, чтобы попросту описать способ, каким вещи существуют в сознании. Второе — в том, чтобы объяснить, как, по каким причинам или при каких условиях это возможно. Обе стороны вопроса должны решаться по отдельности. Как раз здесь и древний мир, и новое время совершили ошибку: они спутали описание феномена с объяснением. Если нас спрашивают: «Почему Хуан та-

кой странный?» — мы вправе сами спросить: «А кто такой Хуан?» Раньше, чем обсуждать причины происходящего с Испанией, стоило бы выяснить, что же с ней, собственно, происходит.

Для античности субъект, осознавая нечто, как бы входит с ним в связь — так два физических тела, столкнувшись, оставляют отметины друг на друге. Метафора печати, с ее слабым, оттиснутым на воске следом, вошла в сознание эллинов и век за веком задавала ориентир мышлению. Уже в «Теэтете» Платон упоминает *ekmageion* — воощеную дощечку, на которой писец процарапывает стилем очертания букв. Повторенный Аристотелем в трактате «О душе» (книга III, глава IV), этот образ пережил средние века, и в Париже и Оксфорде, Саламанке и Падуе преподаватели столетиями вбивали его в тысячи юношеских голов. Итак, субъект и объект ведут себя ровно так же, как два любых других физических тела. Оба существуют независимо друг от друга и тех отношений, в которые иногда вступают. Предмет зрения существует до того, как увиден, и продолжает существовать, будучи уже невидим; разум остается разумом, даже если ни о чем не мыслит и ничего не сознает. Столкнувшись с разумом, предмет оставляет на нем отпечаток. Сознание — это впечатление.

Для этой мыслительной традиции сознание (или связь между субъектом и объектом) — событие столь же реальное, как столкновение двух тел. Оттого она и названа реализмом. Оба элемента — и предмет, и разум — здесь одинаково реальны, как реально и воздействие одного на другой. Причем оба трактуются на первый взгляд совершенно беспристрастно. Но стоит присмотреться, как убеждаешься: допуская, что материальный предмет отпечатывается на другом, нематериальном, мы относим-

ся к ним абсолютно одинаково, иначе говоря, воспринимаем сравнение с воском и печатью буквально. Субъект принижается до объекта. Его собственной природе не воздано должного.

Отсюда — все античное понимание мира. «Быть» — для античности значит находиться среди других предметов. А они существуют, опираясь друг на друга и складываясь в грандиозное здание вселенной. Личность всего лишь один из таких предметов, погруженных, по словам Данте, в «великое море бытия». Сознание — крошечное зеркало, где отражается только внешность вещей. Поэтому личности в античном космосе отведено не много места. Платон предпочитает говорить «мы», полагая, что единство — залог силы. Соответственно греки и римляне искали жизненную норму, нравственный закон в приспособлении личности к космосу. Так, подытоживая классическую традицию, стоики видели цель в том, чтобы «жить в согласии с Природой», поскольку Природа целостна и не знает страстей. Сознание личности, словно умоляющая рука слепца — а Стагирит считал душу чем-то вроде руки, — должно было ощупью отыскивать дороги мира, чтобы найти среди них свой скромный путь.

Ренессанс, который вопреки расхожему суду был не столько возвратом к классической древности, сколько ее преодолением, не мог миновать проблему сознания.

На самом деле образ вощенной дощечки плохо согласуется с фактом, который берется объяснить. После того как печать вмята в воск, перед нами равно очевидные печать и оставленный ею отпечаток. Одно с другим можно сравнить. Иное — в случае в Гуадаррамой: нам доступен лишь ее отпечаток в сознании, но не она сама. Будь это галлюцинацией, качество изображения осталось бы тем

же. Потому заявлять, будто предметы существуют вне и помимо нашего сознания, весьма рискованно. У нас нет о них других авторитетных свидетельств, кроме собственного разума, когда мы их видим, воображаем, обдумываем. Скажем иначе: факт, что предметы каким-то образом находятся в нас, неоспорим. А вот существование их вне нас, напротив, всегда сомнительно и проблематично. Пытаться же объяснить бесспорное через предполагаемое, один факт через другой, по меньшей мере сомнительный, — задача абсурдная. Декарт изменил сам подход к вопросу. Единственно подлинное существование вещей — их существование в мысли. Вещи умерли как реальности, чтобы воскреснуть как *cogitationes**. Но «акты мышления» — это всего лишь состояния субъекта, личности, того *moi-meme qui ne suis qu'une chose qui pense*. С этой точки зрения сознание относится к миру совершенно иначе, чем полагала античность. Место печати и вощенной дощечки заступает новая метафора — сосуда и содержимого. Вещи не входят в сознание извне, они содержатся в нем как идеи. Новое учение назвало себя идеализмом.

Строго говоря, сознание, разумение — понятия родовые. Есть множество разных форм сознания: зрение и слух, то есть восприятие, не то же, что воображение или чистая мысль. Античная философия выделяла прежде всего восприятие: посредством его предмет и в самом деле как бы приходит к субъекту со стороны и оставляет на нем оттиск. Новое время сосредоточилось, напротив, на воображении. Когда сознание работает в режиме воображения, не предметы приходят к нам по собственной воле — это мы вызываем их. Больше того, мы черпаем в этом бодрость духа, чтобы из самых мрачных

* рассуждения, размышления (*лат.*).

нелепостей создавать юных кентавров, летящих, распус-тив на призрачном весеннем ветру гриву, вслед за не-уловимыми белокожими нимфами. С помощью вообра-жения мы творим и рушим предметы, делим и перетасовываем их. А потому содержание мысли не мо-жет войти в нас извне, мы должны извлечь его из соб-ственных глубин. Сознание — это творчество.

Современная эпоха явно предпочитает способность воображения. Гете видит в «вечно беспокойной, вечно юной дочери Юпитера Фантазии» триумф мироздания. Лейбниц сводит реальность к монаде, чья суть — в сти-хийной мощи представлений. Кант создает систему, ось которой — *Einbildungskraft*, воображение. Шопенгауэр заключает, что мир — это наше представление, гранди-озная фантазмагория, призрачная завеса образов, кото-рые творит сокровенное космическое желание. А моло-дой Ницше обнаруживает в мироздании всего лишь театральную игру скучающего бога: «Мир — это сон и дым перед глазами того, кто от века не знает покоя».

Судьба личности в корне переменялась. Как в вос-точных сказках, нищий проснулся принцем. В конце концов Лейбниц присваивает человеку имя *un petit Dieu**. Кант возводит его в сан верховного законодателя При-роды. И, как всегда не знающий меры, Фихте не согла-сен на меньшее, заявляя: «Личность — это все».

* маленький бог (*фр.*).

РАЗМЫШЛЕНИЕ О РАМКЕ

В поисках темы

В комнате, где пишу, почти пусто. Среди считанных вещей — две фотографии и небольшой холст: в минуты невольного безделья, болезни или усталости я чаще всего останавливаюсь глазами на них. Фотографии смотрят друг на друга с противоположных стен. На одной — Джоконда из музея Прадо, на другой — «Мужчина с рукой у груди» неистового толедского грека. У неизвестного подвижное и страстное лицо, он как будто сдерживает рукой разошедшееся сердце и обжигает мир пылким взглядом. Белый воротник исходит звездным свечением, острая борода вздрагивает, и, золотясь на фоне черной одежды, неумным огнем поблескивает на поясе рукоятка шпаги. Мне всегда казалось, что это и есть самый верный портрет Дона Жуана — Дона Жуана в моей трактовке, не слишком похожей на привычную. Что до Джоконды, с ее выбритыми бровями и мягкой плотью моллюска, с неуловимой улыбкой, влекущей и неприступной разом, она для меня — воплощенная женственность. Дон Жуан — в первую голову мужчина, перед женщиной он мужчина и только: не отец, не муж, не брат и не сын. Точно так же Джоконда — сама суть женщины, ее неотразимого очарования. Мать и жена, сестра и дочь — все это своего рода окислы женского естества, маски, которые надевает женщина, перестав быть собой или еще

не достигнув себя. Большинству женщин отпущен лишь миг расцвета, однако и мужчина остается Доном Жуаном разве что несколько мгновений. Сумей мы продлить эти минуты, растянув их на всю жизнь, у нас получились бы образцовые Дон Жуан и Донья Жуана. Потому что Джоконда на самом деле и есть Донья Жуана. Передо мной две фотографии на противоположных стенах. Вот бы поставить опыт: непобедимый Дон Жуан и впрямь оказывается лицом к лицу с Доньей Жуаной. Что тогда? Кажется, вокруг уже не комната, а лаборатория психолога, где идет решающий эксперимент. Опускается вечер, последние блики еще борются по углам с нашествием сумерек, а между фотографиями длится неустанный обмен энергией. Я не раз заставлял их безмолвный диалог, атаку и отпор двух насыщенных смыслом картонных прямоугольников, когда они, как фейерверочные цитадели, издали сокрушали друг друга неслышными пылками залпами.

Поскольку нужно заполнить номер и не хватает одной заметки, не развить ли подвернувшуюся тему? Увы. Непомерную тему любви и муки в заметку не втиснешь, ей не хватит и дюжины, а у меня место лишь для одной.

Поищем предмет поскромней. Скажем, маленький холст слева от «Мужчины с рукой у груди». На нем — вид кисти Регойоса, скромнейшего из живописцев, фра Анжелико рощ и садов, не встающего с колен, только бы в точности передать кочан капусты. Передо мной уголок возле Бидасоа, в кротком краю зеленых огородов, где на горизонте мглятся свинцовые хребты Франции, над головой плывут невесомые облака, петляет речное русло, блещет зажженное последним солнечным бликом селение и по мосту, соединяющему народы и страны, бежит, только лишь и нарушая отуманенный покой, крошечный паровоз. Клубы дыма взмывают вверх,

растворясь, сгущаются снова, и так без конца. Этот точечный ритм — смерть и воскресение паровозного дымка — словно живой пульс картины, которая вновь и вновь нагоняет время и потому не стареет.

Так может, воспользоваться тем, что приходит в голову при взгляде на этот маленький холст? Опять не выйдет. Сочинить несколько заметок подряд — проще простого, но одну-единственную!.. Знал бы читатель, как нелегко ограничиться лишь одной заметкой. Мир полон чудес! О любой мелочи можно столько сказать! Но до чего же больно своей рукой отсекаать лишнее и предлагать читателю обкромсанный торс!

Итак, нужен предмет еще скромней, нежели скромное полотно скромного мастера. Допустим, эта золоченая рама. Почему бы не поделиться с читателем кратким размышлением о рамке? А ограничив тему, мы, естественно, успеем ее лишь коснуться.

Рамка, одежда и украшение

Картины всегда обрамлены. Связь между картиной и рамой не случайна: они нуждаются друг в друге. Полотно без рамы похоже на ограбленного и донага раздетого человека. Смысл при этом переливается через край холста и улетучивается с воздухом. И наоборот: рама требует вставленной в нее картины, а иначе превращает в картину все, что обрамляет.

Связь между картиной и рамой относится, стало быть, к самой их сути, а отнюдь не притянута за волосы. В ней есть что-то от физиологической необходимости — так

нервная система подразумевает сосудистую и наоборот; так торс завершается головой, а голова венчает торс.

Но не надо путать связь между рамой и холстом, с одной стороны, и одеждой и телом, с другой; хотя это первое, что приходит на ум. Рама — вовсе не одежда картины уже хотя бы потому, что одежда скрадывает тело, тогда как рама выставляет картину напоказ. Конечно, и одежда сплошь и рядом приоткрывает тело, но это всегда кажется какой-то выходкой, отступлением ее от собственной сути, чуть ли не грехом. Между открытой и закрытой частями тела неукоснительно поддерживается определенная пропорция, и стоит первой превысить последнюю, как одежда попросту перестает быть одеждой, сводясь к украшению. Так, набедренная повязка обнаженного дикаря уже не столько костюм, сколько орнамент.

Но не нужно путать раму с украшением. Украшение, и прежде всего украшение собственного тела — первое художническое действие человека. В первобытном искусстве украшения, как в зерне, уже содержится все дальнейшее. А это первое произведение искусства состояло всего лишь в том, чтобы соединить два природных элемента, которые в самой природе разобщены. И вот человек воткнул в волосы птичье перо, повесил на шею ожерелье из звериных зубов или окружил запястье ниткой блестящих камней. Перед нами как бы первый ребяческий лепет на будущем сложнейшем и богоподобном языке искусства.

Зачем индеец втыкал в волосы яркое птичье перо? Желая привлечь к себе внимание, подчеркнуть отличие от других, преимущество перед ними. Биология подтверждает, насколько глубже инстинкта самосохранения лежит инстинкт превосходства, господства над окружающими.

Тот, по-своему гениальный, туземец открыл в себе странное чувство, будто он достойнее прочих, мужественней иных; его свистящая стрела в непроглядной пуще оказалась самой точной и стремглав вонзилась под крыло, отнимая жизнь у птицы с пышными перьями. Это сознание превосходства до времени дремало у него в груди. Но, втыкая в волосы перо, он словно давал выход своему глубокому, затаенному чувству. И разве перо над головой предназначалось лишь для того, чтобы его просто увидели? Вовсе нет: это был своего рода громоотвод, собиравший взгляды окружающих и изливавший их на героя. Перо служило как бы знаком ударения, а ведь он выделяет не себя, а букву, над которой поставлен. Вот перо и подчеркивало, выделяло голову и торс индейца, сияя над ним, как кричащий мазок, брошенный на все четыре стороны света.

Любое украшение имеет смысл, очевидный в наклонном, указующем пере над головой туземца: привлечь внимание, но лишь затем, чтобы сконцентрировать его на том, кто украшен. А рама как раз и не привлекает взгляда. Доказать это проще простого. Попробуйте-ка вспомнить самые известные вам полотна, и вы убедитесь, что начисто забыли их рамы. Мы замечаем раму, только если в ней нет картины, скажем, в мастерской столяра, где рамы стоят без дела как безработные.

Остров искусства

Рама не привлекает взгляды к себе, а лишь конденсирует их, чтобы потом излить на полотно. Но и эта роль не главная.

Стена, на которой висит холст Регойоса, площадью метров в шесть. Само полотно занимает ничтожную

часть, однако на нем целая долина в округе Бидасоа: там есть река, мост, рельсы, деревушка и зигзаг горного хребта. Как же все это смогло разместиться на таком скудном пространстве? Разумеется, лишь отсутствуя наяву. Передо мною вид на холсте, а не в реальности, и мост, если разобраться, здесь вовсе не мост, дым — не дым, а поле — не поле. Все тут — только метафора, воображаемая реальность. Живопись — как, впрочем, и поэзия, и музыка, да и любое иное искусство — это щель в нереальное, чудесно прорезавшаяся вдруг среди окружающей нас реальной жизни.

Глядя на серую стену жилья, я замкнут в сфере непосредственной пользы. А смотря на картину, вторгаюсь в воображаемое пространство и предаюсь чистому, незаинтересованному созерцанию. Стало быть, стена и картина — два враждебных и не соприкасающихся мира. Сознание перескакивает из реальности в нереальное, как из яви в сон.

Произведение искусства — это остров воображения, со всех сторон омываемый реальностью. Потому область эстетического и должна быть отделена от окружающей жизни. Нельзя просто шагнуть с привычной земли под ногами на землю в картине. Больше того, нечеткость границ между художественным и повседневным ощущаешь как безвкусицу. Полотно без рамы, затертое среди обиходных вещей, теряет красоту и силу. Нам не по себе, когда реальная стена вдруг обрывается, и мы без предупреждения, с маху попадаем в нереальное пространство картины. Не хватает шлагбаума. Это и есть рамка.

Чтобы отделить одно от другого, нужно нечто третье, среднее. Рама — это уже не стена, то бишь попросту часть полезного жизненного окружения, но еще и не зачарованная поверхность картины. Граница между двумя мирами, она как бы стусевывает прилегающую по-

лоску стены и, словно своеобразный трамплин, перебрасывает взгляд на заколдованный остров эстетического*.

В раме что-то есть от окна, как в окне — от рамки. Холст — это скважина в воображаемый мир, пробуренная в безжизненной реальности стен, брешь в невероятное, открывающееся за благословенным окном рамки. А с другой стороны, угол города или природы, увиденный в прямоугольнике окна, как бы вырезан из реальности и одушевлен непривычным трепетом воображаемого. То же — с любым отдаленным предметом в четком обрамлении арки**.

Позолоченная рама

В пользу нашего понимания рамки говорит тот неоспоримый факт, что позолоченная рама, по опыту веков, побеждает все иные. Если задача действительно в том, чтобы перерезать всякую связь с реальностью, перед нами именно такой случай: нет ничего дальше от какого бы то ни было сходства с созданиями Природы, которые уже в силу этого так или иначе ставят нас перед практическими проблемами. Ведь любая, даже предельно стилизованная, форма все-таки хранит связь с реальностью, из которой извлечена. Самый строгий и геометризованный орнамент, меандр или волюта таят

* Напомню этимологию испанского слова «isla» — «остров»: оно восходит к «insula», чей корень «sul» — или «sal» — связан со значением «прыгать, скакать». Тогда «insula» — это часть суши, утес, выпрыгнувший из моря. — *Примеч. автора.*

** Заметьте: оттенок нереальности тем ощутимей, чем больше расстояние между аркой или окном и открывающимся видом, так что промежуточные планы уже не воспринимаются и реальный путь к увиденному остается тайной. — *Примеч. автора.*

неустрашимый отзвук естественных очертаний, как старая, выловленная тысячу лет назад раковина все еще носит в себе рокот атлантического прибоя. Только бесформенное не отсылает к реальности.

Вероятно, позолоченная рама превзошла другие, поскольку растертая в порошок бронза даст наилучший отблеск, а отблеск — это именно тот мазок цвета и света, в котором нет ни малейшего признака какой бы то ни было формы, один чистый бесформенный цвет. Характерно, что отблеск металлического или стеклянного предмета мы не связываем с самим предметом в отличие, скажем, от его окраски. Отблеск не принадлежит ни отражающей поверхности, ни тому, что в ней отражается, — он между предметами, словно бестелесный призрак: не имеет собственной формы и не образует чужой, оттого мы и не в силах остановить на нем взгляд и ловим обычно всего лишь вспышку.

Тем самым позолоченная рама с ее переливами лучащихся искр ложится между полотном и окружающей реальностью полосой чистого сияния. Ее отсветы, как мельчайшие неистовые лезвия, вмиг перерезают любую связь, которую мы, даже против воли, перекидываем от реальности холста к окружающему нас реальному миру. Так у входа в Рай ждет ангел, потрясающий огненным мечом, — иначе говоря, с отблеском на лезвии.

Раздвижной занавес

Раздвижной занавес — рамка сцены. Он распахивает свой гигантский зев, скобками отделяя сцену от зала. Поэтому чем скромней будет его орнамент, тем лучше. Нерасчетливо-широким жестом нам как бы дают понять,

что воображаемый хинтерланд предстоящей сцены — это другой, нереальный мир, фантасмагория. Недопустимо, чтобы занавес разевал свою исполинскую глотку ради толков о текущих делах и повторения всего, чем и так полны умы и души явившейся в зал публики: нам нужна дымка сновидения, туман легенды.

Провал

Замысел уложиться в одну заметку, как и следовало ожидать, провалился. Уже пора кончать, а я еще не начинал. Сейчас самое время коснуться шляпки и мантильи, обрамляющих женское лицо. Увы, этим придется пожертвовать. А потом следовало бы перейти к такой богатой теме, как отсутствие рамы в искусстве Китая и Японии. Но успею ли я хотя бы подступиться к предмету, за которым — коренное различие между искусством Запада и Дальнего Востока, между чувствами азиата и европейца? Для начала понадобилось бы во стольком разобраться! Почему китайцы ориентируются по югу, а не по северу, как привыкли мы? Почему в знак траура они носят белое, а не черное? Почему начинают строить дом с кровли, а не с фундамента? И наконец, почему, намереваясь сказать «нет», кивают головой сверху вниз, как мы, желающие сказать «да»?..

ГОНГОРА (1627–1927)

Завален делами. Спешу. Ничего нового к гонгоровской круглой дате, боюсь, не придумать, и потому снимаю сливки с давних записей разных лет и отдаю их в печать прямо в исподнем, как легли на осьмушку бумаги для заметок — этих служанок памяти, как выразился бы скверный Гонгора, а досужий комментатор еще бы и пояснил: «служанок» потому, что неприятельны и вместе с тем бесполезны.

У любого растения есть, строго говоря, два питательных корня — один, уходящий в почву, а другой — в атмосферу — и два полюса роста, так что оно разом тянется и к центру земли, и к небу. У Гонгоры тоже есть свои высоты «ученой» манеры и гумус народного поэтического реализма. Все, что между, отринуто как недостойное внимания. Он разрывается между небесным культистским стилем и земляным плебейским вдохновением, обычно сдобренным издевкой, колкостью и желчью. Итог: «Поэмы уединения» и «Летрильи» — творчество и карикатура.

Несколько слов о творчестве...

Поэзия — искусство эвфемизма: она сторонится обычных имен, не хочет, чтобы ум просто скатывался по привычной, отполированной употреблением поверхности, и, дав неожиданного крюка, вдруг открывает неизвестную донныне изнанку примелькавшегося. Новое имя чудом возрождает предмет, очистив и освежив его. А возродить — радость куда большая, чем просто родить!

Творчество создаст предмет из ничего, возрождение же дарит сразу два: новый, неожиданно возникающий у нас на глазах, и прежний, сквозящий за ним. Дьявольская штука. Своего рода омоложение. Юный Фауст, сменяющий морщинистого старика.

Все пути европейской поэзии предначертаны Данте. Смотрите, что он делает, когда нужно указать налево:

*Da quella parte ove il coro ha la gente.**

Намереваясь провести по Средиземноморью, он заволаживает нас, рисуя.

*Lo maggior valleinche l'acqua si spanda.***

Он наполняет жизнью маловыразительное имя Назарета, говоря:

*La' dove Gebriello apperse l'uli,****

и заменяет слово «Испания» таким намеком:

*In quella parte ove surge ad aprire
Zefiro dolce la novelle fronde,
Di chesi vede Europa rivesire.*****

Тем самым, захваченная врасплох, с самой неподвижной и плохо защищенной стороны, реальность предается поэту, как первой любви, — вся целиком. Это и понятно: поэзия возвращает мир в пору рассвета, в *status nascens******, и вещи выбираются на простынь, по-утреннему потягиваясь и переходя от раннего сна к раннему блику.

* Той стороной, где сердце у людей. — «Чистилище», X, 48 (Пер. М. Лозинского).

** Крупнейший дол, где волны бег свой мчат. — «Рай», IX, 82.

*** Куда раскинул крылья Гавриил. — «Рай», IX, 138.

**** В той стороне, откуда дерева

Живит Зефир, отрадный для природы,

Чтоб вновь Европу облекла листва. — «Рай», XII, 46–48.

***** первородное состояние (лат.).

Но этот неотвратимый удел заставляет поэзию шагать вперед и вперед, отталкиваясь от самой себя, отвергая вчерашнее и отыскивая новые имена на все более далеких и кружных путях.

Искать в поэзии естественность нелепо. Ее тут не было с самых первых дней. И в античной, классической, поэзии еще меньше, чем в нынешней. Я уже упоминал об этом и повторю: Гомер, как и Пиндар, заговорили на выдуманном наречии, которыми не пользовался ни один народ. Не больше естественности и в их тематике — мифология по определению относится к сверхъестественному.

В основе поэзии — не естество, а выдумка. История ее — это непрестанное развитие способности выдумывать. Порой она складывает крылья и опускается до прозы, чтобы потом снова вернуться к возгонке мира. А порой, уносясь по ветру, теряется в синеве. И тогда эвфемизм превращается в головоломку. Данте в своей «народной речи» реализовал первую из этих возможностей. Понятно, что европейская поэзия двинулась от него к энным возможностям так называемого «ученого слога». Через несколько столетий она вновь возвратилась в эту сферу стараниями Малларме. И всякий раз, как поэзия залетает на подобную высоту, на сцену снова является классическая фауна, начинают говорить о фавнах, нимфах, лебедях и перебирать имена богов...*

двурогий Марс с вооруженным Паном...

Приведу несколько эвфемизмов Гонгоры. Петарды для него:

трескучий порох, ставший взрывом света,
стрела, но не комета.

* В целом о метафоре и особенно об отрицании как выразительном средстве см. в IV томе «Эспектадора» мою статью «Две главные метафоры». — *Примеч. автора.*

Раковина моллюска:

литая броня из кости.

Голубь:

сластолюбивый спутник Афродиты.

Стол:

сосна с четырьмя углами.

Птицы:

пернатые кифары,
бубенчики певучего пера.

Петух:

дворовый неумолчный нунций света.

Стрелы:

летающие змеи.

Пламя очага:

могильный склеп дубового ствола
и бабочки, распавшейся золою.

Огонек в ночи:

в минуту страха
порт в ненадежном океане мрака.

Лебедь:

белее пуха той волшебной птицы,
чей дом — вода, а гибель — песнопенье.

(Замечу в скобках: две эти строки — на мой взгляд, из лучшего, что выдуманно по-испански.)

Какой смысл доискиваться, кто на кого влиял: Гонгора на кавалера Марино или наоборот? Гонгорианство, маринизм и эвфуизм — три разных стиля поэтической выдумки, беспрепятственно распространившихся по всей Европе и задавших уровень развития стихотворного ис-

кусства. Все три — плоды барокко. В барочные эпохи царит орнамент. Такова поэзия XVII века. Едва ли не все, именуемое в поэзии классикой, на самом деле принадлежит барокко. К примеру, Пиндар, поэт столь же темный, как Гонгора.

Если Вы чуть-чуть — а больше и не нужно — разбераетесь в механике, то поймете, что я хочу сказать: может быть, поэзия вообще (а у Гонгоры в особенности) отвергает движение по инерции. Вот один пример из тысяч:

влюбленные без надежды,
чью волю пленил навеки
Алжир девичьего взгляда.

(Романсы, 119)

Конечно, имеется в виду Духовный плен, в который берут прелестные девичьи глаза; но, сворачивая с прямого пути идей и понятий, поэт ищет образ, наводящий на мысль о плене вполне телесном, — Алжир, край пленных. А этот шаг в сторону даст начало новой траектории: что общего у глаз с Алжиром и т. д. И вот вместо прямой — касательной, представляющей в физике движение по инерции — перед нами кривая — ускорение, приданное вдохновением, лирической энергией, чья задача обогащать, усложнять, продлевать поэтический путь. Солнце обращается с планетами ровно так же, как поэт со словами: держит их силой притяжения, принуждая вращаться по орбитам — по кривым — и настрого воспрещая бег по касательной.

Лирика Гонгоры — воплощенное поэтическое чудо наших бесчеловечных краев в отличие от Франции, где поэзия до недавнего времени всегда сохраняла человеческую меру. Человечна ли чистая радость, заключенная в чистейшем кристалле образа?

Огляните, сохраняя хоть толику здравого смысла, наш Парнас XVII столетия и попробуйте потом представить

себе тот тип душевного устройства, который эту поэзию породил. От ужаса впору схватиться за голову.

Стоит Гонгоре взяться за что-нибудь человеческое, как у него получается низкопробная частушка, к примеру тридцать третий романс (нумерацию привожу по «Библиотеке испанских авторов», поскольку, кроме нее да недавнего томика «Уединений», подготовленного Димасо Алонсо*, других изданий под рукой не имею: я, увы, не эрудит).

Лучшее в нашей поэзии — и у Гонгоры в том числе — это всегда перехлест, весьма неудобный для всякой середины. Вспомните скульптуры Индии, эти переплетенные, неистовые и горячечные фигуры, осыпавшие едва ли не целый склон горы. Бесформенное и хаотическое вторгается здесь в сам творческий порыв, призванный утверждать форму. Характерный для всей жизни Индостана перехлест придает ей, я бы сказал, что-то растительное. Это дебри, захлебывающиеся собственной плодovitостью.

Читая Гонгору (да и Лопе), я не могу отделаться от восторга и ужаса разом. Высота и совершенство сплошь и рядом соседствуют у них с варварским и чудовищным. Душа «ученого» Гонгоры так и осталась невозделанной, деревенской, дикой. Только вообразите себе его возлюбленных — не имеющих привычки умываться, запакowanych в бесконечные юбки из негнущихся тканей... Для сравнения представьте божественную красоту — у Гонгоры нередкую — среди деревенского смрада, в загоне для скота, — такое обескуражит и отпугнет любого.

Откуда у кордовского каноника (если вспомнить, что это значило в ту пору) непревзойденная тонкость, воздушное изящество, которыми дышат две эти октавы? В первой речь о графе де Ньебла, на миг прерывающем соколиную охоту, чтобы послушать стихи:

* Предисловие к этой книге, на мой взгляд, самое точное из всего, что сказано о Гонгоре. — *Примеч. автора.*

На соколок усевшаяся птица,
умерив пыл, шлифует оперенье,
иль на шесте, неслышная, мостится,
в громке не вызвав тени подозренья;
горячий конь под седоком косится,
блистая удилами в праздной пене;
на сворке шелковой кипит борзая,
и молкнет рог, цевнице уступая.

Во второй перед нами вечер:

Ночь. Стихли псы. Усталый, день клонится
с холма на холм, от края и до края;
отара блеет; кинулся к ягнице
голодный волк, чашобу раздирая,
насытился — и кровь одной лоснится
на той траве, что будет рвать вторая.
Любовь лишает голоса. Умаян,
спит пес, примолкнув, как его хозяин.

Конечно, Гонгора — это прежде всего «Поэмы уединения». Странно, что об этом еще могут спорить. И добро бы спорили о самой вещи, о ее и впрямь слабых местах, а то ведь обсуждаются вопросы десятистепенные! Тем, кто до сих пор «ничего не понимает», можно только посоветовать читать внимательней. Право, «Уединения» ничуть не запутанней и не проще любых иных стихов того же автора, скажем, его «народных» летрилий или романсов. И в тех, и в других немало загадочных пассажей. Но разве их нет в самом тривиальном разговоре?

Дело в самих истоках «Уединений», а они и вправду не имеют ничего общего с тем, что веками воодушевляет общедоступную поэзию. Она ведь всегда так или иначе подчиняется определенной — внешней либо внутренней — последовательности и описывает некий — физический или воображаемый — предмет, соответственно разукрашивая его различными узорами и прочими прелестными необязательностями.

Нелепо наобум отвергать иероглифы за то, что их невозможно прочесть по горизонтали. Иероглифы нужно читать «по вертикали»: только проникая в глубь каждого образа, читатель вдруг видит их подспудную связь между собой. Поэт же двигается в противоположную сторону: отталкиваясь от реальности, он ищет ее лирическую транскрипцию, ее, так сказать, двойника в поэтической запредельности. Это он и предлагает взгляду читателя, видя свою цель в том, чтобы занавесить реальность, облечь обыденщину в фантасмагорию.

«Уединения» доводят эту двойственность до края, стремясь расшить золотом предметы заведомо прозаические и низкопробные. Задача здесь в том, чтобы для самой невзрачной вещи найти ее астральное тело, поэтический поворот, логарифм лирического излучения. К примеру, перед нами лакомство кастильских деревень — копченая козлятина. Ищется угол зрения, способный вывести кушанье на поэтическую орбиту, как в заполярном воздухе любая вещь повторяется в виде фатаморганы. Ход мысли таков: перед нами мясо козла; стало быть, он умер и, вероятно, от старости, а не от болезней, иначе был бы несъедобен. Допустим, погиб в схватке с соперником. И вот Гонгора высыпает на нас эту череду образов, заканчивая тем, что в реальности было началом, — видом мяса на блюде:

Супруг своих две сотни стерегущий
пять лет бессменно, чьих зубов угрозы
не раз видали Бахусовы лозы,
а молодая повитель — тем пуще
(кого победой после боя злого
венчал Амур, но некто гладколицый
не рогом с миром вынудил проститься,
несчетным гроздьям жизнь давая снова), —
теперь лежит, копченный,
горя на блюде мякотью червонной.

Вот это я и называю астральным телом, поэтическим двойником простого копченого мяса. Преображение. Иероглифическая миссия стиха. Словом, Малларме.

В гонгорианстве искусство попросту становится собой: чистой шуткой, придуманной сказкой. А что, разве этого мало?

Недавно известный палеонтолог Эдгар Даке предположил, будто человеку в его нынешнем облике предшествовало существо с одним глазом, размещавшимся во лбу, — так называемым «мозговым глазом», пережиточной формой которого осталась сегодня одноименная железа. Эти одноглазые человекоподобные не обладали разумом в нашем смысле слова, их вела развитая способность магической интуиции, сомнамбулического проникновения в тайны космоса. Гонгора словно вознамерился восстановить это мозговое вдохновение: он видит мир единственным глазом Полифема. Предметы, впавшие в спячку и прозу, возвращаются в хоровод преобразений. На наших глазах каноник шутя обращается в фокусника, выхватывая лебедей из рукава, делая стрелу василиском, птицу — колокольчиком, а звездный небосвод — полем золотого ячменя. От века и доньше поэзия выдаст муху за слона, а тому, кто равнодушен к подобным забавам, можно лишь посоветовать, как венецианская потаскушка Жан-Жаку Руссо, заняться математикой... И все-таки хочется, чтобы юные аргонавты гонгорианского корабля несколько умерили свой энтузиазм. В искусстве тоже всему есть предел. Прелесть Гонгоры не должна заслонять его уродств. Он великолепен и невыносим, титан и праздничное чудище разом: то ли мифологический Полифем, то ли попросту кривой старик.

СТИХИ АНТОНИО МАЧАДО

На поэтическом небосклоне сегодняшней Испании горит созвездие Близнецов — братьев и поэтов Мачадо. Мануэль облюбовал берега Мансанареса. У его музы пышный воротник, пылкое сердце и неунывающий нрав; прогуливаясь, она ловко гасит разлет своих пагубных юбок, пока парашют повторяет созвучия ее несравненного каблучка. Другой, Антонио, перебрался к верховьям Дуэро и в раздумье несет бремя песен, как тяжкий недуг.

Но каждым из нас движет предпочтение. И если предложат выбрать одного из братьев, я остановлюсь на стихах Антонио. По мне они задушевней, насыщеннее и глубже.

Знаю лишь две его книги, но других ведь, кажется, и нет. В 1907-м он опубликовал «Одиночества», а в нынешнем году среди гиблого, гнетущего, нескончаемого молчания испанских поэтов выпустил в свет «Поля Кастилии».

На странице, открывающей этот последний сборник, автор набрасывает свой портрет и, следом за биографическими деталями, со смиренным жестом признает, что:

известен тщетным блеском топорного наряда,

в четырех строках формулируя свое поэтическое кредо:

Бог ведь, романтик, классик... Остаться бы строкою
сродни клинку, что воин потомкам в дар оставил,
прославленному верной, недрогнувшей рукою,
а не клеймом умельца, чеканенным на стали.

Особенно замечательна последняя строка. В выемке ее цезуры старая поэзия как бы встречается с новой, только что явившейся и спешащей на смену. Эта строка — словно клинок в руке, а не на стене гостиной или в витрине музея, клинок, который ранит и убивает и на чьем обнаженном лезвии солнечные блики складывают голову, по-детски смеясь. Строка — словно клинок в деле, который подытоживает вытянутую руку, как та, в свою очередь, — не знающее покоя сердце.

Было время, когда поэзией считали такое:

В тот жаркий вечер давнего июля
наскучил мне Марк Туллий,
Овидий с Плавтом и Анхиз с Медеей...

В детстве нас уверяли, что это и есть поэзия. И кому было поведать, как радостен и праздничен нам казался мир? Тон в поэзии задавали чиновники. Ценились стихи, неотличимые от прозы, и проза, слыхом не слыхавшая о ритме. Для начала требовалось восстановить в правах саму субстанцию поэзии, отстоять, пусть даже перегибая палку, простую мысль, что строфа — это зачарованный остров, куда для слова с берегов прозы нет другого пути — только прыжком в царство фантазии, преображаясь и пропитываясь новыми ароматами, как те корабли, что в древние времена возили с Цейлона пряности. Между будничным разговором и поэтической строкой нет никаких мостков. Мир должен умереть, чтобы воскреснуть в метафоре и трепете чувства.

Этому нас учил Рубен Дарио, божественный индеец, укротитель слова, дрессировщик скакунов ритма. Его стихи стали школой поэтическойковки. Десять лет истории нашей литературы прошли под его знаком.

Но сегодня нужно другое. Слову возвратили эстетическое самочувствие — ничем не ограниченную выразительную силу. Тело стиха спасено, теперь необходимо вернуть ему душу. А душа стихов — это душа их автора. И она не исчерпывается чередованием слов, метафор и ритмов. В ней должно шевельнуться дыхание мира, вдохновителя любой подлинной жизни, *spiraculum vitae*, как любили говорить немецкие мистики.

В стихах Мачадо я вижу начало совсем новой поэзии, чьей центральной фигурой мог бы стать Унамуну, не презирай он в глубине души всякое чувство. Слух, зрение, осязание — вотчина поэта; поэт начинается с культуры чувств. Платон, которого иные невнимательные умы считают беглецом в мир сверхчувственного, не уставал повторять, что у истоков воспитания человеческого в человеке обязательно лежит многодневная дисциплина чувств, или, как он выражался, *ta erotica*. А в области непосредственного чувства поэт всегда даст фору философу.

Но оставим эти сложные материи. Антонио Мачадо уже в «Одиночествах» показал, что — в отличие от своих современников — предпочитает описаниям чувство, душу, подлинную лирику. Возьмите, например, эти строки:

Я подумал: «Дивный вечер, нота колдовской цевницы,
полной лада и покоя,
дивный вечер, что мне делать с безысходною тоскою
в темноте своей гордыни, в мыслящей моей темнице?

Или вот эти:

И в конце находим
туманный призрак в допитом бокале
и — горстка праха — ловим запах сада,
как будто нас неожиданно приласкали,

где оживает старая, но не потерявшая поэтической силы философия Анаксагора, для которого любой предмет состоит из тех же первоначал, что все остальные, почему они и понимают друг друга, чувствуя, переживая и вместе оплакивая по вечерам общие беды. Человек создан из той же воды, земли, огня и воздуха в их бесконечных сочетаниях.

Дальше читаем:

И вот мы у тропинки застыли в ожиданье.
Смеиются минуты, но все, что нас снедает, —
отчаянные жесты, которыми свиданье
торопим мы... Терпенье: она не опоздает.

И все же поэт еще не вполне освободился от описательности. Его сегодняшнюю манеру я бы назвал переходной. Временами взгляд ему застит окрестность, обступающий мир, хотя и почти развоплощенный чувством, истончившийся до полупрозрачных символов сути.

С другой стороны, строгая сдержанность песен и куплетов в народном духе тоже заставляет его все больше высветлять ткань воспоминаний: простота, сила и прозрачность ближе самому складу поэта, ведомого по жизни, как он сам признается, «неспешным сердцем».

Так он и складывает строфу за строфой. Каждая — сплетение нервов и мышц, сама искренность и неподдельность, и, может быть, лучик здесь — много лет назад сказанное о полях Кастилии.

Перечитайте несколько раз, взвешивая каждое слово, хотя бы вот этот отрывок:

Я различал далекий пик старого чекана
и гребень, что круглился, как герб золототканый,
лиловые нагорья над бурыми краями —

обломки лат, забытых давнишними боями,
безлесье отроги продутой ветром сьерры,
где непомерным луком сгибается Дуэро
и окружает Сорью. А Сорья — как бессонный
страж на кастильской башне бойницей к Арагону.
Я видел кромку неба сквозь сумрачные складки
гряды в дубах и вязах, скалистые распадки,
которые сменялись убогими лугами
с пасущейся отарой и легшими быками
за жвачкою, и берег с горячим силуэтом
высоких осокорей, омытых летним светом.

Разве перед нами не сама святая земля старой Кастилии, неповторимой уже в этом одном — глубочайшем, но сдержанном благородстве и достоинстве? Заметьте, как скрадены оттенки лиловых холмов и бурой земли. Эти неброские эпитеты — минимум опоры, которая нужна воображению, чтобы увидеть их воочию, въяве перенестись в сокровенную поэтическую — и только так, через поэзию открывающуюся — реальность: увидеть землю Сорьи в облике высящегося на сторожевой башне воина со щитом и арбалетом, в шлеме и латах. Этот мощный, из глубины проступающий образ очеловечивает округу, придавая живой трепет, дыхание, почти портретность бедной и застывшей реальности лиловых и бурых полей. Открытые взгляду черты и краски как бы пропитаны здесь историей Кастилии, ее героическим прошлым пограничной полосы, вчерашними и нынешними хозяйственными тревогами, и все это, заметьте, без единой ученой сноски, ничего не говорящей сердцу.

Другое стихотворение, «По землям Испании», завершается образом человека этих мест:

Покинутый сынами, пустеет дом на взгорье;
смерчи, буравя русла, поднявшуюся глину

по освященным рекам несут в просторы моря, —
а он корпит и терпит, грызя свою долину.

Он — естественное порождение этих провинций,

краев, где дремлют войны и молятся аскеты,
нерайской этой пашни, где, вечно неприкаян,
землей орлов над кручей, окраиной планеты
бездомным привиденьем проходит мрачный Каин.

НА СМЕРТЬ УНАМУНО

Сегодня, в первую ночь 1937 года, когда уходит минувший год, который оказался для Испании «страшным годом» — геенной огненной, мне позвонили сюда из парижского отделения «Ла Насьон» и сказали, что умер Унамуно. Что написано в медицинском заключении о причинах его смерти, я не знаю, но, как бы то ни было, уверен: Унамуно умер оттого, что у него «болела Испания». Читатель с полным правом может посчитать мое утверждение лишь громкой фразой. Я не стану спорить по разным причинам, в том числе и потому, что мне пришлось бы говорить на некоторые темы, которые я вот уже несколько лет обхожу молчанием. Но, вопреки мнению читателя, это и вправду не громкая фраза, а краткая формула пугающе конкретных обстоятельств. Недели две назад меня посетил мой голландский переводчик доктор Броувер, побывавший в сентябре или октябре в Саламанке. Он коротко пересказал мне свой разговор с Унамуно. Слушая его, я думал: «Так ведь от всего этого Унамуно умрет». Свою отдельную, единичную смерть он вписал в неисчислимы смерти, которыми обернулась теперь испанская действительность. Он поступил правильно. Его жизненный путь был завершен. Он встал во главе двухсот тысяч испанцев и вместе с ними эмигрировал далеко и навсегда. За эти месяцы умерло столько наших соотечественников, что мы, оставшиеся в живых, словно бы даже стыдимся того, что тоже не умерли. Правда, некоторых из нас в какой-то мере утешает со-

знание, что и мы были близки к тому, чтобы подвергнуться простой процедуре превращения в ничто.

А Унамуно уже в объятиях своей верной подружки-врагини — смерти. Вся его жизнь, вся философия была, как и у Спинозы, неким *meditatio mortis**. Эта идея в наши дни торжествует повсюду, но нельзя не отметить, что предвозвестником ее был Унамуно. Именно в те годы, когда европейцы, совсем позабыв о главном человеческом предназначении — умереть, занимались тем, что составляет жизнь, этот великий кельтоибер — а он, несомненно, был великим и в добре, и в зле — сделал смерть своей возлюбленной. Отсюда этот жутковатый вкус или по крайней мере привкус, ощущаемый нами при чтении любой его страницы, о чем бы он ни говорил и чем бы ни был занят. Не раз я подмечал, читая Тита Ливия, как изумлялись римляне, обнаружив, что в мире есть единственный народ — кельтоиберы, — который одевается в черное и обожествляет смерть.

Унамуно принадлежал к тому же поколению, что и Бернард Шоу. Я сближаю эти имена потому, что когда мы видим их рядом, то нам бросается в глаза, помимо индивидуальных особенностей каждого, некоторые общие черты, порожденные тем, что они были ровесниками. Это последнее поколение «интеллектуалов» было убеждено, что самое высокое человеческое предназначение — слушать их остроумные речи, их песнопения, их споры. В Древней Греции тоже была эпоха, когда поэты верили, что мужи сражались у стен Трои только ради того, чтобы у Гомера был повод их воспеть. По этой причине поэты постоянно спешили на сцену и буквально задыхались, если не ощущали всю нацию, сгрудившуюся вокруг них в роли зрителей. Тогда еще не знали, что сокровенность, потаенность существования —

* размышление о смерти (лат.).

это и есть норма поведения и чистая радость для истинного интеллектуала.

Мне никогда не приходилось встречать более цельного и единого «я», чем «я» Унамуно. Где бы он ни находился, он немедленно водружал в центр свое «я», словно властительный феодал штандарт на поле битвы. Он брал слово решительно и бесповоротно. Диалог с ним был невозможен. Повторяю, не только он, но и все его поколение сохраняло еще некоторые черты жонглера, нечто такое, что интеллектуал получил при рождении романтизма и чем обладали уже и Шатобриан, и Ламартин. Поделаться ничем было нельзя, оставалось лишь слушать, присоединившись к окружению дона Мигеля, который выпускал на арену свое «я», словно бы какого-то диковинного утконоса.

Но все это следует понимать в превосходной степени — и в достоинствах, и в недостатках Унамуно был гигантом. Его представление о писателе как человеке, выставляющем себя на обозрение других, содержит необычайную, даже, возможно, свирепую динамичность, потому что Унамуно как человек был безгранично храбр. Нет такой национальной битвы, такого горячего и опасного места, где бы он ни выставлял утконоса своего «я»; он заставлял обе стороны выслушивать себя и с горячностью наносил лирические удары и тем, и другим.

Он был великим писателем. Но нельзя забывать, что он был баском и испанский язык не был для него родным. Он изучал его и с гордостью демонстрировал свои знания, часто не отдавая себе отчета, чем это чревато. В его блистательном испанском все же чувствовалось, что язык им выучен, а всякий выученный язык — поймите меня правильно! — имеет оттенок языка мертвого. Отсюда многие особенности стиля Унамуно. Когда мы пишем или говорим на родном языке, наше внимание, не задерживаясь на

отдельных словах, проскакивает их, как не задерживается наш взгляд, устремленный в сад, на оконном стекле. Когда язык выучен, этого не происходит. Слово вторгается в нас, наше сознание констатирует его присутствие и заставляет не забывать о нем. Короче говоря, наше сознание спотыкается о слово как таковое. Вот потому-то Унамуно и останавливается так часто в удивлении перед словом и видит в нем больше того, что оно значит обычно, при повседневном употреблении, когда теряет свою прозрачность. Общеупотребительной ценности слов он предпочитает их этимологический смысл, и это заставляет его великое множество раз поворачивать слово и так и этак и извлекать из семантического чрева каждого слова длинные ряды каламбуров и выделять со словами разные другие фокусы, всячески ими жонглируя. И хотя такая склонность к этимологии вообще в духе Унамуно, характерна-то она для человека, который пишет или говорит на выученном им языке. Унамуно знал много, куда больше, чем обнаруживал, и то, что знал, он знал великолепно. Но его желание быть поэтом заставляло его избегать всякой доктрины. Этим его поколение тоже отличается от последующих, особенно от нынешнего, для которых неременной миссией интеллектуала прежде всего является обладание четко очерченной доктриной, безошибочной и по возможности изложенной в точных и доходчивых тезисах. Потому что мы, интеллектуалы, живем на планете не ради того, чтобы жонглировать идеями и выставлять напоказ бицепсы нашего ума и таланта, а ради того, чтобы находить идеи, которые помогут жить другим людям. Мы не жонглеры, мы мастера, такие же, как каменщик или плотник.

Четверть века подряд над всей Испанией звучал, не смолкая, голос Унамуно. Он смолк навсегда, и боюсь, что наша страна претерпевает теперь эру сурового молчания.